

[Polaris]



КРИЧАЩИЕ ЧАСЫ

Фантастика Серебряного века

Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLVII



Salamandra P.V.V.

КРИЧАЩИЕ ЧАСЫ

Фантастика Серебряного века
Том I

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Кричащие часы: Фантастика Серебряного века. Том I. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 346 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLVII).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



КРИЧАЩИЕ



ЧАСЫ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Начало творческому взрыву русского Серебряного века было положено более 120 лет назад. Сегодня эта эпоха представляется изученной вдоль и поперек. Тысячи отдельных книг и капитальных собраний сочинений, диссертации, академические и любительские статьи говорят сами за себя.

Не было обойдено вниманием, казалось бы, и фантастическое наследие Серебряного века. В последние десятилетия были переизданы многочисленные рассказы, повести и романы, выпущены различные антологии и сборники.

Тем не менее, не будет преувеличением сказать, что фантастическая проза Серебряного века остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте.

Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах старых книг, журналов и газет. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круте читателей. Мало того, имеющиеся библиографии фантастики Серебряного века, несмотря на усилия двух поколений энтузиастов, весьма далеки от полноты и точности.

Таким образом, богатейший и интереснейший пласт литературы по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Сказанное в особенности касается журнальной и газетной прозы.

Эта парадоксальная ситуация была порождена несколькими и прежде всего издательскими причинами.

Одни составители и издатели, по коммерческим мотивам, предпочитали сравнительно быстро (и все еще не до конца) исчерпавшиеся произведения «большой формы» или авторские сборники проверенных временем писателей, то есть такие вещи, что по их мнению «лучше расходились».

Другие вычленили так называемую «строгую» или «твердую» научную фантастику, немилосердно отбрасывая все, что не укладывалось в это определение — и в первую очередь «чуждую нам мистику» (чем грешили и некоторые ранние библиографы).

Третьи, даже обращаясь, к примеру, к «мистике», «готике» или «ужасам» Серебряного века, за некоторыми редкими исключениями наполняли свои антологии известными именами и лежащими в пределах легкой доступности произведениями. Разумеется, это куда удобнее, чем тратить месяцы и годы на изуче-

ние громадных подшивок газет и журналов в поисках фантастических произведений — занятие, как нам известно по собственному опыту, не только трудоемкое, но нередко обескураживающее. Но если в свое время подобные упражнения хотя бы имели определенный смысл, сегодня они никак не могут быть названы удовлетворительными.

Наконец, как ни прискорбно об этом упоминать, многие произведения оказались переизданы только для того, чтобы быть погребенными вторично — на сей раз на страницах малотиражных и дорогостоящих изданий, выпущенных в погоне за наживой всевозможными спекулянтами от фантастики и недоступных для большинства читателей.

Леность и нелюбопытство дошедшей до полного упадка литературной критики, не желающей замечать даже наиболее интересные, а порой беспрецедентные и уникальные издания последних лет, и вопиющее невежество средней литературоведческой массы только усугубляют положение.

Многотомная антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. В издании представлены редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд — словом, весь спектр фантастической литературы эпохи. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков периода.

Хронологические рамки издания определены самим термином «Серебряный век» — в достаточной мере условным и искусственным, но чаще всего применяемым к последнему десятилетию XIX и первым двум десятилетиям XX века.

Резкая грань, отделяющая фантастическую литературу 1920-х годов, будь то литература советская и эмигрантская, от фантастики Серебряного века, вполне очевидна. Однако в случае некоторых авторов, продолжавших работать в парадигме Серебряного века, мы расширили хронологические рамки до первой половины 1920-х гг.

Мы избрали широкий подход к литературе фантастического, стараясь по возможности представить фантастику Серебряного века как явление взаимосвязанное и многогранное и избежать надуманного разделения на «достойные» и «недостойные» поджанры.

В антологию вошли произведения, публиковавшиеся в альманахах и сборниках, а также и в первую очередь в газетах и журналах — от «Нивы» до «Пробуждения», от «Аргуса» до «Синего

журнала», от «Огонька» до «Всемирной панорамы», от «Лукоморья» до «Современного мира» и т. д.

Включались также отдельные произведения из авторских сборников. В некоторых случаях мы сочли нужным добавить и кое-какие не столько фантастические, сколько авантюрно-приключенческие тексты.

Мы не видели смысла включать в антологию достаточно ратражированные сочинения виднейших авторов Серебряного века, руководствуясь в этом плане соображениями редкости материала. И все же читатель найдет здесь и ряд раритетных произведений известнейших литераторов эпохи, и рассказы и новеллы авторов практически неизвестных — ведь без этого необходимого и плодотворного фона литература фантастического не могла бы достичь своих вершин.

Некоторые вошедшие в антологию произведения публиковались ранее в тех или иных книгах серии «Polaris», однако в целом мы старались избегать чрезмерных повторов. Заинтересованных читателей мы отсылаем к другим книгам серии, включая авторские сборники и тематические антологии.

В заключение хотелось бы выразить надежду, что чтение антологии доставит читателям такую же радость, как нам — ее составление. Мы ничуть не жалеем о времени, которое провели за просмотром пожелтевших, ветхих страниц, извлекая литературу из небытия. Этой радостью мы и хотели поделиться.

М. Фоменко, А. Шерман

Борис Леман

ОБМАН

Nos habitat, non tartara, sed nec sidera coeli:
Spiritus, in nobis qui viget, illa facit.

(Agrippa — «*Philosophia Occulta*»)

Mon âme en est triste à la fin:
Elle est triste enfin d'être lasse,
Elle est lasse enfin d'être en vain,
Elle est triste et lasse à la fin,
Et j'attends vos mains sur ma face...

I

Александр закрыл книгу.

В камине тихо догорали уголья, а там, за окном, далеко убегала опустевшая улица, освещенная дрожащим огнем фонарей, сливающихся вдаль в две тонкие нити зеленоватых, мерцающих точек.

Он не мог читать дальше этих строк, полных усталой и покорной тоски.

Но что же делать... что?.. Он встал и подошел к столу. Написать... Да, быть может, она ответит, поймет...

Он достал бумагу и долго сидел, не зная, как начать; но желание высказать все, что он пережил, помогло ему и скоро послушное перо быстро заскользило по бумаге, покрывая страницы тонкими, немного косыми строками.

«...Это не может быть так... Я не в силах понять, не в силах помириться с тем, что вы сказали. Все, все во мне восстает против этого и в вашем отказе, в нем, несмотря на его искренность, какая-то ложь, я не могу, не умею сказать почему, но я знаю, что это так, я знаю, что вы не можете полюбить никого другого, как не можете не любить меня...»

В далеком углу тускло вспыхивали в камине красные искры. Вспыхивали и гасли...

«...Et j'attends vois mains sur ma face...» — шептал кто-то серый и невидимый, прячась в тени. За окном глухо дребезжал одинокий извозчик, постепенно затихая вдали...

II

— Я вчера написал ей письмо, — говорил Александр, ходя из угла в угол, — что же мог я сделать, если вопреки всему я знаю, что она любит меня,

Николай молчал, глядя в одну точку, откинув голову на спинку широкого низкого кресла. Тонкая струйка дыма его папиросы тихо скользила к потолку, резко колеблясь, когда Александр проходил мимо.

Наконец, он повернул голову и, глядя на Александра своими светлыми, близорукими глазами, спросил:

— Почему ты «знаешь»?..

— Я сам не знаю почему, — перебил тот, — но я уверен, да, словно что-то говорит мне: так будет, так будет и, поверь, я дорого бы дал за возможность узнать правду, и еще больше за возможность увидеть ее. Как я измучился за это время.

Он замолчал и долго ходил по комнате, печально насвистывая какую-то песенку.

«Я должен помочь ему, — думал Николай, — к тому же этот опыт даст мне возможность лишний раз проверить правильность моих выводов о возможности внушения на расстоянии». Он поднял голову и его лицо изменилось, приняв неподвижное и странно-безучастное выражение.

— Садись и слушай, — громко сказал он и Александр покорно исполнил приказание, безмолвно повинуясь его голосу, ставшему вдруг резким и властным.

— Я могу исполнить твоё желание, — продолжал Николай, — по крайней мере, второе, — я помогу тебе увидеть ее. Как, сейчас поймешь. Каждый орган наших чувственных восприятий имеет своего двойника в нашем невидимом теле, окружающем нашу душу и соединяющем ее с физическим

телом. Но насколько несовершенны восприятия наших внешних органов, настолько же бесконечна сила этих вторых, невидимых, принадлежащих нашему астральному телу, состоящему из более чистых элементов. Их бесконечное могущество не заключено ни во времени, ни в пространстве, как мы понимаем это, говоря о нашем физическом теле.

И вот, обладая достаточной силой воли, этим магическим двигателем человек может приводить свое сознание в соприкосновение с этими вторыми органами, получая, таким образом, по своему желанию ту или иную способность восприятия, как, например, астральное зрение или ясновидение. Так как твоя воля бесконечно слаба, я дам тебе часть своей воли, которая поможет тебе исполнить свое желание увидеть Наташу, не выходя из этой комнаты.

— Ты, конечно, согласен? — окончил он, улыбаясь.

— Как мог ты сомневаться, — отвечал Александр, радостно пожимая руки друга. — Конечно, согласен и чем скорее, тем лучше.

— В таком случае, я приеду снова к тебе вечером, — перебил Николай, вставая, — а теперь я должен ехать и надеюсь застать тебя в более радостном настроении.

«Неужели это возможно, — думал Александр, — неужели сегодня же я увижу Наташу? Какой странный этот Николай... а впрочем, кто знает...» — и, повернувшись, он вышел в другую комнату.

III

Надписав конверт, она оделась и сама пошла на станцию опустить письмо. И когда отошел почтовый поезд, она долго смотрела ему вслед, печальная и строгая в своем темном гимназическом платье.

«Нет, так нужно, так лучше всего, — думала она, идя домой, — все равно теперь уже поздно...»

Старые березы тихо шептали что-то печальное и успокаивающее. Огромная лужа, еще не просохшая после недав-

них дождей, сверкала расплавленным золотом среди желтых опавших листьев.

IV

— Ты должен сесть, — сказал Николай, указывая на стул, поставленный у покрытого чистой белой скатертью стола, на котором перед двумя свечами стояла большая хрустальная ваза, до краев наполненная прозрачной водой.

— Ты должен повторять за мной все, что я буду говорить, — продолжал он, когда Александр сел на приготовленное для него место, — а затем старайся сосредоточить всю силу воли на желании увидеть ее. Это все, что от тебя требуется.

Затем Николай достал маленькую плоскую глиняную чашечку, украшенную странными голубоватого цвета буквами, сплетающимися в причудливый узор. Поставив ее по другую сторону вазы против Александра, он всыпал в нее какой-то порошок и зажег его. Длинные тяжелые полосы синеватого дыма заколебались над столом, окутав прозрачным облаком пламя свечей, и комнату наполнил сладкий, волнующе-приятный аромат, словно таинственный запах неведомых сказочных цветов.

Николай остановился за спиной Александра и, положив правую руку на его склоненную голову, долго глядел на него, застыв так с неподвижным, побледневшим лицом.

— Анаэль, — громко позвал он резко и властно.

— Анаэль, — прошептал Александр, еще ниже склоняясь над чашей.

— Во имя Всемогущего, Которым движется все... — и одномоментно за другим гасли в тишине странные слова, словно расплываясь в синеватом ароматном облаке, дрожавшем над чашей.

Прошло несколько минут ожидания...

— Наташа, — вдруг тихо вскрикнул Александр, пристально глядя в прозрачную глубину влаги. Тонкие серые нити,

похожие на легкие вечерние облака, быстро скользили по поверхности воды, постепенно исчезая, и за ними ярко и четко выступала так хорошо знакомая маленькая комната с белыми кисейными занавесями и простенькими голубыми обоями.

На столе тихо мерцал ночник, кидая тусклый розоватый свет на ее лицо.

— Милая, — прошептал Александр и ему казалось, что его взгляд нежно охватывает ее, соединяя их вместе, как бы замыкая таинственный круг, полный тихих и радостных грез. И, словно почувствовав его взгляд, она повернула голову и улыбнулась...

Александр забыл все, он только глядел, только ласкал ее этим странным прикосновением глаз. Вот она тихо улыбнулась, он собрал все силы:

— Неужели ты не видишь, как я люблю тебя, — шептал он, — и ты, теперь я знаю, ты тоже должна любить...

И вдруг что-то вспыхнуло в ответ, какая-то горячая, радостная волна пронеслась между ними и он видел, как ее щеки покрылись румянцем и, улыбаясь, счастливая и любящая, она тихо прошептала во сне:

— Милый...

Но вот все исчезло. Николай громко повторял все те же непонятные, полные жуткой тайны слова. Холодная поверхность волны колебалась, отражая пламя свечей, и в комнате тихо таяли длинные синие полосы дыма курения.

V

Яркое солнце проникало сквозь занавеси, кидая веселые, дрожащие пятна на противоположную стену.

Наташа долго глядела на эти точно живые, то темнеющие, то снова вспыхивающие пятна и не могла понять, почему все это, и рисунок обоев, и длинная узкая ваза с цветами, и эти веселые солнечные лучи так по-новому радост-

ны, точно они смеются, зная о чем-то хорошем и только не хотят сказать.

И сама она была какая-то другая, светлая и довольная, как бывала в детстве, просыпаясь утром в дни своих именин, полная ожидания и счастья.

Странно, думала она, вчера был такой скверный тяжелый день и вот словно все ушло куда-то, все, даже это письмо... Она остановилась, ей не хотелось вспоминать дальше, но мысли упорно текли и откуда-то выплывали все новые образы, тусклые и ненужные воспоминания.

«Сегодня он получит его», — прошептала она, и вдруг острая щемящая боль вспыхнула в душе: неужели это правда и Александр прочтет эти грубые злые строки...

Милый... и это маленькое слово точно напомнило что-то далекое и радостное, но что...

«Милый», — повторила она и вдруг поняла все, что еще вчера было скрыто в душе и теперь сверкало ярко и радостно. Да, она любит его, и было так хорошо повторять это, и все вещи и солнце смеялись, точно радуясь, что она отгадала их тайну.

Но письмо... о, если бы его не было... Надо написать, но нет, это долго, лучше самой ехать и сказать ему все прямо и откровенно. Да, он был прав, но почему же, почему лишь теперь она поняла это...

Наташа быстро одевалась, счастливая и радостная.

За окном по-прежнему весело чирикали птицы и только дрожащие смеющиеся пятна света на стене вдруг потускнели и исчезли, должно быть, солнце зашло за маленькую легкую тучку.

VI

Глупый ненужный обман.. Как смешон, наверное, был он с своей наивной и глупой доверчивостью,

Александр сидел в кресле, сжимая голову руками. Он чувствовал, как слезы подступают все выше и потом вновь

затишают, переходя в злобу и тоску, в тяжелую и бесцельную ненависть ко всему миру, для которого весь ужас его страданий так обидно не нужен.

Его лицо искривилось усмешкой; конечно, Николай потом смеялся, вернувшись к себе, и он был прав, издеваясь над ним, готовым верить собственному бреду, как какой-то таинственной правде, вечной и непреложной.

Ясновидение. Александр глухо захохотал: неужели у него не нашлось настолько здравого смысла, чтобы понять эту, уже слишком откровенную глупость. И вот теперь ее письмом... Он медленно и упорно, с тупым сладострастием перечитывал последние строки.

«...мне кажется, однако, несмотря на всю, как вы говорите, ложь такого утверждения, что, хотя и не люблю никого другого, тем не менее это не значит, чтобы я любила именно вас...»

Он злобно стиснул зубы. Нет, надо кончить все это. Кончить сейчас же, пока не поздно, не ожидая новых, быть может, еще более обидных унижений...

— Кушать подано, Александр Владимирович, — позвал старый Прохор, тихо входя в комнату, но, когда Александр повернулся к нему, он испуганно скрылся, так ужасно было это лицо с огромными злыми глазами...

VII

— Все кончено, — тихо сказал доктор, выйдя из комнаты Александра, подходя к Николаю. — Я ничего не мог сделать, пуля задела сердце и смерть наступила мгновенно.

Он посмотрел на бледное лицо Николая и, вынув часы, стал прощаться.

Оставшись один, Николай долго ходил из угла в угол, стараясь понять эту смерть, такую внезапную и ненужную.

В прихожей резко прозвенел колокольчик.

«Кто бы это мог быть?» — подумал Николай и ему стало противно, что сейчас войдет кто-то чужой и надо будет да-

вать объяснения и выслушивать сожаления и сочувствия.

Но вот дверь отворилась и в комнату быстро вошла Наташа.

— Могу я видеть Александра Владимировича? — спросила она, здороваясь с Николаем, и ее радостный и счастливый, немного дрожащий от волнения голос был так странно ненужен и неприятен теперь, когда в темных углах комнаты еще таилось что-то глухое и страшное, напоминая о бледном лице, сведенном последней судорогой агонии.

Борис Леман

ПРЕСТУПЛЕНИЕ УАТЭ

Все мы, ученики Рихотепа, великого жреца трижды мудрой богини Исет, живущие при ее храме в Мемфисе, знали Уатэ, любимого ученика старого Рихотепа.

Но я любил его более других за его неизменно веселый нрав, за его красоту, подобную красоте древних изображений и более всего за его стремление к познанию вечных законов, управляющих жизнью вселенной.

И вот теперь, когда его имя стало позором для всех живущих и дымный свет костра кровавым отсветом упал на лицо его души, навсегда уничтожив ее надежду возвратиться к радости земной жизни, я хочу рассказать то, что известно мне о его преступлении.

После его смерти толстый Оман, начальник тюрьмы, передал мне два небольших свитка, исписанных его рукой и, прочтя их знаки, я понял, что должен рассказать о том, что *он сам* считал своим преступлением и о чем не знали или не хотели знать те, что осудили его на позорную смерть, навсегда предав имя Уатэ проклятию и позору.

Вот что писал он накануне своей смерти:

I

То, что вверху, подобно тому, что внизу.

То, что внизу, подобно тому, что вверху.

И вечная борьба происходит между высшим и низшим, так как оба они желают облечься телом, получив его как награду за одержанную победу, ибо состояние человеческое есть честолюбивое стремление низшего и прославляется славою высшего, как достойное его.

Такова мудрость, скрытая в тайне.

Завтра лицо мое побледнеет, как гаснувший месяц и имя мое покроется вечным позором, но лишь тебе, мой Неферт,

хочу я рассказать о том, что поистине было моим преступлением.

Ты знаешь, как велика была наша печаль, когда братья далекой страны, что лежит на восток от Элама, призвали к себе учителя и он, покорный власти мудрейших, покинул Мемфис.

Видя мою печаль, Ахарет, заменивший учителя на время его отсутствия, приказал мне отправиться в Фивы с посланием к живущим там братьям.

И действительно, переходя из города в город, останавливаясь то в закопченной деревенской гостинице с засаленными стенами и висящей на крюках сушеной рыбой и луком, то в бедной хижине землепашца, прислушиваясь к разговорам случайных спутников, я видел, что жизнь всюду идет одним и тем же путем, и моя тоска исчезла, подобно ночной тени перед сиянием золотой ладьи бессмертного Ра.

Я опять понял, что жизнь вечно прекрасна и что в ней человек научается находить свою силу и мудрость. И пусть печаль сторожит у каждой запертой двери, все же я видел, что душа человека неизменно собирает малейшие частицы счастья, подобно пчелам, неутомимо наполняющим медом свой улей.

II

Придя в Фивы, я передал братьям свитки и по желанию Пентоирита остался там еще на некоторое время для отдыха после утомительного пути.

И это погубило меня.

Однажды, когда я шел на берег Великой реки, чтобы там в тишине совершить омовение и принести Аммуну обычную молитву за уходящий день, я встретил ту, чьи руки были как цветы лотоса и чьи глаза были прекраснее драгоценных камней, что привозят из далекой страны Нут для самого фараона, да будут с ним жизнь, счастье и сила.

Я увидел ее в толпе рабынь, идущей к дому после купанья и, опустив глаза, почувствовал, как кровь горячей волной окрасила мои щеки.

Когда я поднял глаза, она уже скрылась за поворотом и напрасно мой слух ревниво искал ее голос среди столь же молодых и веселых голосов ее спутниц.

Скоро я узнал, что ее зовут Хаит и что она единственная дочь Торсофора, начальника царских телохранителей. Мне нетрудно было добиться расположения старого воина, предсказав ему почести и славу, что ожидали его при дворе великого Хуфу, да будут с ним жизнь, счастье и сила, и скоро я уже мог поведать о своей страсти прекрасной Хаит и просил ее облегчить мою участь.

III

Увы, в ответ на мои слова прекрасная Хаит назвала другое имя, которое, подобно удару меча, глубоко ранило мое сердце и, подобно стене, отделило меня от прекрасной дочери Торсофора.

Уже давно сияющий челн великого Ра погрузился в темные воды Хапи, а я все еще сидел, склоненный под тяжестью отчаяния. Вот вдали проплыла запоздалая лодка и женский голос запел под звуки арфы:

Ты слышишь голоса птиц
Уже наступило утро.
Гармахис встает с пурпурового ложа
И над рекою туман
Разбегается в обе стороны.
Ужели, милая, я должен тебя покинуть
Когда так нежны объятия
Любящих рук?..

но лодка скоро скрылась в тумане.

И в этот голос пришли они, — темные духи, неся с собою ужас падения. Это их темная власть вызвала бледный призрак прекрасной Хаит, на миг возникши среди тумана.

Я видел ее нежной и любящей и я видел, как она протянула ко мне свои руки, шепча:

...так нежны объятия
любящих рук...

Но призрак исчез и только они кружились во мраке, шепча: «Мужайся, мужайся, лишь смелых ожидает награда. Будь же им и прекрасная Хаит станет твоею...»

IV

Бессильный бросился я на свое ложе, но они не уходили. Подобно коршунам, что завидели в пустыне упавшего коня, кружились они в темноте и наконец, обессиленный, я уступил их желанию.

Было уже много времени, когда я поднялся со своего ложа и, сняв одежду, очертил круг. Я вошел в него и, приветствуя четыре великих ветра, стал одно за другим говорить священные слова заклинаний. С каждым движением силы возвращались ко мне и с каждым словом все теснее сдвигался невидимый круг духов, так что иногда мне казалось: я чувствую прикосновения их призрачных тел.

Осталось лишь одно последнее слово, одно последнее движение, когда внезапно во мраке огненным пятном засветилось лицо мудрого Рихотепа. Гневное и изумленное, колебалось оно передо мной и я видел, что губы учителя сложились в презрительную усмешку.

«Скорее... скорее...» — шептали они.

Внезапно мою грудь обожгла острая боль и, обезумев от ужаса, почти теряя сознание, я произнес последнее слово и мои руки, повинаясь приказу, раскрыли объятия темному царству невоплощенных.

Словно тонкая ткань разорвалась вокруг меня, и как сквозь сон увидел я свое тело неподвижно лежащим на каменных плитах с руками, распростертыми в форме *креста*.

V

Но недолго медлил я: покинув свое тело и оставив жилище, направился <я> туда, где уныло тянулись песчаные холмы страны Пунт.

Я знал, что его зовут Унас и что он сражается в рядах бесстрашных воинов фараона. Да будут с ним жизнь, счастье и сила против дикой орды кровожадных и диких Хити с желтыми волосами!

Тебе, о Неферт, никогда не покидавшему своего тела, трудно понять, какими видят духи нас, воплощенных. Твоя душа, как и души всех живущих, коснувшись тела, забыла об этом.

Подобны неясным призракам, скользят перед ними очертания наших тел, деревьев и зданий и души людей и животных искрятся, словно драгоценные камни, простирая вокруг себя дрожащие тонкие разноцветные нити желаний.

Быстро проносились мимо меня очертания городов и селений и скоро издали я увидел шатры лагеря непобедимого Хуфу. Да будут с ним жизнь, счастье и сила!

Я видел двух воинов, стоящих перед шатром сотника. Они крепко держали связанного человека и я видел, как к ним вышел сотник и стал о чем-то спрашивать пленника. Его душа загорелась желанием и ее широкие, золотистые нити властно обвились вокруг дрожащей, испуганной души связанного человека, сияние которой колебалось, задуваемое отвратительным демоном, стоявшим рядом и хохотавшим над этой забавой.

Но я не мог медлить и, покинув их, скоро нашел шатер, где на шкуре быка лежал тот, кого искала моя рука, вооруженная ненавистью.

В его сердце ярким огнем сверкала любовь и мой взгляд невольно коснулся короткого меча, что лежал у его ног. Но нет, я не мог убить его. Я не мог пролить его кровь, пронзенную огнем любви к прекрасной Хаит, но в тот миг я более всего ненавидел его, быть может, не раз прикивавшего своими губами к ее устам.

VI

Ты знаешь о славной победе великого Хуфу, да будут с ним жизнь, счастье и сила, над дикими племенами Хити. Могучий Тот, внезапно расширив свое лицо, закрыл им светозарного Ра и наши враги в ужасе бежали, преследуемые воинами, избивавшими бегущих.

Ты, верно, не раз читал великолепный гимн Тоту, вырезанный по приказанию фараона, да будут с ним жизнь, счастье и сила, на стенах храма в Галикарнасе в благодарность за одержанную победу.

Едва труба возвестила начало битвы, Унас поспешно выбежал из шатра, чтобы во главе своего отряда броситься в ряды наступавших Хити.

О, эта радость битвы, это опьянение разрушением, венчающее голову победителя почетной повязкой. Тысячи стрел, подобно огромной стае птиц, со свистом кружились в воздухе и звуки труб казались их криками. Унас все время был впереди и я, подобно его тени, следовал за ним.

Вот огромный варвар, опоясанный мохнатой шкурой козла, с криком занес свое копьё над его головой и жалость невольно наполнила собой мою душу, но в это мгновение я услышал, что он шепчет ее имя, как обыкновенно призывают имена богов, дающих победу.

И Нефтис склонилась над ним.

Напрасно хотел он защититься, подняв над головою свой меч: я удержал его руку и она бессильно опустилась, не причинив никому вреда, лишь меч сверкнул в лучах солнца кривым, неверным изломом.

VII

Возвращаясь назад, я вдруг почувствовал в своем сердце тоску, что бывает перед несчастьем, но, лишь проникнув в свое жилище, я понял весь ужас случившегося.

Я нашел свое тело сидящим на каменных плитах с бессмысленной улыбкой на губах. По временам оно громко мычало и размахивало руками и я понял, что одна из отвратительных лярв воспользовалась моим отсутствием и теперь радуется возможности воплотить гнусные желания, что мучили его среди бесплотных духов.

И я понял, что не могу вернуть себе свое тело, так как темный дух окружил себя таинственной гранью, разрушить которую я не мог, ибо, не будучи посвященным, не знал ее сущности.

Тщетно приказывал я ему вернуть мне похищенное; он был сильнее и в ответ только хохотал, скаля зубы, и я не мог подойти, не мог коснуться чудовища, завладевшего моим телом.

Напрасно молил я богов о помощи: что могли они сделать после совершенного мною? С ужасом глядел я на то, что еще так недавно было моим телом, с трудом узнавая свои черты, сквозь которые так ясно виднелась ужасная маска темной лярвы.

Но вот я увидел, что мой двойник поднялся и, шатаясь, побрел к выходу. Я следовал за ним. Сначала его движения были непонятны и неуверенны, но потом он пошел быстрее. Но лишь когда, спустившись к реке, он свернул на дорогу к загородным домам, я понял, куда он идет.

Я понял, что тело, повинуюсь привычке, шло к дому старого Тарсофора.

VIII

Прекрасная Хаит не сразу заметила, как ужасны стали

черты моего лица и как всегда доверчиво протянула свои руки чудовищу, которое уселось рядом, мыча от удовольствия.

И внезапно страх наполнил ее сердце. В ужасе хотела она бежать и это погубило ее.

Поняв, что она уходит, темный дух кинулся к ней. Я видел его глаза, горящие страстью, и его губы, ищущие ее губ...

Забыв все, кинулся я к своему двойнику, чтобы спасти ее от гнусного насилия...

Страшная боль на мгновение лишила меня сознания и, очнувшись, я увидел себя снова заключенным в своем теле.

IX

Остальное ты знаешь. Меня судили и совет братьев назначил мне искуплением позорную смерть.

И я рад этому. Я счастлив при мысли, что огонь навсегда уничтожит это тело, которое мне теперь так отвратительно близко. И я не боюсь другого суда, где среди богов на троне неподвижно сидит бесстрастный и мудрый Тот с темным лицом шакала.

Анна Журомская

ЖЕНЩИНА ИЗ САРКОФАГА

Около 1300 лет тому назад, в Египте жила красавица по имени Земира.

Было что-то мистическое в ее продолговатых серо-зеленых изменчивых глазах, что-то знойное, манящее в изгибе ее губ. Полная обаяния, она чаровала всех, оставаясь ко всем холодной.

Однажды в Египет прибыл чужеземный принц. Он был горд и прекрасен, и Земира безумно полюбила его.

Следивший за Земирой, безнадежно влюбленный в нее маг и астролог Эфедра, узнав о ее любви к принцу, поклялся, что она никому не достанется.

Вскоре Земиру нашли холодной и неподвижной в ее опочивальне. Оплакивая безвременно погибшую красавицу, принц уехал на свою родину. И только верный Эфедра ежедневно стоял у саркофага усопшей, часами любуясь ею. И только один он знал, что Земира не умерла, а только заснула по его внушению и проснется, когда он ей это прикажет. Но Эфедра никогда не разбудит ее, потому что он знает, что тогда она для него погибнет навсегда.

Шел год за годом, а Эфедра, уже дряхлый старец, по-прежнему часами любовался неизменяющейся красотой Земиры.

Достигнув 90 лет, Эфедра почувствовал приближение смерти и, боясь предстать пред Всевышним с тяжким грехом на душе, так как сознавал, что из эгоизма лишил Земиру жизни, он, стоя в последний раз у саркофага Земиры, простер над нею руки и произнес:

— Слушай и исполни мое веленье — когда пройдет еще 613 лет, ты проснешься, но при первом же поцелуе мужчины — ты умрешь...

II

Горячее солнце заливало развалины древнего храма.

Груды гранита и мрамора, когда-то бывшие чем-то целым и прекрасным, уныло лежали, окружая что-то похожее на большой каменный ящик.

Палящие лучи достигшего зенита солнца, казалось, пробравшись вглубь ящика, разбудили в нем жизнь... Что-то зашуршало, зашевелилось в нем... Еще минута, и из ящика что-то поднялось...

Озираясь испуганными зелеными глазами, из него вышла женщина.

Ключки тончайшей ткани кое-где прикрывали ее стройное, гибкое тело... Перья дикого павлина и марабу украшали ее длинные черные волосы. Усыпанные изумрудами и рубинами запястья, звеня цепочками, сверкали на солнце... Грудь женщины быстро поднималась и опускалась. Ее бледные щеки по временам заливал яркий румянец...

Выбравшись из развалин, женщина пошла к видневшемуся невдалеке городу. Пораженная, испуганная, она шла, поминутно останавливаясь и озираясь... Она не узнавала окружавшей ее местности. Было еще очень рано, и дорога была пустынна. Неожиданно женщина остановилась... Дрожа всем телом, прислонилась она к дереву, чтобы не упасть... Расширенными от ужаса глазами смотрела она вдаль, где, быстро извиваясь между холмами, сверкая на солнце, ползла гигантская змея...

Вдруг пронзительный крик прорезал тихий утренний воздух, и в ту же минуту земля под ногами женщины заколебалась...

Какой-то грохот, будто отдаленные раскаты грома, все приближался... Опять страшный оглушительный крик, и чудовище, извергая дым и пламя, пронеслось мимо...

Упав на колени, женщина закрыла лицо руками...

Чьи-то голоса вывели ее из оцепенения. Отняв от лица руки, она увидала окружавшую ее толпу людей...

— Она голая, — говорил один.

— И ее волосы украшены перьями диких птиц, — добавил другой, — наверное, она дикарка.

— Вполне возможно, — подтвердил третий, — здесь только что прошел цирковой поезд, с которого она могла свалиться.

— *Цирк, поезд*, — шепотом повторяла женщина, — что бы могли означать эти слова?..

Окружавшая женщину толпа все увеличивалась, и говор ее был подобен рокоту моря.

Женщина встала с земли и хотела продолжать свой путь, но с ее тела упали последние обрывки истлевшей ткани, и она предстала перед толпой совершенно нагая, подобная изваянию гениального скульптора...

Крик восторга пронесся по толпе...

В эту минуту, продираясь сквозь толпу, к женщине пробирался пожилой человек в очках, с пробковым шлемом на голове и с ранцем за плечами. У его пояса висела лакированная, в виде пенала коробочка, а в руке он держал сачок на длинной палке.

Его быстрые живые глаза, не отрываясь, жадно смотрели на что-то сверкавшее на плече Земиры.

Одним прыжком очутился он возле нее.

— Это... это... *Ocyprus olens*, — шептал он, задыхаясь от волнения, — *Ocyprus olens*, из-за которого я поехал в Египет, которого я искал долгие годы, без которого поклялся не возвращаться на родину... Слушай, дитя, — сказал он Земире, — ты бедна, у тебя нет даже платья, чтобы прикрыть свою наготу. Я дам тебе денег... много... столько, что ты на них сможешь купить целую груду нарядов, только отдай мне это!.. — и, протянув руку, он снял с плеча женщины большого блестящего жука...

Долгим странным взглядом посмотрела Земира на жука в руке иностранца... Она знала, что в этого жука перешла душа погубившего ее Эфедры, знала, что никакие силы не избавят ее от него, что он вернется к ней, хотя бы его держали за 7 замками...

Между тем, сияющий от радости иностранец, спрятав жука в лакированную коробку, достал из ранца и протянул

Земире пригоршню золотых.

— Возьми, дитя, — сказал он, — и да принесет это золото радость твоему сердцу.

Земира взяла золото и, снова опустившись на землю, с любопытством рассматривала хорошенькие блестящие кружочки и с удовольствием прислушивалась к их чистому мелодичному звуку.

Неожиданно толпа, окружавшая Земиру, почтительно расступилась, и из нее вышла монахиня. Подойдя к Земире, она накинула на нее снятый с себя черный плащ.

— Пойдем, дочь моя, — сказала она, и, взяв Земиру за руку, вывела из толпы.

III

Монотонная монастырская жизнь, молчаливые монахини, тишина и покой благотворно действовали на Земиру, душа которой как бы еще не совсем очнулась от долгого небытия. Зато всякое проявление вне-монастырской, новой, незнакомой ей жизни, такой сложной и загадочной, пугало и мучило ее.

Однажды, в храмовый праздник, монахини при громадном стечении народа, представляли мистерию, в которой Земира в роли Марии Магдалины была так прекрасна, что все смотрели на нее, как на божественное явление.

Войдя после представления в свою келью, Земира вскрикнула от восторга и удивления — вся ее келья была убрана чудными розами, нежный опьяняющий аромат которых кружил голову, вызывая в душе сладостные неясные образы и воспоминания...

Не успела она задать себе вопрос, кто бы мог так порадовать ее, — как из глубины кельи к ней бросился человек с прекрасным мужественным лицом и гордой осанкой.

— Богиня! — воскликнул он, падая к ее ногам. — Чудное божественное видение!.. Позволь мне преклонить перед тобою колени, поцеловать край твоей одежды!.. Я не знаю, что

влечет меня к тебе, не умею назвать таинственной власти, которой подчиняюсь, знаю лишь, что с первого взгляда на тебя там, в храме, понял, что души наши связаны долгими веками прежней жизни, что когда-то, в отдаленные времена, мы были близки, любили друг друга... Что с тех пор души наши, изнывая в разлуке, искали одна другую... Чудная... чудная... люблю, люблю тебя...

Вся бледная, дрожащая стояла Земира, закрыв лицо руками, жадно ловя каждое слово страстного признания...

В душе ее проносились неясные, будто навеянные сном радостные картины некогда испытанного счастья...

Отняв от лица руки, Земира опустила их на плечи возлюбленного и, склонясь к нему, прильнула к его устам горячими влажными устами...

В то же мгновение душераздирающий крик огласил келью, и Земира замертво упала в объятия обезумевшего возлюбленного... Прибежавшие на крик монахини нашли Земиру неподвижной, похолодевшей — на левой стороне ее груди, у самого сердца, в ее тело впился большой блестящий *Ocypus olens*.

Михаил Ордынцев-Кострицкий

«PER ASPERA AD ASTRA»

Илл. С. Плошинского

«PER ASPERA AD ASTRA»

Девять свитков древнеегипетского манускрипта, вывезенного в XVI веке из Мексики «конкистадорами» Кортеса

Свиток первый

Я, александриец Зенон, покрываю письменами эти длинные свитки пергамента, чтобы те белые люди, которым когда-либо придется ступить на берега Анахуака, узнали из них, что некогда, волею Господа нашего Иисуса Христа, один из поклонников Агнца уже посетил эту страну и заронил здесь первые зерна учение Спасителя мира.

Я не думаю о тленной и преходящей земной славе, ни о благодарности потомков прежних моих сограждан... Нет, суетные мысли чужды и непонятны мне, но теперь, за несколько дней до моей гибели, я вижу, что в жизни моей случилось много необычного и поучительного для других, ведущих мирное существование, но грезящих о дальних странствиях и чужеземных странах.

И вот для них, для успокоения их мятущихся и непокорных душ, записываю теперь все, что подымается из глубины моих воспоминаний: деяния, каким я был свидетелем, и те дела, которые дерзновенно совершались мною...

Я родился в Александрии, в царице городов, жемчужине Востока, где некогда правила прекраснейшая из женщин мира и, увы, несчастнейшая среди них, ибо все боготворили ее, но не было ни одного, кого бы полюбила Клеопатра. Мне много говорил о ней отец мой, верховный жрец храма божественной Гатор, и по тому, как загорались при таких рассказах его бесстрастные глаза, я мог догадываться, что и он любил прекрасную царицу...

Но ее уже не было в живых, когда я увидел свет моего первого земного дня и, вероятно, в Александрии не было больше женщин, равных ей, потому что сердце мое ни-

когда не билось сильнее при виде одной из них и никогда глаза мои не останавливались на одной какой-нибудь, любясь всеми ими, как волнами рокочущего моря или рядами стройных пальм. Я был спокоен и одинок.

Отец любил меня и тщательно заботился о том, чтобы никто в священной стране Кеми не оказался выше меня по знанию высоких истин таинственных наук, которые известны были только служителям ложных богов, каким молились тогда мои сограждане, но, уповаю, не молятся уже теперь.

Я изучил законы движения небесных тел, умел предсказывать судьбу людей по течению светил, вызывал бесплотный дух живущих и тени тех, кто уже переселился в обитель смерти... Народ, несмотря на мою молодость, глубоко чтит меня, и потому, когда отец мой отошел в таинственную бездну вечности, то на его место был единодушно избран и посвящен жрецами я.

Но всему этому суждено было перемениться...

Я слишком много знал и слишком долго думал в уединении наших безмолвных храмов, чтобы удовлетвориться теми отблесками истины, которые случайно мы замечали в небесах и которые выдавали людям за истину во всем ее объеме. Душа моя томилась неутолимой жадой, тоской по вечной истине, и я жадно следил за всем, что хоть немного приподымало тяжелую завесу между землей и светом вечности.

Мне приходилось видеть старцев в огромных белых тюрбанах на головах, покрытых сединой; они являлись к нам издалека, от берегов таинственного Ганга, на которых, как говорят, побывал великий завоеватель эллинов Александр, сын Филиппа. Они рассказывали мне в тени гробниц почивших фараонов о таинствах своей религии, о сладости нирваны, о всеблаженнейших иоги... О многом говорили они в тени старых гробниц, но в душе не запечатлевалось того, что мог уловить мой слух...

Я видел смуглых и чернобородых финикиян, служителей Астарты, видел гордых и молчаливых жрецов Юпитера Капитолийского, но ни одно из этих учений не было вы-

ше служения Озирису и Изиде, и не видел я в них истины, как не видел ее в религии моих отцов.

Покинув Александрию и храм божественной Гатор, тайно от всех я удалился за пределы священной страны Кемии, как простой, безвестный путник, скитался я по землям и морям в бесплодных поисках иной и вечной истины, служению которой я мог бы посвятить всю мою жизнь и все дарованные небом силы.

Но истины не находил.

И в поисках за ней прошло пять долгих лет, пока в один удушливый и знойный день, при солнце, точно подернутом кровавой дымкой, приблизился я в третий раз к стенам Иерусалима — столицы царства иудейского. Я знал давно эту страну и этот город, но теперь что-то иное, неведомое мне, лежало и на высоких каменных стенах, и на листве безмолвных кипарисов, и в глубине оливковых садов.

Но у городских ворот на ковриках из шкуры бегемотов по-прежнему сидели алчные менялы и, клянясь одновременно именами и Иеговы и Аримана, обсчитывали чужеземцев, имевших неосторожность обратиться к ним; из глубины запыленной и грязной улицы неслись крики различных торгашей, ослиный рев и звон бубенчиков на шеях верховых верблюдов. Все было, как всегда, но я не ошибался, голос души, никогда не засыпающий и не обманывающий нас, мне ясно говорил, что в этом городе свершается что-то великое, чему названия нет и что теперь я близок к цели, которой не мог достигнуть за эти годы странствий из страны в страну, — только теперь и больше никогда.

Приблизившись к стене, я подошел к меняле, седина которого уже покрылась желтизной, и попросил разменять мне горсть серебряных монет Эллады, и, пока он взвешивал их друг за другом, я спросил:

— Не знаешь ли ты, что случилось сегодня в священном городе?... Я чужеземец и не хотел бы упустить невиданного зрелища.

Старик опустил руку с деньгами и бросил на меня изумленный взгляд.

— Что произошло в священном городе?.. Станный вопрос, сын мой! Много новостей бывает каждый день в Иерусалиме. Сегодня прибывает труппа нубийских танцовщиц; красавица Поппея приобрела новую диадему у старого Захари...

— Еще, еще!..

— Еще... Не знаю, чужеземец! Спокойствие и мир царят в Иерусалиме под мудрым правлением проконсула Пилата; неусыпно он стоит на страже благоденствия всей Иудеи и не жалеет сил для этой цели. Недавно вот пришел из Назарета какой-то кудесник и чудака. Он проповедовал любовь и не нарушал законов, но чернь пошла за ним и называла его царем и сыном Божиим... Этот пустяк начал грозить спокойствию страны, и бдительный проконсул, — да будет над ним благословение Иеговы, хоть он и чтит языческих богов, — проконсул судил его и приговорил к распятию на лобном месте. Сегодня казнят троих: его и еще двух других...

Что-то священное, давно желанное прозвучало для меня в этих словах.

— Где это место? — спросил я. — Где?

— И ты пойдешь туда, — возразил мне, не отвечая, иудей, — пойдешь смотреть на казнь несчастного безумца вместе с толпой бездельников и нищих, ты, на лице которого лежит печать высокого ума и благородной крови?..

— Да, я пойду, старик! Оставь себе все серебро, но укажи мне путь туда...

Меняла усмехнулся, пожал плечами и объяснил мне, как найти дорогу, ведущую к Голгофе.

И я пошел.

Это был тот ужасный день, когда Спаситель мира испустил дух, пригвожденный ко кресту, и смертью Своею искупил грехи людей. Я видел, как постепенно бледнели черты Его лица и все тускнел любвеобильный взгляд великого Страдальца. Я слышал последний вопль Его к Предвечному Отцу; видел, как мрак внезапно окутал гору и весь Иерусалим; пережил ужас от содрогания разгневанной земли, но среди грохота разверзшихся утесов я все же был счаст-

лив, чувствуя, что путь мой кончен, что Истина открылась мне с высоты голгофского креста...

Любимый ученик Христа мне передал глаголы Господа, и они поселили мир в моей душе, которого она не знала раньше.

Когда же Он воскрес из мертвых и покинул землю, вознесясь на небеса, то все апостолы, исполняя завет Учителя, оставили друг друга и разошлись по разным странам, чтобы внести свет истины в души, окутанные мраком... И я, Зенон александриец, не будучи достоин развязать ремень на обуви Его ученика, дерзновенно отважился на то же и навсегда покинул Иудею, изведав за пределами ее все то, о чем прочтете вы, неведомые братья, на длинных и узких свитках бесстрастного пергамента, которые лежат теперь подле меня в моем дворце, в моей темнице, где протекут последние дни моей жизни и откуда выйду я за тем только, чтоб умереть...

Свиток второй

Да, я решил идти и думал, что путь мой будет лежать на берега таинственного Ганга, но демон-искуситель, вселившийся в меня, прибег к своим соблазнам, и жизнь моя сошла с намеченной тропы, чтобы отдаться во власть хотя и невероятных, но все же истинных событий.

В те годы, когда я был еще ищущим, но не нашедшим истины, мой ум жадно поглощал все воплощенное в клинообразных письменах на листьях пожелтевшего от времени папируса и все, что было скрыто от непосвященных взоров на кирпичках из красной глины, и все запечатленное мыслителями прославленной Эллады на длинных лентах навощенного полотна.

Все это и многое другое, что передавали мне старые жрецы, запомнил я, но многого не получил от этих знаний, и теперь мое хранилище сокровищ мысли я без сожаления готовился покинуть...

И вот, когда я задумчиво сидел на ложе, покрытом манускриптами былых годов, рука моя упала на старый, хорошо мне знакомый свиток и по привычке начала развертывать его... То был «Тимей» — диалог великого Платона, в котором им запечатлен рассказ жреца из страны Кеми.

От пережитых испытаний память моя уж ослабела, но эту роковую повесть я унесу с собой, не позабыв в ней ни слова... «О, Солон! — так начинается в ней свой рассказ неведомый мне жрец. — Вы, эллины, всегда пребываете детьми. Между вами нет ни одного, который не был бы легкомысленным новичком в науке древних сказаний. Вам неведомо то, что было совершено поколением героев, которых вы суть выродившиеся потомки. То, что я хочу рассказать вам, было девять тысяч лет тому назад. В наших книгах рассказано о том, как Афины сопротивлялись натиску ужасной державы, которая вышла из Атлантического моря и наводнила большую часть Европы и Азии, ибо тогда можно было переплыть через океан. Тогда существовал остров, расположенный против того устья, которое вы называете Геркулесовыми столбами. От этого острова, который был больше, чем Лидия и Азия, вместе взятые, перебирались к другим островам, а от них к матерiku, который окаймляет это море... На этом острове, Атлантиде, жили цари, славившиеся своим могуществом, и они основали царство, которое владычествовало над некоторыми частями материка. Кроме того, в наших областях в их власти находилась вся Лидия до самого Египта и вся Европа до Тиррении. Эта могучая держава, соединив все свои силы, одно время предприняла покорение вашей земли и нашей, и всех народов, живущих по сю сторону Геркулесовых столбов. И вот тогда-то, о Солон, ваш город выказал перед всем светом свое мужество и свою силу. Он выдержал самые страшные опасности, одержал верх над завоевателями, спас от рабства те народы, которые еще не были поработены, а другим, обитающим, как и мы, по сю сторону Геркулесовых столбов, возвратил свободу... Но во время, которое за сим последовало, произошли великие землетрясение и наводнение. В течение одного ужасного дня и одной ужасной ночи все

воины, которые шли к вам, были разом поглощены разверзшейся землей. Остров Атлантида исчез под морем, и вот поэтому-то даже и доднесь нет возможности плавать по этому морю и исследовать его, так как мореплаватели встречают неодолимые препятствия в огромном количестве тины, которую, погружаясь в море, остров оставил на поверхности вод...»

Я еще раз пробежал этот свиток от начала и до конца, и роковая мысль мелькнула в моем сознании: пусть Атлантида опустилась на дно морское, и пусть навсегда погибла ее бывшая власть и слава, но все ж из тины, оставшейся, как зловещее напоминание о ней, и теперь еще могут подыматься острова — вершины высоких горных цепей, а на них, быть может, существуют и в наши дни потомки тех людей, которые владычествовали над берегами Африки и странами Европы.

Ученики Христа уйдут из Палестины и по лицу земли рассеют свет высоких истин, поведенных Им миру, но кто из них, из этих бедных рыбаков, может подумать о позабытых нами братьях, которые уж девять тысяч лет тому назад точно переселились в царство теней и навсегда покинули наш грешный мир... Идя через пределы одной страны в другую, повсюду разнесут они спасительную весть о Сыне Божиим, погибшем на кресте и победившем смерть, но никогда суда апостолов не поплывут на запад, туда, где скрылась под волнами великая страна.

Я думал так, и я решил, что не нарушу воли Господа, если решусь на странствие по неизвестным нам морям, чтобы в далеких странах поведать то, чему я сам научен был под мрачной тенью голгофского креста.

И я уплыл от африканских берегов. Невелико было судно мое и не подготовлено для дальних плаваний, но финикийские матросы не спрашивали меня о том, куда держу я путь; каждый раз, когда нарождалась новая луна, получали они условленную меру золота и с лицами бесстрастными, как изображения их богов, говорили мне несколько слов на своем странном языке и уходили прочь.

Немало дней пришлось нам провести между небесным сводом и гладью моря, но вот однажды на заре, когда лучи поднявшегося солнца впервые скользнули по волнам, глаза мои, все время напряженно искавшие заветных берегов, увидели на горизонте туманную грядку. Все ближе и ближе надвигалась она на нас, пока к полудню не очутились мы в виду холмистых островов, покрытых зеленью роскошных пальм и виноградных лоз.

Сама истина запечатлена была в диалоге Платона...

После долгих странствований по неведомым морям мы прибыли к стране, все обитатели которой были прекрасны, как полубоги, а лица их напоминали изваяния в старинных наших храмах. У них существовали иероглифические письмены, у них были астрономические знаки, они бальзамировали мертвые тела и строили надгробия, подобные тем пирамидам, которые расположены у нильских берегов в преддверии пустыни. У них были и девы, посвятившие всю жизнь служению богам, как в Риме жрицы великой Весты...

Странная, но сладостная музыка сопровождала их религиозные моления, их игры, напоминающие полуразрушенные временем изображения на обелисках страны Кемии, и их общественные пляски...

Живя на этих зеленых островах и окруженные со всех сторон волнами моря, они считали себя потомками великого и благородного народа и единственными обитателями всей земли, так как другие племена, по их преданиям, погибли в годы далекой старины в ужасном бедствии, ниспосланном на землю. В священных книгах их о нем говорилось так:

«Тогда воды поднялись, и сделалось великое наводнение, достигшее до головы людей. Они были покрыты водою, и густая смола спустилась с неба. И лицо земли померкло, и начался сумрачный дождь, дождь во весь день, дождь во всю ночь, и поднялся великий шум над головами их.

И тогда люди бежали и толкались, исполнившись отчаяния. Они хотели подняться на дома, а дома, рушась, роняли

их опять на землю. Они хотели взлезть на деревья, а деревья стряхивали их с себя и откидывали далеко. Они хотели скрыться в глуби пещер, но и пещеры обрушивались перед ними».

Так было некогда, и так будет опять, — вещали народу жрецы зеленых островов, и потому в этой стране никто не вел бесстрастных хроник о совершавшихся делах, боясь, что то же бедствие, опять обрушившись на землю, погубит и людей, и все деяния людские...

Больше года я провел в этой стране, где все казалось мне родным и близким, хотя тысячелетия разделяли обитателей ее и детей Кеми, но все мои горячие слова о пострадавшем Боге не находили отклика в сердцах островитян. Они спокойно слушали меня, и любопытство светилось в их глазах, когда я говорил о роскоши Александрии, о римских цезарях и мудрецах Эллады, но потухал этот огонь при первых же словах о Нем, и взгляды их тотчас же обращались к высоким стенам храмов, за которыми светилось неугасающее пламя...

Я отряхнул прах с ног моих и навсегда покинул благоухающие острова. В глуби неизмеримых западных морей нашел я новые архипелаги и новые народы, населяющие их. Те же предания и те же божества были у всех этих племен, и одинаково не проникали в их сердца слова учения Христова.

Все дальше и дальше я углублялся в необозримую равнину вод. Священная страна, где мирно покоились останки моих предков, казалась мне теперь неясной мечтой. Последние клочки земли остались на востоке, и три раза свершила теперь луна свой вечный путь по темным небесам, а мы, не видя признаков земли, все продолжали плыть на запад, куда влекла нас роковая мысль, некогда зародившаяся в моей душе.

И, когда наступило новолуние, случилось то, чему суждено было случиться и что было причиной того, что я, Зе-нон-александриец, пишу теперь мою правдивую и горестную повесть.

Свиток третий

Я с вечера заметил, как темные громады тяжелых туч со всех сторон охватывали горизонт и молнии сверкали в их мрачной глубине, но финикияне по-прежнему были бесстрастны и спокойны, и потому я, как всегда, спустился с палубы, чтобы забыться недолгим сном до первых проблесков рассвета.

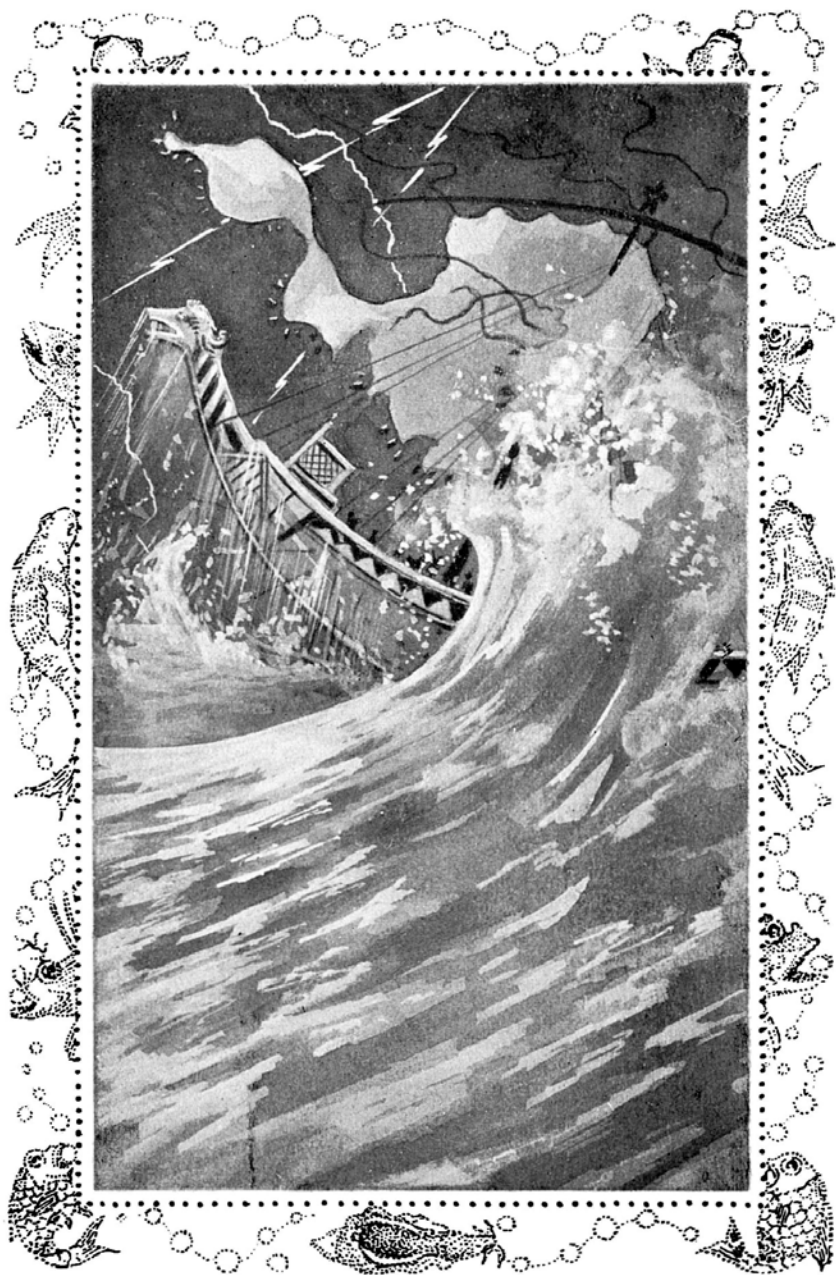
Не знаю, долго ли я спал, но только громовой удар и содрогание непрочных стенок корабля заставили меня проснуться. Накинув тяжелый морской плащ, я выбежал наверх и сразу заметил и понял, что гибель угрожает нам.

Низко спустившийся над нами темно-свинцовый полог с багровыми краями закрыл весь небосклон, но продолжал все более спускаться, почти касаясь до поверхности глухо ревущих вод, поверх которых, точно вспышки фосфора, белели пряди пены. Бесчисленные молнии, как искры, пронизывали толщу туч, громовые раскаты сливались с безумным свистом урагана, а горы, выросшие из разъяренных вод, в стихийной ярости со всех сторон неслись на нас и рушились у борта корабля, смывая с палубы все уцелевшее на ней.

На обнаженных мачтах виднелись только ключья от прежних парусов, а толстые канаты, протянутые с палубы к концам тяжелых рей, гудели, как струны на арфе исполинов... Люди, точно листья, гонимые осенним ветром, носились взад и вперед по кораблю, пытаясь удержаться за каждый выступ, за каждое кольцо, но доски палубы ускользали из-под ног; судно, как обезумевший конь, то падало, то подымалось, и вдруг с зловещим треском обрушилась одна из мачт...

Огромная волна внезапно ринулась на нас, кровавой пеленой покрылось все, и я лишился чувств.

Когда сознание ко мне вернулось, от бури не оставалось и следа, — небо безбрежное сверкало и искрилось лазурью, необозримая гладь моря была так же спокойна, как воды Нила в сухое время года. Я был спасен, и только, ко-



«Безчисленные молнии, как искры, пронизывали толщу туч»...

гда хотел подняться на ноги, то вдруг почувствовал, что подо мной нет палубы судна.

Да, это было так... Обломок мачты, на которой я лежал, запутавшись в ее расщепленном конце тяжелыми складками намокшего плаща, — вот все, что оставалось от корабля и экипажа. Быть может, финикияне спаслись, считая меня единственной жертвой моря, но я не мог поверить этому, следя глазами за жалкими обломками судна, которые со всех сторон виднелись на волнах, как язвы, безобразящие божественное тело смилившегося исполина.

Один час медленно тянулся за другим, солнце ужеблизилось к зениту, но, сколько ни напрягал я глаз, а ничего не мог заметить на той черте, где море земных вод сливалось воедино с таким же голубым и необъятным небесным морем. Только на западе, над самыми волнами, вздымалась легкая гряда молочного тумана, и по направлению к ней меня влекло какое-то невидимое течение.

Не знаю, сколько времени прошло, но вот в небесной синеве я ясно различил белеющие крылья каких-то птиц, а вскоре и их пронзительные голоса, которые мне показались сладчайшей музыкой земли.

Почти угасшая надежда опять во мне проснулась. Я приподнялся над скользким от воды бревном и снова посмотрел на запад. Крылатые предвестники земли меня не обманули, — то, что я принял за клубящийся туман, на самом деле было берегом, покрытым такой пышной зеленью, подобие которой я не встречал нигде в давно покинутых восточных странах.

Огромная река сливала здесь свои желтеющие воды с лазурными волнами моря, и в месте, где еще нельзя было определить, за кем останется победа, с немолкнущими криками носились вереницы птиц. По временам одни из них, как камень с кровли храма, стремглав бросались вниз, а вновь поднявшись, уже держали в клюве и когтях трепещущих и брызжащих водой рыб...

Цветы неведомых растений, обрывки водорослей и лиан все чаще и чаще попадались мне...

Еще немного, и я с безумным, диким криком радости заметил, что безграничная гладь моря осталась позади, а я плыву уже у берега спокойной и медленной реки. Какой-то шест, не шевелясь, держался на воде; я подхватил его и, упираясь в илистое дно, стал направлять мою тяжелую и скользкую ладью вдоль берегов.

Головы безобразных крокодилов по временам показывались над поверхностью реки, но я, родившийся на нильских берегах, не мог страшиться их и только лишь старался, чтобы шест мой производил возможно больше шума, пугая им трусливых тварей... Но вот затих звук отдаленного прибоя, река немного сузилась и стала чище, лес из роскошных, но неизвестных мне деревьев совсем приблизился к воде, как стены жидких изумрудов вдоль улицы из светлого стекла...

Птицы, сверкая на солнце многоцветной окраской своих перьев, перелетали с одной группы деревьев на другую; крохотные обезьянки перекликались в непроницаемой листве вершин, какое-то животное, похожее на полосатых тигров из стран далекой Индии, но только меньше и покрытое пятнами вместо полос, мелькнуло в густом кустарнике у берега и тотчас скрылось в густой чаще.

Ни по соседству со священной страной Кеми, ни на зеленых островах погибшей Атлантиды не приходилось мне встречать такой роскошной зелени и ярких красок. Здесь все было особенно, не так, как в странах, который я посетил, и мне казалось, что если это тоже остров, то остров огромный из существующих во всей вселенной... А если нет, то горе мне, — ибо, плывя на запад, я подошел к Индии с востока, и долгий путь мой ничего не прибавит к славе Господа Христа.

Но мысли мои путались, все тело ныло и болело от усталости, и я, приблизясь к берегу, ступил на землю и навсегда покинул обломок мачты финикийского судна, последнее, что соединяло меня с родиной, с гробницами усопших предков.

Обессиленный, опустил я на густую и мягкую траву, закрыл глаза, и тотчас же глубокий сон завладел всем существом моим.

Свиток четвертый

Первое, что я почувствовал, проснувшись, была легкая качка корабля, и, только окончательно придя в себя, я вспомнил и гибельную бурю, и мой опасный путь по неизвестной мне реке... Но качка продолжалась, и, чтобы понять ее причину, я приподнялся на колеблющейся подомной циновке и, ощупью раздвинув тяжелый полог, просунул голову наружу.

Сначала глаза мои не в силах были ничего увидеть, ослепленные потоком солнечного света, но через несколько мгновений я все увидел и понял все. То, что мне показалось качкой судна, было покачиванием сплетенных из лиан носилок, которые держались на плечах у четырех людей, по цвету кожи более близких к финикиянам, чем к эфиопам из южных африканских стран.

Одежды их из белой ткани напоминали мне одеяния нильских рыбаков; но впереди моих носилок виднелись еще несколько других, и в глубине их возлежали фигуры, должно быть, знатных воинов и старцев, одетые в роскошные хитоны и плащи из многоцветных перьев птиц; на головах у них сверкали шлемы из кованого золота, как это я узнал потом.

Какой-то из носильщиков заметил, что я уже не сплю, и тотчас же издал короткий крик на непонятном языке, и вслед за тем все шествие остановилось. Сидевшие в других носилках покинули свои места, и я теперь увидел, что все они были высоки ростом, красиво сложены, обладали гордым взглядом и жестами людей, которые привыкли повелевать и сознавали свою силу.

Старший из них приблизился ко мне и начал предлагать мне вопросы на мелодичном языке, который не похо-

дил ни на один из языков восточных стран, и я не мог понять его. Тогда он замолчал и, вынув из ножен меч, сверкающий — не полированной сталью, а с лезвием из зеленоватого прозрачного стекла, стал им чертить на глинистой дороге изображение лодки, пешехода и небольшого корабля.

Тогда я понял, что он хочет узнать, каким путем проник я в их страну, и указал ему на нарисованный корабль. Он что-то произнес, и близстоящий воин поспешно извлек из-под хитона меч и подал его мне. Покинув носилки, я стал перед величественным старцем и начал с ним наш долгий безмолвный разговор. Носильщики и воины столпились вокруг нас, с любопытством разглядывая чертежи, особенно же те из них, которыми я отвечал на предлагаемые мне вопросы.

Из разговора этого я понял, что нахожусь теперь в могущественной и большой стране и что теперь меня несут в ближайший город, которым правит величественный старец, но сам он тоже подчинен какому-то другому человеку, который был изображен им сидящим на высоком троне с венцом на голове.

О том, что ждет меня, он ничего мне не сказал, и скоро мы все направились в дальнейший путь.

Лесов вокруг уж не было; луга и нивы с желтеющим маисом покрыли всю долину, пересекаемую небольшой рекой. Широкая и гладкая дорога, подобная дорогам страны Кеми, тем дорогам, которые были сооружены для передвижения по ним целых дворцов и храмов, перерезая овраги и невысокие холмы, ничем не прерывалась и исчезала вдалеке, где тусклым облаком вздымался неведомый мне город.

Перед закатом мы прибыли в него.

Огромные дома из тесаного камня по архитектуре своей похожи были на здания в городах египетских и ассирийских: над ними мрачно высились две каменные пирамиды, которые, как я узнал потом, были не местом погребения усопших граждан, а храмами богов страны Анахуака. Семья правителя радушно приняла меня в своем жилище, и

я был поражен, заметив, что золота в нем больше, чем дерева и глины.

Мне нравилась жена величественного старца и дочь его, красавица Айрани, и я был рад потом, когда узнал, что мне еще не скоро придется оставить их гостеприимный кров, чтобы отправиться в Теноктитлан, где будет ждать меня властитель всей страны. Теперь туда отправлен был гонец с известием, что человек неведомого племени пришел из глубины морей, и до возвращения его я мог спокойно жить в этом прекрасном городе Анахуака.

Айрани любила юношу, которого звали Гаридалонк, но он был добр и не мешал своей невесте обучать меня их языку, и потому я вскоре мог расспросить ее и разузнать о многом.

Страна эта была прекрасна, и жители ее кротки, как дети, но боги, правившие ею, — кровожадны и жестоки. Император, как и простой рыбак, боялся и трепетал жрецов, власть которых была во многом сильнее его власти, хотя он и мог одним лишь словом отправить их на смерть... И, слыша это, я благословлял судьбу, приведшую меня в страну Анахуака, ибо казалось мне, что жители ее поймут и отзовутся на божественное учение Христа.

Немного дней прошло с тех пор, как прибыл я сюда, а мне пришлось уже увидеть, чем жрецы держат в повиновении народ.

На маленькой площадке, расположенной на вершине одной из пирамид, собралась однажды целая толпа людей в одеждах, испещренных каббалистическими знаками. Они расположились посреди нее между двумя башнями из деревянных бревен, где были храмы Хюитцля, бога войны, и Кветцалья, бога воздуха, изображения которых видны были народу в распахнутые двери храмов. Перед безобразными изваяниями божеств стояли маленькие жертвенники, и на них в блестящих золотых сосудах лежали сердца несчастных, принесенных в жертву им.

В центре площадки возвышалась глыба мрамора, и пять жрецов держали теперь на ней нагого юношу, а сам верховный жрец стоял над ним с занесенным ножом из того

же зеленоватого стекла. Затем этот нож одним ударом вонзился в грудь трепещущего человека, разворотил ее, толпа распростерлась ниц перед подножием пирамиды и оставалась так, пока сочащееся кровью сердце не было опущено на золотое блюдо у изваяние Кветцалья...

— И ведь никто, никто, кроме жрецов, не знает, какой несчастный будет лежать на этом камне завтра... — шепнула мне Айрани, когда безжизненное тело жертвы тяжело упало вниз.

«Значит, и мне придется, может быть, погибнуть здесь, — подумал я, — не выполнив цели, ради которой покинул я Александрию, и не обратив ко Христу ни одной человеческой души».

Но девушка точно прочла эти слова в моих глазах и тихо мне ответила:

— Ты не погибнешь, чужеземец... Смерть ждет тебя не здесь и не сейчас.

— Почему ты мне это говоришь, Айрани? Разве тебе известны тайные помыслы жрецов или ты знаешь средство спасти меня от них?

— Нет, чужеземец, но я и все мы знаем, что ты умрешь по истечении года и тех немногих дней, которые пройдут до той поры, пока ты явишься с посланниками императора в Теноктитлан. Гаридалонк сказал мне, что ты добр, и потому я открою тебе тайну, узнав которую, ты, может быть, еще спасешься. Так знай же, гость неведомых земель, что у нас, в стране Анахуака, есть священный обычай, по которому ежегодно избирается один из молодых невольников; невольник этот должен быть знатен родом, красив и не иметь на теле ни одного пятна, ни шрама... И тело его, как говорят жрецы, служит тогда для воплощения в нем бога Тецкатла, творца всей видимой вселенной...

Айрани грустно взглянула на меня и, тяжело вздохнув, продолжала:

— В течение года избранник будет богом и воля его — закон для всех. Все радости земли будут даны ему, но только не радость брака. Когда же год пройдет, Тецкат получит в жены четырех самых прекрасных девушек во всей стране

Анахуака, и вместе с ними он будет месяц пировать в домах знатнейших жителей Теноктитлана. Когда приблизится последний день, его и жен посадят в царскую ладью и повезут по озеру на место, которое зовут «Плавильней металлов», оттуда же на Теокалли — Храм оружия, где жены попрощаются с своим владыкой, а сам он будет принесен в жертву тому же богу, который в нем воплощался до сих пор... В Теноктитлане сегодня приносят в жертву последнее воплощение божества; сегодня же прибыл туда гонец моего отца с известием, что у него живет теперь неизвестный пришелец, красивый, как полубог, который может стать на год властителем страны Анахуака... Пришелец этот — ты...

Айрани умолкла и отвернулась от меня.

Теперь я знал свою судьбу... Сначала холодный ужас объял меня при мысли о гибели на камне под ножом кровожадного жреца, но вслед за тем, как блеск полночной молнии, в сознании моем мелькнула мысль, наполнившая мне душу трепетом радости и счастья...

«Воля его — закон для всех» — звучали в моих ушах слова красавицы Айрани.

Свиток пятый

Но вот давно ожидаемый день наступил. Гонец, посланный правителем города в Теноктитлан, возвратился обратно... И он уже был не один... С ним вместе прибыли из далекой столицы Анахуака: целый отряд императорских воинов и какой-то величавый старик, перед которым пал ниц не только мой добрый хозяин, но и надменные служители храмов Кветцалья и Хюитцля, кровожадных божеств.

— Это верховный жрец! — прошептала Айрани, проходя мимо меня, когда неизвестный мне старец приказал, чтобы я с ним остался, а остальные все вышли из переднего зала.

Повеление его исполнено было тотчас же, и мы остались вдвоем.

Он долго и пристально смотрел мне прямо в глаза, точно хотел проникнуть в глубину моих мыслей, и взгляд этот был остр, как наконечник копья, и, не будучи в силах бороться с его подавляющей властью, я потупил мой взор.

Эта минутная слабость спасла мою жизнь: старый жрец был ею доволен, и это на мгновение, но ясно отразилось на его бесстрастном лице.

— Слушай меня, чужеземец, — произнес он спокойно, но голосом резким, как скрип железа по камню. — Я не знаю, из какой страны ты явился сюда и каким богам воссылаешь моления, но священный обычай этого народа требует, чтобы каждый год какой-либо пленник из чуждого племени провозглашался богом Тецкатом, соблаговолившим воплотиться в человеческом теле. Я явился сюда, чтобы решить, можешь ли ты стать воплощением божества на это недолгое время или должен быть принесен ему в жертву теперь же. В глазах твоих прочел я ответ, и если воля твоя всегда будет так же склоняться пред моей волей, как потупился пред моим взглядом твой взгляд, то ты, чужеземец, будешь провозглашен богом Тецкатом... Но помни: во всем повиновение мне, а иначе... месть моя беспощадна, и само божество от нее не спасется...

Я молчал, не зная, что мне ответить этому старцу, который говорил теперь тихо и злобно, а он, замолчав и еще раз взглянув мне прямо в глаза, произнес, точно читая слова благоговейной молитвы:

— Да будет!.. — И тотчас же громко воскликнул: — Сюда, братья и дети священной страны Анахуака... Сюда!

И как только в широко раскрытые двери хлынула толпа граждан и воинов, старый жрец воздел руки к небу и склонился ниц предо мной.

— Хвала тебе, о Тецкат всемогущий, — молитвенно восклицал он. — Хвала, создатель вселенной, соблаговоливший вернуться к своим верным рабам, чтобы принять их моления и жертвы...

— Хвала! — повторили все бывшие в зале и распростерлись на каменных плитах.

Так я, александриец Зенон, стал богом Тецкатом, недолгим владыкой роскошной страны Анахуака...

Через несколько дней, на роскошных носилках, окруженный стражей из воинов Теноктитлана, я уже покидал прибрежный город, приютивший меня, и направлялся к столице, где должны были пройти тринадцать последних месяцев земной моей жизни, закончившись смертью на жертвенном камне перед изображением того божества, которое теперь воплощалось во мне.

Но я не думал о смерти: слова доброй и кроткой Айрани, что моя воля в течение этого года будет законом для всех, которому не сможет противиться ни сам император, ни этот хитрый и безжалостный жрец, — слова эти, как боевой клич, все время проникали в мой слух и заставляли сердце мое трепетать от радостной и сладкой надежды.

Я полулежал в глубине моих пышных носилок и в то же время обдумывал план того, как я, благодаря беспредельности полученной мной власти, открыто буду проповедовать учение распятого Христа, рассею славу измышленных богов и на нетронутой земле страны Анахуака воздвигну церковь Господу в сердцах прибегнувших к Нему. Пусть я потом умру, пускай жрецы казнят меня, как и того несчастного на пирамиде с храмами безжалостных богов, но уже проповедь Спасителя будет известна здесь, и семя, зароненное ею, даст некогда свой пышный плод...

Верховный жрец, как мне казалось, не доверял себе, — он часто покидал свои носилки и, подойдя ко мне, почтиительно со мной говорил, но острый взгляд его пылливо был устремлен в мои глаза и точно в них искал ответа на зарождавшееся в нем сомнение. Но я ничем не выдавал своих сокрытых мыслей, и хитрый старец вступил в Теноктитлан вполне уверенный, что он привез сюда с собой покорное орудие всех своих замыслов и всех желаний...

На утренней заре, когда лучи восхода едва только упали на гору Икстак, похожую на женщину в белых одеждах на темном ложе, мы начали свой спуск в долину Тенокти-

тлана. В глуби ее, точно гигантские куски прозрачного стекла, сверкала гладь озер Тецкуко, Чалько и Кочикалько, а между них, как будто плавая по лону вод, виднелся огромный и сказочно красивый город.

Еще не подойдя к нему, мы миновали целые селения, построенный на сваях, сады на свободно плавающих плотках и, наконец, вступили в предместье Теноктитлана, где попадалось много зданий, построенных из глины и простого камня, но в самом городе они исчезли без следа и потянулись улицы, где все дома были воздвигнуты из колоссальных красных плит и окружены тенистыми садами. От улиц и других домов они отделены были глубокими каналами...

Детство и юность мои прошли среди садов Александрии, которая не так еще давно звалась царицей Востока; я видел вечный Рим, но все ж Теноктитлан, храмы его, дворцы и пирамиды были роскошнее всего, что видели мои глаза и запечатлела память. Я много мог бы написать о нем в поучение грядущим поколениям, но прибыл я в страну Анахуака не за тем и остающийся пергамент нужен для описания иных событий...

Народ жаждал увидеть вновь воплотившегося бога, и потому верховный жрец в тот самый день, когда мы прибыли в Теноктитлан, провел меня в блестящий, сверкающий камнями и драгоценными металлами дворец властителя страны. Он поднялся передо мной с трона, спустился вниз и распростерся на мозаичном полированном полу. И я пожалел в душе несчастного правителя, который каждый год должен так преклоняться перед каким-либо рабом...

Но я недолго пробыл во дворце и скоро удалился в громадный главный храм, где были приготовлены покои для меня и помещение для ста моих телохранителей. Здесь старый жрец меня оставил, чтобы я мог подкрепиться сном и завтра бодрым предстать перед народом... И я остался наедине с своими мыслями, но сон не приходил ко мне. С молитвой на устах я ждал утра, когда притворство придется мне оставить и начнется открытая борьба со всемогущими жрецами...

И этот день настал.

Предшествуемый торжественными звуками священных гимнов, которые пелись хором жрецов, окруженный стройными рядами воинов, я вступил в переполненный народом храм. Как нива колосющейся пшеницы склоняется перед порывом ветра, так многотысячная толпа людей склонилась передо мной, а вслед за тем восторженные клики, казалось, поколебали своды храма и громовыми раскатами упали вниз.

Шесть или семь пар невольников стояли обнаженные у камня жертв, и только они одни со страхом и ужасом взирали на меня. Стекланный нож сверкал в руке у высокого жреца, и золотое блюдо ждало трепещущих сердец.

Тогда я поднял руку и в первый раз заговорил:

— Дети мои, народ Анахуака, — сказал я и сам удивился твердости, с какой звучал мой голос. — Я вновь вернулся к вам и ожидаю вашей жертвы, но первый день свидания не должен омрачаться кровью, день возрождения не должен стать днем смерти для других. Я жду от вас сегодня цветов и благовоний; покройте этот камень благоухающими лепестками, — и тогда жизнь вашей страны будет так же спокойна и прекрасна; пусть никогда не увядают цветы на этом камне и пусть никогда кровь не прольется на него; освободите несчастных приговоренных и поспешите принести свою благоухающую жертву... Такова воля Бога, так хочет Бог!..

Несколько мгновений длилось замешательство, но вслед за тем народ с криками радости покрыл весь жертвенный камень таким количеством цветов в гирляндах и венках, что он совсем исчез под ними, а благоухающий цветочный холм все продолжал расти, переливаясь нежными красками на солнечных лучах.

— Так хочет бог! — покорно повторил и хор жрецов, но в голосах их слышалась угроза, а во взгляде верховного жреца она пылала, как бешеная страсть.

Борьба между Христом и Князем Мрака, владевшим этой прекрасной страной, началась...

И победил Христос...

Свиток шестой

На следующий же день, еще перед рассветом, верховный жрец и остальные все жрецы пытались увидеть меня, но стража из этих странных воинов, которые каждый год меняли господина и одинаково верно служили всем, не пропустила их. Когда же я проснулся и узнал об этом, то повелел своим телохранителям и впредь не допускать их до меня, так как решил не притворяться и вести открытую борьбу против безжалостных тиранов страны Анахуака.

Народ по-прежнему считал меня воплотившимся Тецкатом, и я не разрушал его уверенности в этом, ибо тогда мои слова пропали бы бесплодно и все бы слушались жрецов, перед которыми давно привыкли преклоняться и гнев которых был ужаснее, чем реки пламени с вершины Попо.

Во все концы империи были разосланы гонцы с известием, что милосердный бог Тецкат не принимает больше жертв в виде трепещущих людских сердец, и только благоухание цветов и аромат курений угодны воплотившемуся богу... В немногих городах жрецы, не веря посланным или надеясь, что Теноктитлан слишком от них далек, пытались продолжать убийства беззащитных жертв на алтарях своих богов, но граждане, мечтавшие избавиться от ненавистного им ига, всей массой брались за оружие, и малочисленность жрецов их принуждала соглашаться на жертвоприношение из цветов или же погибать у тех же алтарей, кропя их собственной кровью.

Душа моя скорбела при слухах об ужасах междоусобных битв, но я считал, что Господу не так противна гибель нескольких десятков кровожадных и безжалостных жрецов, чем смерть бесчисленных мужей и отроков на жертвенных камнях... Для освобождения великого народа должны были погибнуть его недавние владыки, — так, видимо, решил Творец, и мы могли лишь со смирением исполнить Его волю и уповать, что ужас прошлого не возвратится вновь.

Я делал все, что было в моих силах...

Едва только восток начинал алеть огнями скорого восхода, как я уже спешил под своды сумрачного храма, куда со всех сторон стекались граждане Теноктитлана, чтобы послушать мои слова о Том, Кем был я послан в эту далекую страну. И, подкрепив себя молитвой перед священным изображением креста, я начинал им горестную повесть о жизненном пути Спасителя людей и передавал им истины божественных заветов, и радостью преисполнялось мое сердце, когда я замечал огонь глубокой мысли в очах мужей и слезы у их жен.

Жестокие зрелища исчезли без следа в стране Анахуака, кровь не лилась на жертвенники алтарей, но все же кроткое учение не проникало глубоко в ожесточенные сердца людей, привыкших к мучениям и смерти, и скоро с горечью я должен был увидеть, что истинных христиан Теноктитлан еще не может дать. Все эти люди благоговели предо мной и были благодарны мне за избавление от ужасов былых богослужений, но вместе с тем они меня боялись, а через год, когда я должен буду умереть, они опять смирятся перед жрецами и новым воплощением Тецката, который наверное уж будет послушным орудием в руках моих врагов.

Я сам так думал и видел ту же мысль в горящих ненавистью взглядах верховного жреца...

Но небом суждено было иное, и предопределенное свершилось...

Однажды я, утомленный жарким днем и долгой проповедью в храме, сидел в своих покоях, когда начальник моей стражи, звеня оружием, вошел и произнес:

— О, господин, неведомая женщина из областей приморских пришла сюда и хочет тебя видеть; у нее нет с собой ножа, нет и сосудов со смертоносной влагой; она прекрасна и молода и кажется ребенком...

Я не мог догадаться, кто эта женщина, но сердце подсказало мне, что ее следует принять.

— Пускай войдет, — сказал я воину, и он, склонясь предо мной до каменного пола, поспешно поднялся и вышел.

Вторично зашевелился роскошный пурпуровый полог над дверью в этот зал, и я увидел в ней прекрасное лицо красавицы Айрани. Она почти неуловимо, но пристально взглянула на меня, затем сделала несколько шагов вперед и вдруг упала передо мною на колени...

— Зачем, зачем ты это делаешь, сестра моя? — воскликнул я, спеша ее поднять. — Ведь только Бог достоин поклонения и Ему одному оно принадлежит, а я не более, как жалкий странник, которого ты первая согрела участием и лаской.

— Я это знаю, чужестранец, — ответила она, — пусть для других ты — воплотившийся Тецкат, но для меня всегда останешься лишь другом, и склонила я перед тобой колени потому, что ты своими кроткими словами пробудил во мне что-то, чего назвать я не умею, но что дает моей душе спокойствие и мир... Я полюбила великого Страдальца, и образ Его живет в моей душе, и я хотела бы, чтобы вся жизнь моя была служением Ему, любвеобильному и благодному Богу...

— Вся жизнь! — воскликнул я, почти не веря тому, что вдруг услышал. — А как же твой жених Гаридалонк?.. Подумала ли ты, Айрани? Ты веришь в Господа, но Он не запрещаете ведь земной любви, и ты можешь служить Ему, не отрекаясь от радостей супружества и материнства...

— Нет, брате мой, нет... Мне жаль его, он долго будет мучиться, но это горе пройдет когда-нибудь, а я не в силах служить Спасителю и человеку, любить Христа и мужа... Не отговаривай меня, — я не вернусь назад...

Я посмотрел в ее прекрасные и светлые глаза, но тотчас же потупился, точно взглянув на утреннее солнце.

— Да будет! — произнес я тихо и осенил крестом голову коленопоклоненной девушки.

Так было в день, когда красавица Айрани назвала себя невестой Господа и навсегда отсеклась от недолговечного земного счастья...

Но она была прекрасна, и земная красота ее влекла к себе людей, как чашечка цветка — пчелу, и люди не в силах были отказаться от нее. Я знал, что только долгая борь-

ба ей сможет дать свободу, но я не думал, что борьба эта начнется так неожиданно и скоро...

В один из дней, грядущих вслед за этим, когда, накинув свой плащ из многоцветных перьев, я подходил к вратам, ведущим в храм, ко мне приблизился какой-то человек и, опустив на землю убитого оленя, рукой коснулся до земли и громко произнес:

— Хвала тебе, о воплотившийся Тецкат, — ты исцелил сестру мою после молитвы матери, и я, охотник восточных областей, дерзаю принести тебе свой дар...

Но только я, кивнув головой, дал знак, что жертва его принята, как он, понизив голос, чуть слышно прошептал:

— Отошли стражу, чужеземец, и выслушай меня. Имя мое Гаридалонк, но ты уже успел забыть меня...

И я, действительно, узнал в нем жениха Айрани.

Телохранители безмолвно отступили на несколько шагов назад.

— Отдай ее мне, чужеземец, — проговорил тогда охотник, приблизившись ко мне. — Зачем она тебе, — ты через год умрешь на том же камне, куда теперь, по твоему желанию, кладут цветы, а пред Айрани и передо мной еще раскинут долгий путь... Мы будем счастливы... Не разрушай же нашей жизни своим губительным веленьем; пусть девушка уйдет из шумного Теноктитлана и возвратится в родной дом, на берега наших спокойных рек и в шелестящие леса...

— Мне жаль тебя, Гаридалонк, — ответил я взволнованному юноше, — но моя власть не простирается на то, о чем ты просишь. Верховной Воле, перед Которой и ты, и я — ничто, угодно было возжечь в душе Айрани священный огонь подвига и отречения от счастья с тобой, которого она так любит, ради служения Ему и облегчения страданий всех обитающих в стране Анахуака. И я бессилен перед Ним.

Глаза охотника блеснули, и он гордо выпрямился во весь рост.

— Ты отказался, чужеземец, — воскликнул он. — Но берегись! Ты бог в Теноктитлане и перед тобой трепещут все, но для меня ты только раб, и я немало знаю юношей в

стране Востока, которые с оружием в руках пойдут за мной, чтобы низвергнуть ложного Тецката и освободить красавицу Айрани силой, если она уж околдована тобой.

Первый же гневный жест несчастного заставил стражу броситься к нему, и он теперь стоял в сплошном кругу вооруженных воинов, которые ждали лишь знака, чтобы поднять его на острия своих тяжелых копий... Мне было жаль его, — я знал, что, несмотря на ненависть жрецов, безумная попытка юноши его погубит, но я ничем не мог помочь ему и, отвернувшись, с тоской произнес:

— Иди...

И он ушел.

Свиток седьмой

Незаметными шагами время шло в вечность, и срок, когда я должен буду покинуть страну и народ Анахуака, неуклонно приближался ко мне. Все, что преподавал мне любимый ученик Распятого Бога, повторил я в главном храме Теноктитлана, и вина не моя, если немногие только решились открыто пойти вслед за Ним, ибо все знали, что недолг срок моей власти и что жрецы, завладев алтарями богов, опять обогрют их человеческой кровью, и первыми погибнут на них те, кто стал близок ко мне и чьи души воспринимали глаголы мои.

И, раздумывая над этим в долгие часы бессонных ночей, решил я, что следует мне побывать и в других городах, где меньше жрецов и где, благодаря дальности Теноктитлана, не так беспредельна их власть. Там было бы больше надежды на то, что граждане не устроятся их мщенью и зерна учения Агнца, упав в благоприятную почву, дадут всходы, которых не срежет острая сталь раньше, чем колос нальется и созреет для жатвы.

Скоро приблизится час моего обручения с четырьмя девами Теноктитлана, и тогда до рокового мгновения должен я буду оставаться в городских стенах, но до тех пор моя во-

ля — закон, и противиться ему никто не решится.

И, думая так, я объявил начальнику стражи, что воплотившемуся богу Тецкату угодно посетить, кроме столицы, и иные области страны Анахуака, чтобы обитатели их могли поклониться божеству, которое вскоре собирается покинуть их землю и возвратиться обратно в равнины вечного солнца, расположенные по ту сторону мрачных врат смерти.

Верховный жрец, вероятно, понял, чем руководился я в этом желании, но сопротивление его оказалось бессильным, и скоро я, окруженный своей дворцовой стражей, покинул Теноктитлан. Путь совершал я снова в носилках, ибо ни одной лошади нет в этой стране, и жителям ее неизвестен даже и вид вернейшего из четвероногих друзей человека.

Но ясные и жаркие дни, которые теперь наступили, делали наш путь настолько легким, что я, едва только стены столицы скрылись за зеленеющими вершинами холмов и расцветающих рощ, покинул носилки и пошел рядом с начальником стражи. Воинам этим, из которых многие видели десятки Тецкатов, я совсем не казался священным, и они спокойно отнеслись к моему путешествию по образу обыкновенных людей.

Другие носилки, предназначенные для заболевших в дороге, оставались тоже пустыми и только в третьих была Айрани, которая не захотела оставаться одна в моих опустевших покоях и вызвалась сопровождать нас в странствиях по горам Анахуака. Я с неохотой согласился на это, но ей суждено было вскоре спасти мою жизнь и дать мне возможность проповедовать слово Распятого еще несколько месяцев, пока не приблизится неизбежный конец, с которым бороться она не была в силах.

Произошло это так: однажды, когда я наклонился, срывая неизвестный мне, но небывало прекрасный цветок, из густой темно-зеленой травы, окружавшей его, мгновенно поднялась золотистая змейка и вонзила свои острые зубы мне в руку. Боль была ничтожной, но от неожиданности я все же воскликнул, и начальник стражи тотчас же обернулся ко мне. Но едва только он заметил на руке моей ран-

ку, как лицо его стало пепельно-серым от страха, и он застонал, точно укушен был сам, а не я.

— Повелитель, — воскликнул он, — боюсь, что произошло несчастье, которого поправить нельзя, — укус этого гада смертелен, и только жители восточных городов умеют бороться со смертью от яда золотистой змеи. Но далек туда путь, а без помощи их ты еще до заката расстанешься с жизнью...

Старый воин говорил правду, ибо странная слабость уже начала распространяться по телу у меня, но тут вспомнил я об Айрани...

— Позови ко мне девушку, — она из восточной страны и, быть может, спасет мою жизнь...

Но она была уж здесь и, посмотрев на ранку, тотчас же приказала уложить меня на носилки и поспешно нести в неизвестный мне город, стены которого виднелись на вершине высокой и бесплодной горы.

Я вполне ясно видел каменистые скаты, по которым подымалась моя молчаливая стража; слышал звон оружия при ударах о камни; заметил обломок скалы, висящий, как естественный мост, над глубочайшей бездной, где с криками роились неисчислимые стаи птиц, но это было последним, что я увидел, и сознание жизни отошло от меня...

Когда же чувства возвратились ко мне, и глаза мои открылись в одно время с тем, как проснулась моя мысль, — я опять был в каком-то неизвестном мне храме и видел перед собой в высоте его свод, украшенный скульптурными изображениями чудовищных змей.

— Хвала Иисусу! — услышал я радостный голос Айрани, когда хотел приподняться, но, обессиленный, снова опустился на свое низкое ложе. — Ты ожил, брат мой, и теперь скоро будешь совершенно здоров... Не спрашивай, молчи, — я сама скажу тебе все. Ты в своем храме, храме Тецката, и тебя охраняет твоя прежняя стража, а через три дня и обитатели города стекутся сюда, чтобы услышать твои слова о Распятом. Теперь же молчи, успокойся и спи...

И я, повинувшись ее тихим словам, погрузился в глубокий сон без видений, а когда снова проснулся, то ясно ощутил,

что силы мои начинают ко мне возвращаться и кровь быстрее проходит по жилам. Через день я чувствовал себя совершенно здоровым, и только слабость не позволяла мне подняться с легкой переносной постели, на которой я все это время лежал...

Тогда и случилось событие, благодаря которому я узнал всю высоту и благородство души прекрасной и кроткой Айрани.

Я лежал и рассказывал ей о последних мучениях Господа, когда какой-то необычный шум раздался у подножия лестницы, ведущей к преддверию храма, и заставил девушку на несколько мгновений покинуть меня.

Скоро она возвратилась и, ни слова не говоря мне, схватила за невысокую спинку постели, напрягла все свои силы, что я ясно видел по лицу, склонившемуся теперь надо мной, и быстро потащила ее по мозаичному полу в широко раскрытые двери. Яркий солнечный свет ослепил меня на минуту, но как только глаза освоились с ним, то я сразу заметил причину показавшегося мне странными поступка.

У подножия лестницы, упиравшейся в массивные ворота внешних стен храма, которые теперь были заперты изнутри, образовался какой-то темный провал, и из глубины его выходили вооруженные люди, сверкая синеватым стеклом своих копий и тяжелых мечей. Впереди всех виднелся Гаридалонк, и пылающий ненавистью взгляд его был устремлен на меня.

С внешней стороны на ворота сыпался град тяжелых ударов, — это моя верная стража рвалась на помощь ко мне, но усилия ее были напрасны, а гибель моя неизбежна. Жрецы, вероятно, узнали о том, что случилось со мной, и, воспользовавшись ослеплением несчастного Гаридалонка, открыли ему тайный ход через подземелья храма, и он проник чрез него со своими друзьями, чтобы умертвить ненавистного ему бога Тецката...

Мгновение — и людская лавина быстро понеслась по мраморным ступеням наверх.

Я сделал попытку приподняться, чтобы умереть, как мужчина, но тут раздался громкий и решительный голос Айрани.

— Стойте! — воскликнула она, и я, взглянув на нее, не узнал в этой гордой и царственной женщине прежнего полуробенка. — Остановись, Гаридалонк! Безумец, ты, любя меня, хочешь умертвить человека, который открыл мне путь к бессмертию неба, но знай, что еще один шаг — и этот нож пронзит мое сердце раньше, чем ваши мечи коснутся груди чужеземца...

Она стояла, прекрасная, как изваяние Изида в александрийском храме, перед которым я некогда воссылал моление за народ страны Кеми, а внизу глухо роптала толпа дикарей, колеблясь и не решаясь... Была минута, когда, казалось, Гаридалонк хотел ринуться на меня, но она подняла свой нож, и тогда меч его со звоном упал на каменные плиты, а он, воздев руки вверх, в бессильной ярости стал проклинать меня...

Товарищи его, опустив ненужные им копья, призывали проклятие на голову Айрани, а та стояла гордая, прекрасная, безмолвная, как божество...

Огромные ворота уже начали дрожать под непрерывными ударами извне. Серебряные плиты, оковывавшие их, с зловещим скрипом отделялись от досок, и вот в образовавшийся просвет просунулось копьё...

Каждое мгновение могло стать роковым. Гаридалонк заскрежетал зубами и бросился назад, и темное отверстие прохода тотчас же поглотило всех.

Я снова был спасен, но уж в последний раз.

Свиток восьмой

Я возвратился в Теноктитлан на исходе двенадцатого месяца воплощение во мне бога Тецката, и близилось время, когда я должен был избрать себе четырех жен из девушек страны Анахуака. Но я слишком во многом отступил

от священных обычаев этой страны, чтобы бояться неисполнением чего-либо навлечь на себя еще большую ярость жрецов, и потому я решил, что откажусь от выбора жен и не приму тех, которых выберут сами жрецы.

Тридцать недолгих дней, которые должны были протечь до моего переселения в иной и лучший мир, я думал провести за подготовлением себя к отходу туда, откуда нет возврата, но небом суждено было, чтобы намерения мои рассеялись, как дым, и неожиданная радость скрасила закат моей печальной жизни.

В один из дней, тоскливый и бесцветный, когда я сумрачный сидел в своем уединении, вошла ко мне прекрасная Айрани и, беззвучно опустившись у моих ног, задумчиво произнесла:

— Послушай, брат, — ты говоришь, что безбоязненно готовишься вернуться к Богу, ради Которого ты прибыл к нам, и должен вскоре умереть, и верь, что я со сладкой надеждой на нашу встречу в лучшем мире, который открыт тобой для меня, буду приветствовать свой час, но ты подумал ли о том, что станет с проповедью Вечной Истины, если погибнешь ты, не оставив после себя учеников?

— Нет, милая Айрани, — ответил я. — Я думал, много думал, но где же люди, которые решатся взять на себя крест мой? Жрецы, залившие кровавыми потоками всю эту несчастную страну, внушают к себе такой священный трепет, что после моей смерти никто здесь не осмелится даже произнести имени Христа.

— Ты прав, брат мой, но я об этом тоже думала и, кажется, нашла исход. Известно ли тебе, что женщины страны Анахуака, мужья которых умерли, уже не могут выйти замуж, ибо таков священный наш закон. Ты — воплощение Тецката, но все-таки не божество, и та же участь ждет жен твоих, но те четыре женщины, которых ты назовешь перед людьми своими, уж навсегда останутся недостижимы для всякой земной власти и против них бессилён император, бессильны и всемогущие жрецы Теноктитлана...

— Я этого не знал, но где, кроме тебя, такие женщины, Айрани?

— Они здесь есть... Из города Холмов, где на тебя напал Гаридалонк, пришло за нами две, еще одна живет в Теноктитлане, четвертой буду я. Ты выберешь всех нас на своем свадебном пиру, и верь, брат мой, мы запомним и свято сохраним твои слова, а когда ты покинешь мир и отойдешь к Небесному Отцу, то мы всю жизнь их будем повторять в стране Анахуака, пока святое знамение креста здесь не узнают все, от моря и до моря...

Не отвечая ничего, я преклонился ниц перед Айрани и край ее одежды поднес к своим устам.

Надежда опять ожила в моей душе, и я мог снова верить, что труд мой не напрасен и не исчезнет без следа с лица земли...

И когда в день, установленный законом, начальник стражи, войдя ко мне, сказал, что император и жрецы ждут воплощенного Тецката на брачный пир, то я, спокойный и счастливый, последовал за ним и прибыл во дворец, весь залитый огнями и, точно облаком, окутанный благоуханием курений.

Император спустился со своего златокованного трона, и его место занял я, а знатнейшие мужи Теноктитлана, собравшиеся здесь, все распростерлись на земле и поднялись только тогда, как я сказал слова обычного приветствия. Затем, при звуках тихой музыки, из глубины дворца, как бесконечная гирлянда роз, потянулась сплошная вереница прекраснейших из девушек страны Анахуака.

Шелестя своими одеяниями, проходили они передо мной, а я внимательно следил за всеми, чтобы по признакам, условленным с Айрани, узнать в толпе тех трех, которые неизвестно мне стали помощницами в деле проповеди учения Христова. И, узнав, я указал на них и, точно по волшебству, тогда исчезли все, а эти четыре девушки остались и, опустив глаза, стояли перед подножием трона.

Верховный жрец в багровоцветных одеяниях, испещренных таинственными знаками, поднял над головой священный жезл и громко произнес:

— О, девушки страны Анахуака, и ты, Тецкат, бог из богов, внемлите гласу моему! Не на долгий срок вы избраны

властителем, чтобы усладить ему последние дни пребывания на земле, но от лица страны молю я вас, любите божество и пребывайте верны ему, дабы он неизменно благосклонен был к народу своему, когда покинет нас и возвратится в области негаснущего солнца. А ты, Тецкат, прими этих прекраснейших из дев, и как полюбишь их, так полюби народ Анахуака, и, благословив их с высот небесного жилища своего, благослови всех женщин наших и все потомство их... Именем всех милостивых богов и богов злобных, венчаю я вас, женщины, Тецкату, творцу вселенной, богу всех благ земных. В жены берет вас бог, который вас сам создал, чтобы символ единения между ним и вами был совершен... Да будет так и да свершится!..

Жрец замолчал, и тогда необозримая толпа знатнейших жителей Теноктитлана, поднявшись с мест и обратив взоры на меня, как один человек, издала вопль:

— Хвала тебе, Тецкат, и слава! Блажен ты здесь, блажен и в странах солнца... И, возвратившись в свою небесную обитель, ты не забудь детей земли, которые тебя любили и отдали все лучшее у них... Хвала тебе и слава, первейший из богов — Тецкат!

И не успели стихнуть громовые раскаты этих слов, как полились ласкающие звуки флейт; зарокотали струны нежных арф, и брачный пир мой начался...

Айрани и три другие девушки сидели рядом со мной, а я глядел на них и думал, поможет ли им Господь свершить тот великий и многотрудный подвиг, на который я отважился так дерзновенно и так бесславно кончил, не дойдя до заветной цели... Сомнение закрадывалось в душу, но ясный взгляд их спокойных глаз опять низводил в нее уверенность и мир.

А вокруг нас раздавались клики веселых собеседников, звуки пиршественных гимнов, и легкие одежды танцовщиц мелькали в душистой дымке фимиама...

Все эти люди веселились, точно они не понимали, что этот пир — мой смертный приговор и что часы моей недолгой жизни уже сосчитаны жрецами, и только он, заклятый враг мой и гонитель, верховный жрец, один он только

не забыл, какое страшное значение таит в себе веселый пир... Его глаза, холодные, как снег с вершины Попо, блестящие, как синеватое стекло его ножа, не отрываясь, глядели на меня, и я уже чувствовал себя привязанным к покрытому цветами камню алтаря.

И в этот миг мысль, внезапная, как блеск зарницы, мелькнула у меня... Я вспомнил вдруг, с какой самонадеянной верой я счел себя достойным стать апостолом Его, впервые лишь узревши лик Страдальца, когда Он уже был пригвожден к голгофскому кресту, и тут понял я, что по недостатку смирения во мне, Христос, любовно взирающий на всех людей, ради спасения души моей, не дал свершиться подвигу, который предпринял я для славы имени Его...

Но если жизнь моя, прошедшая в делах греховных, не могла искупить вины моей, то смертию своей я, может быть, очищу неумирающую душу, и дело, которое я передал Айрани, как жертва, угодная Творцу, расширится и даст плоды в стране Анахуака. Смерть под ножом верховного жреца, почти мгновенная, мне показалась слишком легкой и, обратившись со смиренной молитвою к Нему, чтобы Он, видящий все помыслы людей, принял мой покаянный дар, я поднялся на своем троне и, обратясь к верховному жрецу, сказал:

— Я, как несчастный раб, молю и, как воплотившийся Тецкат, в последний день владычества над вами требую, чтобы в час возвращения моего к Небесному Отцу всех сущих, не клалось мое тело на камень жертв и не одним ударом была угашена в нем искра жизни...

Невыразимое смятение овладело жрецами при моих словах, и только один из них ответил глухо:

— Ты хочешь невозможного, Тецкат...

Но я дал знак молчать и продолжал:

— Прошу и требую, воздвигните в верховном храме крест и, когда приблизится мой час, распните меня на том кресте, пригвоздив к нему священными ножами, — и больше будут мучения мои, и дольше будет струиться кровь из тела, а сердце из него вы можете забрать с последним тре-

петом, с последним вздохом, который вылетит из умирающей груди...

И прежде, чем я умолк, верховный жрец воскликнул, точно боясь, что кто-нибудь опередит его:

— Да будет!.. Священна воля великого Тецката, и никто не дерзнет противиться ему...

Я сел, и злобной радостью горящий взгляд моего недавнего врага уж не смутил моей души, хоть я и понимал, что он мне говорил своим безмолвным языком.

Свиток девятый

(Заполненный до половины)

Тускнеет огонь моего светильника, не так уже непроницаема ночная мгла, рассвет незримо близится... Последний мой рассвет. Едва только покажутся лучи проснувшегося солнца и, пронизав утренний туман, позолотят вершину Попо и, отражаясь, упадут на кровли храмов и дворцов, как стража, охранявшая меня когда-то и стерегущая теперь, войдет ко мне и поведет в последний земной путь.

Тридцать последних дней прошли и скрылись в вечности, и час настал.

Все это время я провел безвыходно в моем дворце, где долгими беседами о Нем с красавицей Айрани и тремя другими девушками страны Анахуака им преподавал те истины, который они должны будут хранить в своей душе, когда мой дух отлетит от распятого тела. Они с благоговением воспринимали глаголы великого Страдальца, и верю я, что образ Господа во всю жизнь не потускнеет в их душе и подкрепит их слабеющие силы в борьбе, которая их ждет.

И в знак воспоминания о том, чему я научал народ Анахуака в последний год моей кончающейся жизни, просил я кроткую Айрани и трех других ее сестер воздвигнуть в этом мрачном и величественном храме священное изваяние креста, и пусть оно для них, а после — для четырех из тех,



«Разсвѣтъ незримо близится... Послѣдній мой разсвѣтъ»...

которые пойдут вослед за ними, является прибежищем и непрерывным зовом в обители небес. И пусть хранят они свою святыню, оберегая ее от злобы мстительных жрецов, дабы ненарушимым оставался символ Господа Христа, и не забыли бы о нем живущие в стране Анахуака.

А у подножия креста пускай лежат мои пергаментные свитки, пока не сбудется то, что суждено Творцом земли и неба...

Айрани говорила мне, что некогда, в неведомые годы, людей не убивали на жертвенных камнях Теноктитлана, и божества довольствовались жертвами из благоухающих цветов, но во главе жрецов стал человек с непоколебимой волей, решивший умалить власть императора и присвоить ее себе, и вот тогда впервые пролилась кровь его противников на храмовые плиты.

Память об этом сохранилась в священных преданиях жрецов, но от народа завеса тайны скрывает их и, может быть, когда сокрытое станет известно всем обитателям страны Анахуака, то жертвоприношения из человеческих сердец, затихшие в год воплощения во мне Тецката, исчезнут вновь и навсегда...

Но кто откроет скрытое в подземных хранилищах безмолвных храмов, кто принесет огонь познания, как некогда несчастный Прометей?.. Неужто же Айрани, моя любимая и кроткая сестра, своими слабыми руками низвергнет иго, гнетущее страну... Моя душа хотела б верить, что это будет так, что жертва бескровная будет приноситься Создателю всего на алтарях Теноктитлана, но непокорный дух сомнения вселяется в меня...

Но что бы ни судил Господь, а я, Зенон александриец, смиренно записал на свитках тусклого пергамента все то, что совершалось вокруг меня с тех пор, как у подножия Голгофы душа моя прозрела и я, лукавый раб, дерзнул по мере сил своих служить Тому, Кто сотворил народы всей земли и смертью искупил их вольные и невольные грехи...

А вы, потомки теперешних моих сограждан священной страны Кеми, — я верую, что некогда и вы, уж просветлен-

ные учением Христа, сойдете на берега Анахуака — и если один из вас найдет нетлеющий пергамент, то разберите на нем известные вам письма, и вы тогда узнаете, что в годы старины здесь был Зенон, узнаете, что сделала для Господа красавица Айрани и почему в Теноктитлане известно знамение креста и существуют храмы во имя Спасителя людей...

А если нет, если погибнет, дело, которому четыре девушки Анахуака отдают теперь свою молодую жизнь, то пусть бесследно исчезнет написанное мною, пусть никогда не увидят его глаза людей, как не увидят свитков с священными преданиями о том, что некогда во всей стране, лежащей на запад от зеленых островов, только цветы возлагались на алтари богов и кровь невинных не обагряла их...

Какой-то звук доносится из глубины безмолвных зал...

Гремит оружие, слышны шаги...

Идут...

Сергей Тухолка

АТЛАНТИДА

И астрономы и геологи признают, что жизнь земли надо считать миллионами лет.

Антропологи, на основании ископаемых остатков человека, также заключают о глубокой древности происхождения человечества. Поэтому интересно ознакомиться также с данными оккультизма относительно доисторического человечества.

Оккультизм опирается в этом случае на предания и традиции преимущественно восточных народов (китайцев, индусов, египтян), а также на видения в астрале.

Как я уже объяснял в книге «Оккультизм и магия», земля окружена астралем, который представляет гиперфизическую и более тонкую, чем эфир, материю, и в котором отпечатывается не только всякое материальное явление или действие, но даже всякая мысль человека. Эти астральные клише сохраняются в вечности, и человек, обладающий астральным зрением, может при известной тренировке и условиях по своей воле вызывать их перед собою.

Отрицать действительность этих видений потому, что они нам недоступны, так же странно, как не верить дальнорукому человеку только потому, что я сам по близорукости не вижу ясно различаемых им предметов.

Но понятно, необходимая гарантия в верности этих видений бывает лишь тогда, когда несколько ясновидящих, не будучи в сношении между собой, имеют одни и те же видения.

В древности маги часто пользовались этим ясновидением для проникновения в тайны природы или истории.

Современная нам теософическая ложа в Лондоне — **London Lodge** — в своих оккультных исследованиях также прибегала к астральным видениям и на основании этих исследований **Scott-Elliot** издал весьма любопытное сочинение относительно истории исчезнувшего материка Атлантиды. (Во французском переводе: «*L'histoire de l'Atlantide*». Paris. 1901).

Этим сочинением я и буду главным образом пользоваться в настоящем исследовании, имеющем целью указать данные оккультизма касательно доисторических времен чело-

вещества.

Относительно времени жизни мира индусы употребляют числа, поражающие наше воображение своей громадностью. Их цикл представляет следующие цифры:

Магакальпа, или век Браммы = 311,040,000,000,000 годам, год Браммы = 3,110,400,000,000 годам; день или сутки Браммы, т. е. $1/3653 \frac{1}{4}$ года = 8,515,811,000 годам; час Браммы, е. у. $1/24$ дня = 354,920,000 годам; минута Браммы., т. е. $1/60$ часа = 5,915,000 годам.

Любопытно, что, если мы сложим все эти числа, то получим число 314,159,276, которое соответствует, не считая последних десятичных знаков, геометрической величине π = 3,141,592,65359, представляющей отношение окружности к диа метру.

Но обыкновенно в году Браммы считают не $364 \frac{1}{4}$ дней, а только 360 дней, тогда сутки Браммы = 8,640,000,000 годам, а день (12 часов) Браммы = 4,320,000,000 годам: $1/10000$ этого числа дает нам китайский цикл, который принимает за единицу 432,000 наших годов.

А $1/12$ китайского цикла дает единицу египетского цикла, или 36,000 лет.

Согласно оккультизму, подобно тому, как в человеке имеется семь начал (тело, жизненная сила, астральное тело, животная душа, ум, чувство и чистый дух, по-индийски: рупа, жива, линга-шарира, кама-рупа, манас, будди и атма), так на каждой планете всего должно быть семь главных рас, имеющих своей задачей постепенно развивать вышеупомянутые начала человека. Каждая раса заключает в себе семь подрас, также представляющих, по преимуществу, одно из сказанных начал. Третья раса на земле была лемурийская, а четвертая атлантская; ныне мы представляем пятую или арийскую расу.

Лемурийцы обитали, главным образом, на материке Лемурия, который затем был затоплен, и на его месте теперь расстилается Великий океан. Однако от Лемурии остался небольшой кусок, а именно Австралия, представляющая столь отличную от Европы флору и фауну.

Атланты жили, главным образом, на Атлантиде — материке, который был на месте теперешнего Атлантического океана. Вообще в то время география земли мало напоминала наши теперешние карты.

Миллион лет тому назад, когда атланты были в апогее своего развития, Атлантида занимала Атлантический океан между Европой и Америкой, середину Америки, а также часть Британских островов и пространство между ними и Исландией.

Севернее 80-х градусов широты еще были остатки Гиперборейского континента, на котором ранее обитала вторая человеческая раса.

Остатки Лемурии тянулись также к северу, востоку и отчасти западу от Австралии. Зато вся северная половина Азии, почти вся Европа и юго-западная часть Африки были еще под водой

С того времени земля испытала четыре великие катастрофы (за 600.000, за 260.000, за 80.000 лет и за 9.501 года до нашей эры), вследствие которых одни части земли затоплялись, а другие, наоборот, обнажались от вод и которые и привели, наконец, землю к ее настоящему виду.

После первой катастрофы Атлантида представляла собой уже не сплошной материк, соединяющий Америку с Англией между 60-м градусом северной и 20-м градусом южной широты, а лишь громадный остров между Европой и Америкой и между 50-м градусом северной широты и экватором.

После второй катастрофы большой остров Атлантиды не только уменьшился, но еще разделился на два острова: Руга и Дайтия.

После третьей катастрофы на их месте остался лишь небольшой сравнительно (но все-таки больший половины Австралии) остров Посейдон. Об исчезновении этого острова под водой за 95 веков до нашей эры упоминает манускрипт Троано в Британском музее, найденный у народа Майи в Юкатане (Америка). Согласно этому манускрипту, после сильных сотрясений земли остров погрузился под воду, унося с собой до 64 миллионов жителей.

Скотт-Эллиот дает в указанном мной сочинении даже четыре карты земного шара, соответствующие периодам между этими катастрофами, причем на картах отмечены также распределение и переселение тогдашних подрас.

Атлантская раса разделялась на семь подрас:

Рмоахали, Тлаватли, Толтеки, Туранцы, Семиты, Аккадийцы и Монголы. Наиболее замечательными из атлантских народов были Толтеки, которые достигли апогея своего развития около миллиона лет тому назад. Они были красного цвета, и мы видим их потомков среди краснокожих в Америке.

Египет был их колонией, ибо и так в древности большинство населения, как это видно из рассматривания древнейших египетских рисунков, было также красного цвета. Когда Атланты основались в Египте, то Нил тек не в Средиземное море, а в Сахару, бывшую тогда цветущей страной, но впоследствии Атланты отвели русло Нила в сторону и вывели его в теперешнюю дельту. Свидетельства этому можно найти при исследовании пирамид, о чем имеется весьма интересная статья: «*Les secrets des pyramides de Memphis*» par L. Mayou, Paris, 1894. (По мнению Майо, это было <за> 2300 лет до Р. Хр.). Любопытно, что в алфавите Юкатанских Майев в Америке тринадцать букв схожи с египетскими иероглифами, обозначающими те же буквы, и что в их стране были найдены пирамиды, схожие с египетскими. Это, между прочим, служит лишним доказательством того, что в древности между Египтом и Америкой было сообщение, для чего необходимо допустить существование материка между Европой и Америкой. Баски в Европе также считаются потомками Атлантов.

Столицей Толтеков был так называемый златовратный город на восточном берегу Атлантиды (38° Greenwich и 10° N). Во время своего расцвета город этот имел до двух миллионов жителей.

Он был построен на горе в 500 метров вышины. Самое любопытное — это водоснабжение города. На запад от города в горах было озеро на высоте 2,600 футов. От него водопровод с разрезом овальной формы (50 x 30 футов) вел

возу в резервуар у подножия горы, на которой был построен город. Из резервуара вода поднималась по перпендикулярному водопроводу на 500 футов вышины на вершину горы, где был построен дворец; сначала вода проходила вокруг дворцовых построек, а затем спускалась вниз по горе, опоясывала ее еще три раза глубоким каналом и разделяла таким образом город на три пояса. Последний канал окружал весь город и выносил свои воды в море.

Из описания этого сооружения надо заключить, что в то время Толтеки обладали большими научными и техническими знаниями.

Дома Толтеков состояли из четырех строений по углам, а посередине находился двор, обыкновенно с фонтаном. Характерным признаком их домов было то, что одно из угловых строений всегда представляло собою башенку, часто служившую обсерваторией.

Толтеки и другие Атланты умели также строить воздушные корабли. Сначала они делались на одного или двух человек, но потом, с развитием воздушных войн, стали делаться на 50 и даже на 100 человек. Корабли эти приводились в движение и управлялись неизвестной нашей науке силой. Сила эта вырабатывалась в большом металлическом ящике посередине корабля, и отсюда она могла выходить или в большую трубу, идущую вдоль всего корабля, или в трубы, идущие вниз и вверх от корабля, которых было по четыре. Для поднятия корабля вверх, он выпускал сказанную силу из труб, идущих вниз, и сила эта, ударяясь о землю и о воздух, отталкивала корабль вверх; движение вперед достигалось выпуском силы из трубы, идущей назад, причем перемена направления ее позволяла поворачивать корабль вправо и влево. Останавливался корабль, выпуская силу из передней трубы. Трубы, идущие вверх, служили на тот случай, если в воздушной борьбе с другим кораблем данный корабль перевертывался; тогда верхние трубы обращались к земле и служили, как нижние, для поддержания корабля в воздухе. Корабль этот делал до ста миль в час, но не мог подниматься выше нескольких сотен футов, так

что при встрече с высокими горами должен был огибать ихю

Атланты знали также выделку взрывчатых снарядов, выпускавших ядовитые газы, и пользовались этим средством в своих войнах.

Они умели также выделять золото, серебро и еще металл, похожий на золото и называвшийся «орихальк». Но секрет выделки был известен немногим ученым и сама выделка дорого стоила.

Затем, Атланты умели развивать в себе психическую силу, родственную магнетизму и весьма могущественную.

В романе «*The Coming Race*» Бульвер Литтон подробно описывает действие этой силы, называемой им «вриль». Оккультные знания были очень развиты у атлантов и у них были специальные школы посвящения в тайны и силы природы.

Сначала эти знания и употребление силы «вриль» сохранялись лишь среди достойных этого адептов, но со временем они распространились в народе и многие стали злоупотреблять ими и прибегать к черной магии и общению с элементами.

Нравы к тому времени также сильно испортились. Например, у богатых людей возник обычай помещать в своих домах свои собственные статуи и держать жрецов для совершения перед этими статуями как бы богослужений.

Вообще, так как в основе атлантской расы лежало человеческое начало «кама рупа» — животная душа, то животные страсти достигли у них со временем крайней степени.

Испорченность нравов и злоупотребления психическими силами (черная магия) и вызвали ряд потоков, которые почти совершенно уничтожили атлантскую расу.

Любопытно, что Моисей в книге Бытия просто указывает, что перед потоком сыны Божии прельстились человеческими дочерьми, и что нравы испортились; а книга Еноха добавляет к этому еще, что ангелы, сойдясь с женщинами, научили их и своих детей тайнам магии, и злоупотребление последней и вызвало потоп.

Николай Толстой

**ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
ИЗ АТЛАНТИДЫ**

В Британском музее мне случайно попалась рукопись на греческом языке, сильно меня заинтересовавшая. Она была неполная, с большими пропусками, и представляла собой клочки папируса с едва заметными буквами. Слово «Атлантис» сразу приковало к себе мое внимание, и я обратился к библиотекарю с просьбой разрешить мне с нею заняться.

— Рукопись эта, — сказал мне заведующий музеем, — уже прочтена, скопирована и издана, и вы можете ознакомиться с ее содержанием с большим удобством из этой книги. Но должен вам сказать, что, несмотря на ее древность, это только копия еще более древнего манускрипта, находящегося в Египетском музее в Булаке, в Каире. Тот папирус гораздо полнее и, если не ошибаюсь, целиком еще не был никем прочитан, так как написан на никому не известном языке вместе с весьма неполным греческим переводом, копию которого вы видите в нашем музее. Манускрипт этот составляет собственность египетского правительства, которое ни за какие деньги не соглашается уступить его нам. Если бы нашелся человек, который сумел бы прочитать те отрывки, на которых нет греческого текста, то, я уверен, он узнал бы много нового и обогатил бы науку богатыми сведениями.

Взяв рекомендацию, любезно мне предложенную, к директору музея в Булаке, я из туманного Альбиона перенесся в знойный Египет и после долгих мытарств, прекращенных всесильным бакшишем, получил на целых три дня драгоценную рукопись в свои руки.

Ознакомившись основательно с греческим текстом еще из брошюры, изданной Британским музеем, я заранее подготовился к дешифрированию неизвестного алфавита путем сличения его с греческим. Действительность превзошла мои ожидания: буквы оказались греческой скорописью, ничего общего не имеющею ни с одним алфавитом мира и потому оставшейся не разобранной, так как ученые искали в них какой-то неведомый язык, а он оказывался греческим. Греческий же текст был не переводом, а попыткой, неизвестно почему незаконченной, передать стенограмму

печатными письменами. Это, должно быть, образчик самой древней в мире стенографии, к которой писавший прибегнул по необходимости, так как записывал весь этот рассказ со слов умиравшего человека, как это я прочел в самом начале рукописи, которую в переводе и привожу целиком.

«Завещание Гермеса, сына Геракла, последнего из потомков богов, населявших райскую страну на крайнем западе среди безбрежного океана, поглотившего ее пятьдесят лет тому назад, продиктованное греческому писцу Пасикрату для передачи государственным мужам, летописцам и учителям для назидания потомства. Я, Пасикрат, точно и верно передаю то, что слышу, исполняя, по данной мною клятве, последнюю волю умирающего.

Я не желаю уносить в могилу тайну, которой владею один на свете. Среди далекого океана под вечно голубым небом лежал остров, в несколько раз превосходивший Элладу, покрытый роскошной растительностью и обладавший неизменно теплым климатом. На этом острове не было ни диких зверей, ни вредных насекомых. По деревьям порхали разноцветные бабочки и райские птички с блестящим оперением, а по злачным лугам паслись стада густорунных овец. Деревья приносили круглый год обильные плоды, а ручейки и ключи доставляли нам холодную и горячую воду.

С незапамятных времен наш остров, который по размерам следовало бы звать материком, был отделен водным пространством от всего остального мира. Но раньше он общался, как утверждали наши ученые, и с вашим материком, именно с Африкой посредством узкого перешейка, и с другими, еще более отдаленными на запад странами, откуда пришли и наши предки, дети Солнца, и о которых вы, дети земли, не можете иметь никакого понятия. Между тем, наши великие учителя утверждают, что и в эту страну заходящего солнца наши предки пришли издалека, из полночной страны, где полгода продолжается день и столько же времени ночь. Там, на вершине мира, где небо сходится с землей, а земля стремится к небу, — наше первоначаль-

ное отечество.

Мне говорили старики, что наше происхождение божественно; что мы дети неба и солнца, только временно носящие земную оболочку, и что цель нашей земной жизни — служить примером добродетелей и научить мудрости земных людей и сделать их похожими на себя. Ты спрашиваешь, чем мы отличались тогда от детей земли? Ты не видишь разницы между собой и мной. Но в то время разница была еще более очевидная. Мы, дети неба, рождались, но не умирали, не знали ни болезни, ни смерти, ни голода, ни страданий. Тело наше сияло красотой и было бело, как снег. Ум наш обладал способностью понимать всякое явление природы и памятью, которая никогда нам не изменяла. Отличительной особенностью нашего тела и духа было то, что мы никогда не знали усталости, но, должно быть, все-таки нуждались в отдыхе, так как сон смыкал наши глаза, когда дневное светило заходило за горизонт, и душа наша блуждала в царстве снов в продолжение всей полугодовой ночи. Они — дети земли, с которыми мы встретились, покинув наше отечество, были темнокожие, обросшие шерстью люди с животными инстинктами, с физическими и душевными недостатками, страдавшие и от голода, и от перемены температуры и не знавшие употребления огня.

Мы научили их шить одежды, но не давали им в руки огня, боясь, что от неосторожного обращения с ним они сгорят сами и сожгут выжженную солнцем траву на равнинах. Но один из них похитил у нас эту тайну, научился высекать огонь и сжег всю страну с ее обитателями. Спаслись немногие. За нашу неосмотрительность Зевс прогневался на нас и принудил нас к той же участи, как и детей земли. Некоторые из нас вступили в брак с детьми земли и положили начало новому племени, которое перекочевало из страны заходящего солнца в Атлантиду, а оттуда в Африку и Азию. Зевс разгневался на нас еще больше и, чтобы не допустить нашего дальнейшего соприкосновения с детьми земли, заключил нас в Атлантиде и уничтожил сухопутную дорогу, связывавшую нас с остальным миром, затопив перешейки и окружив нас беспредельным морем.

То, что я говорил до сих пор, относится к легендам, передаваемым нам стариками. С водворения нашего в Атлантиде начинается историческая эпоха нашего существования, записанная нашими летописцами. Разобщение наше с миром было полное. Тем не менее, мы знали, что не мы одни существуем на этом свете и что есть на нем мыслящие и разумные существа, имеющие с нами общих предков.

Три с половиною тысячи лет мирно жили мы на нашем острове. Племя наше начало хиреть, и мы, несмотря на благословенный климат, стали все более и более ощущать в себе человеческие немощи. Смерть и болезни косили то одного, то другого.

Несмотря на это, племя наше размножилось до того, что готовых плодов не стало хватать на пропитание жителей, и мы стали разводить овощи на огородах и засеивать злаками поля. Но скоро нам и этого не стало хватать, и у нас начались междоусобия. Партия недовольных свергла нашего патриарха, то есть старейшину нашего племени, и учредила олигархию, состоявшую из двадцати человек. Каждый из них руководил какой-нибудь отраслью общественного дела. Один заведовал продовольствием населения, другой — общественным здоровьем, третий — науками, четвертый — воспитанием юношества, пятый — строениями, шестой — общественными работами, седьмой — астрологией и т. д.

Вся страна точно преобразилась. Работа закипела. В науке были сделаны замечательные открытия. У нас появились не только все необходимые для жизни вещи, но даже и предметы роскоши вроде зеркал, люстр, статуй и других произведений искусства. Наши дома походили на ваши храмы, окруженные колоннами и украшенные кариатидами. Дворцы наших олигархов состояли из нескольких ярусов мраморных балюстрад, над которыми свешивались гирлянды цветов, ежедневно заменяемых свежими. На крышах разводились сады, среди которых мы находили прохладу даже в полуденное время.

Денег у нас не было, не было и рабства, а между тем работы производились охотно и никто не терпел недостатка.

Это достигалось тем, что каждый гражданин нашего государства, получив в детстве специальное образование с изучением известного ремесла, когда кончал свои личные дела и желал работать, заявлял об этом заведующему работами, и тот указывал ему, где требовались его услуги.

По окончании работы он получал свидетельство о том, сколько часов он потратил на работу и как ее исполнил. Когда ему в свою очередь надобились услуги другого специалиста, он заявлял об этом тому же заведующему и представлял свое свидетельство, как право на работу другого, за услуги которого платил таким же свидетельством.

Затем были общественные обязательные работы, за которые все граждане получали свою долю хлеба, сладкой пищи и нектара, если не выделяли их сами, и в таком случае делились с другими. Береговые жители стали заниматься рыболовством, а внутри страны стали разводить скот, который доставлял нам мед для изготовления нашего любимого напитка. Винограда у нас не было, и вина мы не знали. В наших горах мы находили различные минералы и металлы, из которых научились выделять всевозможные инструменты и машины.

Между городами и селениями были проложены снабженные каменными плитами дороги, по которым катились повозки, приводимые в движение воротом и колесами. Из одного помещения в другое были проложены слуховые трубы, по которым мы могли разговаривать на расстоянии, не видя друг друга. Из горячих и студёных колодцев была по гончарным трубам проведена вода в города и поселки, и каждый гражданин мог беспрепятственно ими пользоваться и даже проводить по трубам воду из общественного фонтана в свое помещение.

Когда заходило солнце, над нашими городами вспыхивали искусственные солнца, которых никто не возжигал и никто не гасил и в которых горел не обыкновенный огонь, а небесный. У нас были корабли, которые не боялись бурь, так как могли погружаться в воду, а затем всплывать снова; у нас были лодки, снабженные крыльями, на которых мы могли носиться по воздуху, по земле и по воде. Но у нас

было нечто большее. У нас были зеркала вогнутые и выпуклые, посредством которых мы узнавали, что делается не только вдали от нас на земле, но и на небе.

Прошло еще несколько тысячелетий, прежде чем мы достигли всего этого и находились уже на той степени развития, до которого вам, эллины, еще далеко, несмотря на то, что вы много от нас унаследовали. Наши мореплаватели переплывали океан и, окружив себя таинственностью, завязывали сношения с выдающимися людьми вашего континента и открывали им тайну за тайной. Быть может, если бы не случилось катастрофы, уничтожившей Атлантиду, мы бы успели приобщить вас ко всем знаниям, которыми владели сами. Но Зевс, очевидно, не допустил этого. Он помрачил наш разум, и мы, вместо того чтобы сделаться светочами человечества, совершенно исчезли из его истории. Как это вышло? Эту-то тайну и желаю я поведать перед смертью потомству.

Среди наших правителей был один, которому звание олигарха казалось малым. Он хотел стать монархом, а достигнув этого, возмечтал стать владыкою мира. В первый раз потомки Солнца собрались совершить кровопролитие и гнаться за славой и за чужими землями. Впрочем, не все согласились идти на это дело, которое до тех пор было уделом детей земли. Часть нашего населения, наиболее благоразумная, воспротивилась и отказалась принять участие в предполагаемом походе. Другая, соблазненная своим предводителем, настаивала выступить как можно скорее, дабы завоевать и поделить между собой вселенную. Так как владыка не мог рассчитывать на нашу личную военную силу, которой нам никогда не приходилось испытывать, то он изготовил молниеносные снаряды, извергающие огонь и удушливое пламя. Состав этот в большом количестве хранился в пещере одной горы, примыкающей к залежам материалов, заготовленных и добываемых поблизости.

Накануне дня, когда атланты, так стали звать нас в Европе, намеревались выступить в свой поход, один из миролюбцев решил воспрепятствовать этому ценою собственной жизни. Он, очевидно, не рассчитал силу взрыва, заду-

мав уничтожить смертоносный состав и поджечь его. Я был в то время на корабле. Раздался оглушительный раскат грома, и яркое пламя метнулось к небу. Гора распалась. Море хлынуло на город и затопило побережье. После этого раздался новый взрыв сильнее первого. Земля потряслась, и океан поглотил Атлантиду со всеми ее городами и обитателями.

Мой корабль нырнул в воду, и после тридцатидневного скитания по водам и под водой океана я приплыл к берегам Эллады и скончал свою старость среди вашего племени, которому завещаю написанные мною книги, переданные вашим архонтам. А вам и всем потомкам вашим завещаю мир и всеобщее довольство и счастье, которое вы можете получить только в объятиях знания и свободного мирного труда».

Владимир Обручев

СКАЗАНИЕ ОБ АТЛАНТИДЕ

Отрывок из повести

1. Странная находка

Я проводил лето в маленьком курорте на берегу Атлантического океана в Бретани. Собственно, это был не курорт, а небольшая рыбацкая деревушка, в которую летом приезжали люди больших городов, искавшие полного покоя и отдыха в непосредственном общении с природой. Этого не дает ни один курорт с его скоплением лечащейся или просто веселящейся публики, с его курзалом, музыкой, выставкой женских туалетов, а если он на берегу моря, — то пляжем, на котором людей больше, чем песчинок.

Дать отдых нервам, утомленным городской жизнью, можно только в таком месте, где нет ни курзала, ни музыки, ни городской толпы.

Такие действительно «курорты» можно найти в самых глухих уголках побережья Франции, известных немногим любителям природы. Наряду со скромным жильем и достаточной, хотя и однообразной пищей (молоко, яйца, рыба), в них есть и пляж, правда, небольшой, и море, и живописные скалы, чистый воздух и полнейший покой. Рыбаки уже приспособились к летним гостям: они отдают им в наем лучшую комнату своей избы [дома], переселяясь на лето в сарай или под какой-нибудь навес, если комната у них только одна.

Достаточно отойти на четверть версты от селения — и вы очутитесь в полном одиночестве на берегу моря, на песке или среди скал, или на просторе полей, простирающихся вглубь, и можете наслаждаться часами общением с природой и невозмутимым покоем.

Я проводил лето в одном из таких селений: оно состояло из десятка изб [домиков], половина которых была занята такими же любителями настоящего отдыха, как и я. Зная, почему каждый из нас выбрал это место, мы старались не мешать друг другу. У всех было свое излюбленное местечко на берегу моря, которое другие не занимали. Только во время обеда, а в особенности после заката солнца, мы

собирались на час-другой на краю селения поболтать, обменяться парижскими новостями перед отходом ко сну, причем и рыбаки, если не были заняты, принимали участие в разговорах и сообщали нам свои «морские» новости о лове рыбы, бурях и неудачах. Мы часто присутствовали при выгрузке лова из лодок и научились различать все сорта рыб, о которых раньше не имели понятия, зная их только как составную часть меню ресторанов.

Я часто уходил на несколько верст от селения, карабкаясь через скалистые мысы, у подножия которых шумел прибой; на песке маленькой бухты, образовавшейся между ними, отдыхал. Весь берег этой местности состоял из такого чередования живописных скалистых мысов, выдвигающихся в море, и мягких, более или менее широких бухт. В тихую погоду, лежа на какой-нибудь глыбе, можно часами смотреть в соседнюю прозрачно-зеленую глубину, следить за подводной жизнью, наблюдая, как в рощах зеленых и красных водорослей скользят рыбы, сверкая при резких поворотах серебристой чешуей, как ползут крабы, как открывают и закрывают свои створки различные ракушки; или же при сильном ветре следить за разбивающимися о скалы волнами, плетущими вечно меняющееся кружево пены, слушать их убаюкивающий шум. В бухтах, растянувшись на песке под отступившим обрывом скал, можно часами греться на солнце, скинув стеснительную одежду, следить то за облаками, плывущими по синему небу, то за набегаящими на пляж волнами. А во время отлива, когда море отступает на десятки сажен, какое наслаждение бродить босиком по твердому влажному песку, собирая оставленные морем богатые курьезы — ракушки, медузы, рыбы, ловить крабов и потом спешить к берегу перед наступающим прибоем, заливающим ноги.

В одну из таких дальних экскурсий я улегся на песке небольшой бухты, ограниченной двумя далеко выдающимися мысами. Глаза устали от блеска волн, слух — от шума прибоя. Я лег спиной к морю и погрузился в мечты полудремоты. В промежутке между мысами бухта была ограничена обрывом сажени в три высотой, над которым тянулся

редкий сосняк, потрепанный бурями. Попасть в бухту можно было только через скалы того или другого мыса, так как обрыв был почти отвесный, поэтому бухту посещали очень редко. Во время бурь волны подкатывались к самому подножию обрыва, поддерживая его отвесность. Все, что скопилось при постоянном разрушении в промежутке между бурями и могло бы со временем сгладить обрыв, уносилось волнами.

Лежа лицом к обрыву, я впервые обратил внимание на его состав: в нижней части выходили те же породы, которые слагали и скалы мысов, но вверху, на их неровной поверхности, налегала толща галечников в полторы-две сажени, продукт работы волн давно минувшего времени, когда уровень моря был выше, чем в настоящее время. Крупные и мелкие валуны и гальки образовали неправильные слои, чередуясь с гравием и песком; этот материал был связан друг с другом довольно крепко, почему и держался отвесно.

Следя машинально за отдельными слоями гальки и валунов в их прихотливом сочетании, я заметил в одном месте валун какой-то странной, совсем четырехугольной формы, словно море нисколько не поработало над ним, чтобы закруглить его острые углы и ребра. Он находился почти непосредственно над скалистой частью обрыва, в нижнем слое валунов.

«Нужно будет осмотреть его как-нибудь», — подумал я и снова погрузился в мечты.

Через несколько дней, собираясь в обычную прогулку вдоль берега, я вспомнил об этом странном валуне и захватил свой геологический молоток, который сначала постоянно носил с собой, но потом, изучив состав всех скал, оставлял уже дома за ненадобностью, предпочитая брать сачок для ловли крабов. Итак, вооружившись молотком, я дошел до бухты и взобрался по откосу, усыпанному валунами, к подножию обрыва.

Загадочный валун торчал над моей головой на высоте двух футов, и я с трудом достал его молотком. Первый же легкий удар поразил меня. Он прозвучал глухо, словно я ударил по дереву. Я стал рассматривать валун внимательно-

но теперь уже с близкого расстояния и удивился еще больше — он имел форму правильного прямоугольного параллелепипеда, длиной фута полтора и высотой до одного фута, матово-черную окраску, если не считать охристо-бурые потеки и пятна, местами скрывавшие его настоящий цвет.

«Вероятно, обломок балки какого-нибудь корабля», — решил я; и, так как это не представляло уже геологического интереса, сошел с обрыва и улегся в обычном месте на песке, предавшись своим ленивым мечтам.

Но затем мысль вернулась к этому деревянному валуну. Он был погребен под толщей гальки и валунов в две сажени, и это обстоятельство заставило меня задуматься. Такая толща могла накопиться в течение очень долгого времени и тогда, когда уровень моря был значительно выше, чем теперь. Следовательно, обломок попал на свое место очень давно, не столетия, а многие [?] тысячелетия прошли уже с тех пор. И если это часть корабля, то каких-нибудь древних викингов, норманнов, может быть, римлян времен до рождения Христа. И хотя я археологией не занимался, мне показалось интересным рассмотреть этот обломок поближе. Но как к нему добраться? Лестницы же или какого-нибудь материала для подмостков поблизости не было. Пришлось отложить осмотр до следующего дня.

Но на следующий день с утра разразился сильнейший шторм, и дорога по морскому берегу сделалась недоступной. Громадные волны с грохотом обрушивались на скалистые мысы и врывались в бухты одна за другой, словно зеленые чудовища с изогнутой шеей и белой гривой. Скалы дрожали под ударами этой бешеной атаки, брызги взлетали фонтанами выше гребня обрывов. Любуясь с высоты разнообразными картинами бешеного прибоя, я совсем забыл о своей вчерашней находке, а когда увидел, как высоко заливались волны в бухты, подумал, что мне ее больше не выдать — она, наверное, вымыта прибоем и унесена.

Только через два дня буря утихла, море успокоилось и только слегка волновалось под теплыми лучами солнца, словно укрощенное чьей-то властной рукой во время бешеного порыва. Я отправился обычным путем к дальней бух-

те, втайне надеясь, что обломок древнего корабля не унесен водой и, может быть, даже остался еще в своем убежище, в котором пролежал столько веков. Но надежда была так слаба, что я не захватил с собой небольшую лестницу, которую высмотрел на чердаке избы [домика] своего хозяина.

Спускаясь со скал к бухте, я уже издали заметил, что в том месте, где должен был находиться этот обломок, в обрыве сильно выдается какой-то темный предмет. Я ускорил шаги — и через несколько минут был уже у подножия обрыва. Какое счастье! Обломок не только остался на месте, но стал неожиданно легко доступным — он на три четверти или более был уже освобожден от окружающего галечника, размытого на всю высоту ударами волн. Он торчал, держась узким концом в обрыве, и было ясно, что еще одна такая буря — и он очутится в волнах.

Я потрогал его молотком и почувствовал, что он слегка поддается давлению. Несколько легких ударов справа и слева по выдавшейся части — и обломок вывалился, сопровождаемый кучей валунов и гальки, к подножию обрыва. Я вынужден был даже отскочить, чтобы мне не ушибло ногу градом камней. Я успел заметить, что эти камни, падая на обломок, издавали глухие звуки, словно били по пустотелому предмету. Это, конечно, увеличило мое любопытство, и я, едва дождавшись конца осыпания, бросился на добычу, словно коршун на зазевавшегося цыпленка. Отбросить камни, отгрести песок — было делом нескольких секунд. И вот передо мной лежит действительно что-то странное. Это, конечно, не обломок древнего корабля, а нечто несравненно более интересное. Сразу было видно, что это нечто зашито в грубую просмоленную ткань, нити которой ясно выступали благодаря светлой пыли, набившейся в ячейки.

«Неужели я нашел какой-то древний клад? — подумал я. — Как он сюда попал? Кто закопал его и когда?»

Осмотр обрыва над впадиной, которая осталась после того, как предмет вывалился, показал мне, что о закопанном кладе не могло быть и речи. Слои гальки и валунов проходили нормально, не видно было никакого нарушения

строения, которое обнаружилось бы неминуемо, если бы люди выкопали яму, чтобы опустить в нее этот предмет. Следовательно, единственное возможное объяснение его присутствия было то, что он был выброшен волнами еще в то время, когда отлагался слой гальки и валунов, среди которых он был похоронен. А это доказывало его громадную древность.

С жутким чувством неразгаданной тайны я поднял предмет. Он был довольно тяжел и имел длину в 20 дюймов, ширину — в 12 и высоту — в 10. Это, очевидно, был деревянный ящик, тщательно зашитый в просмоленную ткань. Кроме молотка, у меня не было с собой никакого инструмента, чтобы вскрыть находку, поэтому приходилось нести ее домой. Смахнув платком пыль и песок, я взвалил ее на плечо — в ней было фунтов 30-35 — и понес. Но по дороге мне пришла в голову следующая мысль: на пути к селению я мог встретить кого-нибудь из немногих [?] дачников, и вид моей ноши не мог не возбудить внимания и расспросов. В селе я, конечно, также не смог бы пройти в свою комнату незамеченным. Словом, моя находка должна была стать известной раньше времени, что мне было крайне нежелательно, так как я сам еще не знал, что за сокровища послала мне судьба. О находке могла узнать полиция и потребовать выдачи ее в пользу государства; владелец земли, оканчивавшейся обрывом у моря, где я нашел ее, мог потребовать свою долю. Словом, благоразумнее было пронести находку к себе незаметно. Я чувствовал себя уже почти вором, который должен скрыть краденое, — приятное положение! Между тем, какое право, в сущности, имели государство или владелец земли на мою находку? Если бы я не спас ее, она вернулась бы в море, в то море, которое принесло ее сюда целые столетия тому назад неизвестно откуда. Эта вещь появилась здесь после кораблекрушения, а такими вещами всегда пользуются жители берега, на который волны выбрасывают свою добычу. Я, временный житель этого берега, сделал находку, и я — ее законный владелец.

Этими рассуждениями я мотивировал необходимость пронести свою находку домой незаметно и не говорить о ней ничего преждевременно. Но это можно было сделать только ночью или на рассвете. А до того времени нужно было спрятать клад. Но где? Оставить здесь, засыпав песком? А если к вечеру опять разыграется буря и унесет его? Я ломал себе голову, где надежнее укрыть свое сокровище до ночи. Наконец вспомнил, что на соседнем скалистом мысе я видел маленькую пещерку, находящуюся выше самого сильного прибоя, в которой я как-то прятался от налетевшего ливня. Я взвалил ящик на плечи и полез с ним на скалы. Затем отыскал пещеру, засунул его в глубину и пошел домой. Но едва я отошел несколько шагов, как подумал, что случайный посетитель может найти его здесь: до вечера ведь было далеко. Эта мысль смущала меня, и я, не решаясь покинуть свое сокровище, сел на соседнюю скалу, откуда была видна пещера. Хорошо видно было и почти весь путь до селения, совершенно безлюдный в это обеденное время. Я быстро вернулся к пещере, вытащил ящик и скорым шагом направился к селению, надеясь донести его незаметно. Три четверти расстояния было уже пройдено. Я ужасно торопился, пот лил с меня градом под лучами полуденного солнца. Но вот на краю селения показался человек, шедший мне навстречу. В одно мгновение я сбросил ящик на землю и сел на него, делая вид, будто сижу на камне. Вскоре человек прошел мимо, не обратив на меня внимания — это был один из дачников. Когда он скрылся за соседним мысом, я хотел было подняться, но на окраине селения появилась вторая фигура. Я переждал, пока прошла и она, но затем появилось уже несколько новых. Стало очевидно, что время для переноса неудобно; тогда я свернул в соседний молодой сосновый лесок, росший на небольшой дюне, и быстро зарыл свою находку в рыхлый песок у подножия сосны. Конечно, нужно было тщательно заметить место, чтобы найти его в сумерках. Все молодые сосны, как известно, похожи друг на друга, как две капли воды, так что по ним ориентироваться невозможно. Пришлось отмерить

шагами расстояние от края леса и взять направление по компасу.

Остаток дня я провел в тревожном состоянии, не переставая думать о своем кладе. Что могло заключаться в нем? То обстоятельство, что его выбросило морем и что он, судя по оболочке, был приспособлен к морскому плаванию, позволяло думать, что в нем содержались какие-то особенные ценности, которые хотели спасти при кораблекрушении. Что это за ценности? Может быть, золотые вещи и деньги? Небольшой вес ящика заставил отказаться от этого предположения. Драгоценные камни — ожерелья, браслеты, перстни, диадемы — это было более вероятно. Бумажные деньги, акции — безусловно, нет, если считать правильным тот вывод, что клад очень древний. Бумажки времен римских цезарей или египетских фараонов, конечно, могли иметь только исторический интерес. Может быть, это какие-нибудь важные документы, которые прольют свет на события очень давних времен.

Я не мог усидеть дома и все послеобеденное время шатался по соседству с леском, где был спрятан клад, чтобы оберегать последний от случайных прохожих. Когда солнце село, я стащил во дворе хозяйский мешок, чтобы удобнее было нести ящик и чтобы лучше скрыть ношу в случае встречи, и отправился в лесок, где еще засветло нашел место и уселся возле него в ожидании темноты.

2. Вскрытие клада

Наконец сумерки сгустились, и в довершение удачи надвинулись тучи. Ночь сделалась темной. Я вырыл свой клад, засунул его в мешок и понес домой. Окна моей комнаты выходили на улицу, а дверь — во двор, где легко можно было встретиться с кем-нибудь из хозяйской семьи. Поэтому я предусмотрительно оставил одно окно незапертым и теперь открыл его, бросил мешок в комнату, а сам порожняком прошел через двор. Встретив хозяйку, я попросил ее закрыть ставни и не тревожить меня больше: «Я сегодня очень устал и сейчас же ложусь спать».

Из предосторожности я завесил окна еще одеялом и простыней, запер дверь и приступил к вскрытию находки, торжественно водворенной на обеденный стол.

Когда просмоленная грубая материя была взрезана ножом, из-под нее показался ящик, чрезвычайно прочно сделанный из дуба. Как известно, дуб может лежать целые века в воде, не подвергаясь гниению. Долго я осматривал ящик, чтобы узнать, с которой стороны была крышка; это было нелегко, так как все стороны казались одинаковыми и не видно было ни гвоздей, ни винтов, словно это был не ящик, а просто кусок дуба. Однако звук показывал, что дерево не сплошное. Еще днем я запасся у хозяйки небольшой пилой и теперь приступил к отпиливанию одного из узких концов. Пила едва брала это дерево, которому, возможно, было несколько тысяч лет; казалось, что пилишь твердую кость. Эта работа заняла часа два, и пот лил с меня градом. Наконец узкий конец ящика отвалился — и я увидел его содержимое. При свете лампы перед моими глазами тускло блестела поверхность драгоценного металла — золота. Дубовый ящик как будто содержал золотой слиток громадной величины. Но это предположение пришлось сразу же отбросить — слиток золота такой величины должен был весить пуда четыре, если не больше, и я бы не мог его сдвинуть с места. Очевидно, золото служило только оболочкой чего-то другого, еще более ценного. Но как

вскрыть ее? Она совершенно заполняла дубовый ящик, и вытряхнуть ее из последнего оказалось невозможным. Однако под давлением руки золото слегка прогибалось, доказывая, что это только футляр и второй, металлический ящик находится внутри деревянного.

Пришлось прибегнуть к молотку и зубилу, которые после нескольких ударов пробили золотую оболочку, толщиной всего лишь в 1 мм. Поэтому при помощи толстого охотничьего ножа, зубила и молотка я после получасовой работы разрезал с узкого конца и эту вторую оболочку. Под ней оказалась третья из какой-то плотной материи, пропитанной воском. Но тут мне уже удалось вытряхнуть все содержимое на стол. Оно представляло собой толстый пакет, тщательно завернутый в вощеную шелковую материю, вроде китайской шелковой клеенки, которая со временем утратила свою гибкость и при попытке развернуть ее распадалась на части. Осторожно, отрывая кусок за куском, я освободил, наконец, четыре толстые тетради из желтоватой непроклеенной бумаги с крышками и корешками из толстой шелковой материи; формат их был во всю площадь внутри ящика, то есть 16 x 10 дюймов. Каждая тетрадь имела почти два дюйма толщины.

Было уже около полуночи, когда я трепетной рукой развернул эти тетради на столе, освобожденном от ящика и инструментов. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что текст тетрадей для меня абсолютно недоступен. Я не мог даже определить, на каком языке они написаны; это не были ни египетские, ни китайские иероглифы, ни клинопись ассирийцев, ни тем более буквы какого-либо из языков Европы или Азии — еврейского, греческого, арабского, монгольского, не говоря уже о латинском и славянском; алфавит всех этих языков я знал хотя бы по начертанию некоторых букв. Нет, это были иероглифы, но совершенно незнакомые мне; они состояли из волнистых линий, коротких и длинных, продольных и поперечных, в разных сочетаниях, создававших своеобразные фигуры.

Перелистав тетради и убедившись, что все они написаны на том же языке, я пришел к выводу, что моя находка,

казавшаяся чрезвычайно важной, так как она дала документы какого-то неизвестного истории народа, не может быть использована без помощи специалистов, к которым и нужно было обратиться. Поэтому я упаковал тетради — о, профанация! — в номер современной французской газеты, засунул пакет в золотую оболочку в ящике, последний также прочно завернул в газеты, завязал и запрятал в свой дорожный кофр, чтобы хозяйка или члены ее семьи случайно не обнаружили сокровища.

Я плохо спал в эту ночь; мне снились настоящие клады — то тяжелые, окованные ржавым железом сундуки, набитые золотыми монетами — испанскими дублонами, французскими луидорами, английскими гинеями, то высокогорлые кувшины, из которых сыпались полустертые римские, греческие и египетские монеты; я их откапывал, потом пригоршнями пересыпал золото и наслаждался его звоном и блеском. Но к монетам постоянно примешивались со странными иероглифами листы бумаги, которые я отбрасывал в сторону, а они опять лезли под руки; количество их все увеличивалось, и, наконец, под потоком бумаги золото исчезло. Я застонал и проснулся — сквозь щели ставень пробивались яркие солнечные лучи, и пылинки танцевали и плавали в них.

Прежде чем начать одеваться, я убедился, что кофр на месте и замок цел. Когда ставни были открыты и хозяйка принесла мне завтрак, мне захотелось осмотреть свой клад при дневном свете. Заперев дверь, я достал его и стал изучать. Теперь оказалось, что я вскрыл деревянный ящик не с того конца; с противоположной стороны можно было видеть тщательно замаскированную задвижку, которая была закреплена одним винтом с утопленной в дереве головкой и замазана опилками и клеем. Удалив замазку, я с большим трудом вытащил винт и отодвинул задвижку; под ней обнаружился верх золотого футляра, края которого были загнуты конвертом и припаяны каким-то металлом, похожим на олово. Таким образом, ценная рукопись была защищена от действия морской воды тройной оболочкой — просмоленной материей, стенкой дубового ящика в 1-1,5 дюйм-

ма толщиной и золотым футляром в 1 мм, не говоря уже о внутренней шелковой клеенке — единственном материале, который пострадал от времени.

В четырех тетрадах рукописи была тонкая желтоватая бумага, похожая на китайскую, на которой пишут кисточкой с тушью. Она совершенно не пострадала от времени — листы не рвались и не рассыпались; в каждой тетради я насчитал 1000 страниц, исписанных только с одной стороны. Никаких картинок не было, но в начале одной из них [тетрадей] я наткнулся на несколько географических рукописных карт с нанесенными на них очертаниями островов, с городами, обозначенными квадратами, горами, изображенными конусами, как на старых китайских картах, реками и озерами. Названия при них были написаны теми же иероглифами, как и текст. На одной странице был план какого-то большого города, окруженного стеной с башнями и воротами; на другой странице план более крупного масштаба, очевидно, изображал какой-то дворец или крепость с внутренними дворами, садом, где ясно различимы были аллеи, фонтан, беседки.

Перелистывая тетради, я, наконец, нашел в начале или в конце одной из них (правда, об этом было трудно судить, так как из-за неизвестного шрифта я не знал, читать ли его строчки справа налево или наоборот, а может быть, сверху вниз столбцами, и где начало и конец страницы) иероглифы, которые нельзя было не признать за египетские; они занимали полстраницы, тогда как другую обычные для всей рукописи иероглифы. Это показалось мне знаменательным — не был ли здесь перевод части текста на египетский язык, что позволило бы найти ключ к остальному тексту?

Через две недели, когда мой отпуск кончился, я поспешил в Париж, где разыскал известного египтолога д-ра Фруассара, которому и представил свою находку, повергшую его в немалое изумление. Он расспросил и записал себе все, что я знал о ней, и обещал изучить рукопись. Он подтвердил мое предположение, что полстраницы с египетскими иероглифами могут дать ключ к разгадке всей ру-

кописи, так как остальные иероглифы были абсолютно неизвестны науке. Он просил меня зайти через неделю, чтобы узнать результат расшифровки этой полстраницы.

Но через три дня разразилась великая европейская война. Я поспешил окольными путями на родину, попал на фронт, был вскоре взят в плен и провел ужасные годы в концентрационном лагере. Вернувшись в Россию только в 1919 г., я из-за прерванной связи и гражданской войны смог только три года спустя написать в Париж в надежде, что Фруассар, несмотря на свои годы и болезни, пережил эти восемь лет. Вот ответ, который я получил от него.

«Дорогой и уважаемый коллега! Я был несказанно рад, узнав, что Вы живы и на родине, так как это помимо всего прочего позволит мне опубликовать труд первостепенного значения. Вы помните, мы условились перед этой несчастной войной, что я сначала должен известить Вас, что представляет найденная Вами рукопись, и условиться относительно ее опубликования. Я употребил три года на ее расшифровку, тяжелые военные годы! Но не имея известий о Вас, несмотря на справки, наведенные в разное время, еще не опубликовал ничего. Все готово для печати, и я позаботился, чтобы в случае моей смерти мой ученик и преемник д-р Лево занялся этим делом. Мы решили ждать еще два года и, если по истечении десятилетия со дня находки рукописи, Вы не подадите признаков жизни, опубликовать ее самостоятельно ввиду ее громадного научного значения. К счастью, Вы живы, и мы можем сделать это немедленно. Этой же почтой я посылаю вам копию перевода, после ознакомления с которой Вы сообщите Ваши условия. О них я доложу Академии наук.

Из копии Вы узнаете все подробности. Теперь же я ограничусь указанием, что эта рукопись — история последних лет государства Атлантиды, той загадочной Атлантиды, в существование которой многие упорно не верят и которое теперь, благодаря Вашей находке, становится бесспорным. Летописец излагает события последних лет, предшествовавших гибели этого государства, вплоть до последних дней его существования. Он продолжает свое описание дрожа-

щей рукой даже в те дни, когда катастрофа уже развертывается во всем своем величии и во всем своем ужасе, и кладет перо в последнюю минуту, когда рушится все вокруг него, чтобы успеть еще схоронить свою летопись в надежном месте в назидание грядущим поколениям.

Благодаря этой трогательной заботе летописца исторический материал огромной ценности сохранился для науки, а Вашему счастью и умению мы обязаны тем, что море, выбросившее драгоценный ящик, не поглотило его вторично и навсегда.

С нетерпением жду Вашего ответа

готовый к услугам Ж. Фруассар».

С волнением я прочитал это письмо. Так это летопись Атлантиды удалось мне спасти благодаря такому счастливому случаю, исключительно счастливому! Достаточно вспомнить, что если бы я не заметил в тот знаменательный день перед бурей этот странной формы обломок древнего корабля или если бы я не дошел до этих мест во время своей прогулки, море вновь поглотило бы свою добычу в течение какой-нибудь недели. Как прочно ни была закупорена летопись, ее оболочка не выдержала бы работы прибоя, который в течение нескольких дней бросал бы ее взад и вперед между валунами. Однажды, много веков назад, драгоценный ящик уже спасся от гибели в морской пучине — волны выбросили его на берег, вероятно, во время легкой бури. Валуны и галька быстро схоронили его, спасли от населения, тогда, несомненно, совсем дикого, которое оценило бы золото оболочки, но не летопись. Ею играли бы дети рыбаков, не знавшие никакой письменности.

Итак, передо мной — летопись Атлантиды, той загадочной страны, о которой мы знаем только из повествования Платона, передававшего слова древнеегипетских жрецов, повествования, которое многими учеными считалось просто сказкой. Жюль Верн в своем романе «80000 лье под водой» показал читателю развалины великого города, погруженного на дне океана. Некоторые ученые-геологи стре-

мились доказать на основании научных данных, что Атлантида существовала и могла погибнуть на глазах человека; другие же ученые так же убедительно доказывали, что если она [и] существовала вообще, то погибла гораздо раньше, когда людей еще не было.

С огромным интересом читал я в течение нескольких дней сказание летописца, описавшего события в кач[естве] очевидца. Оно появилось полностью в трудах французской Академии наук; я же даю здесь только популярное изложение некоторых событий, так как оригинал написан тяжелым языком, страдает избытком подробностей, интересных скорее для историка и этнографа; повествование довольно отрывочно, особенно в последней тетради. Летописец торопился записать все, что происходило вокруг него, не заботясь ни о стиле, ни о связи. На его глазах шло к неминуемой гибели великое государство: пышная столица, его соотечественники, трудолюбивый и культурный народ — где тут было заботиться о красивом изложении! Я же по этим данным отбрасывал все ненужное, сохраняя из летописи только то, что необходимо для понимания характеров и событий. Последние годы Атлантиды я излагаю в виде рассказа, причем заимствую кое-что и из ученых комментариев Фруассара, который на основании других исторических данных определяет время существования этого государства и характеризует состояние его ближайших соседей, стран Западной Европы — Великобритании, Франции, Испании и Португалии.

Необходимым введением является глава, в которой кратко характеризуется положение Атлантиды, характер ее культурного и государственного устройства.

Сергей Минцлов

АТЛАНТИДА

Лет за пятнадцать до Великой войны судьба занесла меня на несколько дней в Москву.

Стоял знойный и пыльный июль; знакомые, как водится в эту пору, все поразъехались, кто в имение, кто на дачу, между тем, свободного времени у меня имелось много и я уже с полудня начинал ломать голову, как и где скоротать дальнейший день.

Однажды меня осенило: я вспомнил, что в одной из частных психиатрических лечебниц служит мой приятель, человек редкой жизнерадостности, доктор Иволгин, которого я не видал лет десять, и я, помолодев от одной мысли об этом весельчаке, решил немедленно навестить его.

Лечебница находилась где то далеко, на Трех Горах, близ знаменитого пивоваренного завода, и занимала загородный дворец, принадлежавший когда-то графу Закревскому.

Я нанял извозчика, плохонького ваньку, и железные шины московских колес загремели по неровной булыжной мостовой. Не успел я опуститься на сиденье, как пришлось вскочить: я сел точно на раскаленную плиту; я перевернул кожаную подушку и тут только обратил внимание, что мой старичок-извозчик словно спеленат длиннейшим, спшитым на великана, рваным синим армяком из толстеного сукна, подбитым ватой; на голове его была нахлобучена теплая же шапка и из под нее выбивались взмокшие, мочального цвета волосы.

— Дед, да ведь ты испечешься?!... — воскликнул я.

— Благодать... ничего!.. — благодушно отозвался старик.

— Да ты бы что полегче надел ?

— Нельзя этого, ваше благородие: хформа такая!.. — убежденно возразил он.

Улицы делались все пустынее, на них стала показываться трава; вместо прохожих, начали попадаться разинувшие рты куры, спасавшиеся от жары под заборами; на нас воззрилась рыжая корова, блаженно жевавшая жвачку среди улицы; она медленно повернулась и дала нам дорогу. Местность делалась все холмистее. Наконец мой извозчик вытянул вперед руку с кнутом и указал на белое каменное здание, глядевшее на нас с горы зеркальными окнами и ок-

руженное обширным, густым садом.

— Эвось дворец!.. — проговорил он.

Ворота из узорочного железа были закрыты; из будки около них внимательно и зорко глядел на меня единственным своим глазом кривой и рослый, мрачного вида сторож.

Пролетка остановилась.

— Доктор Иволгин здесь? — спросил я, сходя с нее.

— Здесь... пожалуйста!.. — ответил сторож и отпер и распахнул передо мной калитку. — Там у швейцара спросите!

По усыпанной красным песком дорожке я поднялся еще немного в гору; в дом, словно в собор, вели широкие и длинные мраморные ступени.

У дверей меня встретил ливрейный швейцар и на вопрос об Иволгине сообщил, что он сейчас занят с директором, но скоро освободится, и предложил подождать в приемной.

— А в саду нельзя посидеть? — спросил я.

— Отчего же, пожалуйста-с! Как выйдут — я им доложу-с!

Я оставил ему свою карточку, а сам спустился со ступеней, пересек небольшую площадку и очутился под зеленым навесом столетней липы; дальше шла совершенно пустынная аллея из них. Неподалеку от меня, на чугунной, старинной скамье, откинув руку на спинку ее, в чесучовом костюме сидел небольшой старичок с тщательно выбритым лицом; рядом с ним, на скамье, лежала легкая тросточка и поверх нее соломенная шляпа. Из-за золотых очков глядели сильно увеличенные ими серые глаза.

— Разрешите присесть около вас?.. — сказал я, приподняв шляпу.

— А сделайте одолжение... — любезно ответил старичок и принял свои вещи. — Навестить кого-нибудь из больных приехали?

— Доктора одного повидать мне надо.... Иволгина...

— А!.. и я его жду!.. — старичок улыбнулся и желтоватое лицо и глаза сделались чрезвычайно приветливыми.

— Вы, кажется, нездешний?

— Да, я из Петербурга.

Я снял шляпу и отрекомендовался. Старик встал.

— Профессор Н... — произнес он, — очень рад познакомиться.

Фамилия, названная им, была из известных.

— Что у вас нового?.. — заговорил он, садясь вместе со мною на скамью. — Что еще про Атлантиду пишут?

Надо напомнить, что в то время в газетах промелькнули две-три заметки об этом загадочном материке.

— Да в сущности, ничего — одни общие места и гаданья!.. — ответил я. — Быть может, и не было никогда такого!..

— Напрасно так думаете! — возразил профессор. — О существовании его мы имеем свидетельства древних. Да и культура доисторического населения центральной Америки указывает, что между нею и Африкой был когда-то перепрошит мост из материка.

— Но ведь провал такой громады должен был повлечь за собой величайшие катастрофы, между тем, мы их не видим!

— То есть, не хотите видеть?.. — поправил мой собеседник. — А они есть и даже чрезвычайные. Мы знаем, что в глубокой древности равновесие земли было чем-то нарушено и по сей день происходит медленный, но неизменный наклон земной оси. Это открыли нам древнейшие из пирамид — в них делали отверстие, сквозь которое гробницы фараонов должны были в свое время освещаться Полярной звездой; теперь она уже далеко в стороне и на саркофаги смотрят совершенно другие звезды! Затем: вся северная часть Африки, Сахара, без всякого сомнения, была дном моря — этого вы не отрицаете? Куда же могла деваться вся масса воды его? Исчезнуть, как дым, она не могла!

— Разумеется!.. — подтвердил я.

— Стало быть, вывод допустим лишь один: под материком Атлантиды имелись неизмеримейшие пустоты. Что же должно было произойти, когда материк рухнул в них? Среди океана вдруг разверзлась чудовищная пропасть: воды ринулись в нее со всех сторон. Естественно, должна была обнажиться Сахара, обмелеть Средиземное море, появиться-

ся острова... так мы все наблюдаем и в действительности! Произошло новое мироздание... вы представляете себе эту картину?

Профессор воодушевился и слегка взмахивал руками, глаза его разгорелись.

— Что же должно было повлечь за собой перемещение к югу триллиона триллионов тонн воды? — продолжал он. — Ясно — резкий наклон к югу же земной оси; в силу перегрузки и нарушения равновесия он медленно продолжается и по сей час. От этого мелеет Балтийское море и уменьшается количество вод в Северном полушарии; отсюда изменение климатов. Гибель Атлантиды возродила Европу: она оборвала ледниковый период в ней, дала ей «толчок расцвета».

— И вы допускаете, что человечество видело эту катастрофу? — усомнился я.

— А несомненно-с! — ответил профессор. — Человек не только жил в ледниковый период, но даже у нас, в дикой Европе, вырезал уже на бивнях мамонта сцены охоты за ним.

— И вы полагаете, что население Атлантиды было так же культурно, ну, скажем, как египтяне?

— Выше... куда выше!!! Оно было просвещеннее нас! Мир переживает Бог вещь какую по счету эру расцвета!

— Да может ли это быть? Ведь кругом же глубочайший каменный век был, всюду одни дикари, полу-орангутанги жили?

— А Китай? — возразил профессор. — Разве он тысячи лет не находился в точно таких же условиях? Культура древней Греции, которой так гордится Европа, — из семян Атлантиды! Представляете себе это зрелище... — с большим подъемом добавил он и откинул назад голову, как бы увидав что-то сквозь густую зелень листвы. — Голубое небо и по нему летит вереница серебряных кораблей с последними атлантидцами?

Он вдруг поразил меня необыкновенным сходством с ожившим и важным фарфоровым китайцем.

— Корабли? почему же по воздуху?.. — удивился я.

— Да, у них были не наши жалкие аэропланы и дирижабли, а настоящие воздушные корабли! Повторяю, атлантидцы знали больше нашего! А на кораблях группы людей, — среди них — Зевс, величайший художник — Аполлон, первейшие красавицы — Венера и Диана, весь цвет ума и таланта...

— Вы поэт!!!!.. — сказал я. — Картинка для фантастического романа действительно прекрасная!

Профессор покачал головой.

— Не фантазия это!.. — задумчиво проронил он. — Фантазия всегда позади действительности!..

Со стороны дома появился торопливо шедший, полный и плечистый господин в белом фланелевом костюме, и я узнал в нем своего приятеля. Панама его была сдвинута почти на затылок, маленькую темную бородку, как пробор, рассекала посередине полоска седины.

Увидав меня, Иволгин протянул вперед обе руки.

— Вот он?!.. Здорово, дружище!!.. — воскликнул он, подходя к нам и вглядываясь в меня карими глазами. На профессора он не обратил ровно никакого внимания.

— Отцы мои, да какой же мы чемодан приобрели?!.. — добавил он, погладив меня по животу и садясь между нами.

— Да и вы ничего себе... тоже по всем трем измерениям вспухли!.. — ответил я.

— Да, да!! погрузнел, отяжелел!.. — улыбаясь, согласился Иволгин. — Что поделаешь, «и хором бабушки твердят — как наши годы-то летят»?..

Начались обычные расспросы. Во время них я убедился, что полнота Иволгина была нездоровой; на лице его лежал бурый оттенок, оживившиеся ненадолго глаза утратили блеск и закрылись усталыми.

— Да вы здоровы ли? — спросил я.

— Как бык!.. — был ответ. — Заработался немного..

— Верно! — подтвердил профессор. — Пересаливаете, мой друг!..

— А над чем вы работаете?

— Мы с профессором вместе трудимся... в области спиритуалистики!

Я изумился. Этот завзятый естественник и здоровяк был так далек всегда от всего туманного и фантастического!

— Вот так история?!.. — проговорил я. — Да вы не столы ли уж вертите?

— И столы вертим!.. — подтвердил он. — А вы чему удивляетесь? «Многое есть на свете, друг Горацио» и пр.!

— Что же вас в этом деле интересует? Чего вы достигли?

— Интересует неведомое. А достигли многого: сейчас мы ведем очень важные переговоры с Зевсом.

— С кем?! — с изумлением спросил я. Мне показалось, что приятель шутит или с ума сошел, но нет — выражение его лица, также как и его соседа, было вполне нормальное и серьезное.

Я легонько дернул его за рукав.

— Почтеннейший, а у вас здесь все благополучно?.. — вполголоса осведомился я и показал пальцем себе на лоб.

Иволгин и профессор посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Видите... — обратился к нему профессор, — таков вообще суд общества — что непонятно, то и ненормально!..

— Вполне хорошо, дорогой мой!.. — ответил мне Иволгин. — Я должен вам признаться, что пятнадцать лет наблюдений за душевнобольными убедили меня, что еще неизвестно, кто более ненормален — они или мы, здоровые!

— То есть?

— Да то, что весь мир, каждая вещь в нем в действительности вовсе не то, за что мы их принимаем! Вот хотя бы небо — голубое ведь оно, а на деле никакой голубизны там нет и междупланетные просторы черны, как сажа в трубе! Если мы с вами не больны, видя «голубое» небо, то почему же считать больными тех, кто видит его черным? Это не признак болезни, а просто, как и все «галлюцинации», есть результат большей восприимчивости или чуткости человеческого аппарата. Скажу образней: мы, здоровые, — это люди, идущие в густом тумане по узкому гребню высокой стены. Мы не видим сквозь него ничего, а только подозреваем. А для других завеса кое-где распахивается... это, по-

нашему, сумасшедшие!

— Но что же сообщил вам Зевс, это даже интересно?

— А это уж по его части! — Иволгин указал рукой на профессора. — Константин Борисович, расскажите!..

Старик положил руки себе на колени и подался всем телом вперед.

— Последние годы Атлантиды были ужасны!.. — начал он тем тоном, которым обыкновенно профессора начинают свои лекции. — Население страны выросло чрезвычайно, экономический кризис был жесточайший, но решительно никто, за самыми ничтожными исключениями, не желал переселиться в дикую, одетую льдами, негостеприимную Европу или в Африку, полную страшнейшими животными. Жизнь сделалась невыносимой; ослепленный злобой пролетариат вступил в яростную борьбу с культурой, с интеллигенцией, с капиталом и опрокинул их. На всей материке начались резня, пожары, грабежи; избивались старики и дети, огнем и мечом уничтожалось все, что было создано трудами и знанием тысячелетий....

Зевс был величайший инженер Атлантиды. Группа лучших и талантливейших людей сомкнулась вокруг него для последней борьбы и шаг за шагом, электрическими ружьями и убивающими лучами, отстаивала дворец его, но разъяренная стихия одолевала: враги проникли в подвалы и собирались взорвать здание. На плоской крыше его в полной готовности стояли три воздушных серебряных корабля, и Зевс дал сигнал отступать и садиться в них.

Зевс в числе немногих знал тайну о пустотах под материком и знал, что дни Атлантиды сочтены: об этом предупреждали его все учащавшиеся случаи страшных землетрясений. Где было возможно, он возводил под землей чудовищные устои, но, предвидя исход борьбы с одичалой толпой, он бросил работы и минировал главнейшие, державшие своды скалы. И когда сверкающие корабли взмыли высоко в небо — под звериный рев и вой исступленной толпы, плясавшей на картинах наилучших художников и драгоценностях и святынях дворцов и храмов, Зевс нажал кнопку и гул сотряс небо и землю. Здания, церкви, башни

— все двинулось друг на друга, все слилось в вопль и крушение и стало проваливаться. Гигантский зелено-черный вал в версту вышиной вздыбился на океане и рухнул в разверстую пропасть, еще кишевшую людьми и падающими зданиями. Все захлестнулось водой... громадные, белоголовые волны одни на всем синем просторе остались памятниками над великой Атлантидой!.. Серебряные трубы опять пропели в выси неба и воздушная эскадра понеслась к Европе. А навстречу ей беспредельной желтой пеленой уже вставала из бирюзовых вод Сахара... Дикари в звериных шкурах на плечах подымали вверх головы и падали перед невиданным зрелищем!.. Так появились первые боги в Европе. Высоко в неприступных скалах Зевс возвел дворец для себя и оттуда, и там правил миром и забавлялся с друзьями!

Профессор умолк и вздохнул.

— Какая картина... воистину Зевсов размах!!.. — произнес я, охваченный сильным впечатлением от рассказа профессора.

— То-то, друже!.. — сказал Иволгин и прикоснулся ладню к моему колену. — Нет чудес — и все чудо на свете!

Мы побеседовали еще с полчаса и я начал прощаться.

— А мы вас проводим!.. — сказал профессор, и мы все троим направились к воротам.

— Рад, что удалось повидать вас и вас, профессор!.. — обратился я к своим спутникам. — Давно я не проводил так интересно время, как сегодня с вами!

Профессор слегка поклонился.

— И я рад!.. — отозвался мой приятель. — Точно свежим воздухом на меня потянуло!

У калитки оба они любезно пропустили меня вперед; кривой сторож зазвякал ключами и отпер ее. Я вышел на улицу к поджидавшему меня извозчику.

— Нельзя-с!.. — услышал я за своей спиной голос сторожа. — Назад пожалуйста!..

Я оглянулся. Оба мои спутника стояли по ту сторону решетки; калитка была захлопнута и сторож замыкал ее.

— Циклоп Полифем!!.. — произнес сквозь зубы мой приятель. Он взялся за решетку и потряс ее.

— Оставьте!!.. — повелительно сказал профессор и снял волосатую, сильную руку Иволгина с прутьев калитки. — Скоро мы улетим отсюда на корабле... До скорого свиданья!!..

Они повернулись и пошли к дому; Иволгин, показалось мне, сразу осунулся и сгорбился; профессор выступал величественно.

— Что это значит? — с негодованием обратился я к привратнику. — Отчего вы не выпустили этих господ?

Единственный глаз сторожа в свою очередь удивленно уставился на меня.

— Да ведь они же сумасшедшие, сударь!!.. — ответил он.

— Как так?!.. — чуть не вскрикнул я.

Шедшие, должно быть, услышали мой возглас и оглянулись; лицо Иволгина было неузнаваемо — озлобленное и настороженное; профессор презрительно повел в нашу сторону носом. Чтобы им видно меня не было, я скрылся за будкой.

— Господин Иволгин вот уже третий год как из докторов в больные перешли... — продолжал привратник: — все души померших вызывает!

— Отчего же это с ним случилось?!

Сторож пожал плечами.

— А кто ж может это знать? Сказывают люди — от любви, будто, поприitchилось?!

— От какой любви?!

— Да глупость обыкновенная... У профессора дочка, что ли, была, не то племянница, так вот к ей... Антониной какой-то ее звали. Провалилась она где-то, вот и повредились оба!.. По нашим временам долго ли?!

Сергей Минцлов

ТАЙНА СТЕН

Илл. П. Бучкина



В один из сумеречных петроградских дней, когда каждая квартира кажется подземной пещерой, а обитатели их — троглодитами, блуждающими впотьмах, я сидел в своем кабинете и при свете лампы измерял черепа, привезенные мною из последнего путешествия.

Черепы были интереснейшие, относившиеся к эпохе, никак не позднейшей V или VI века до Р. Х.

Раздавшийся звонок, а затем появление в дверях какого-то невысокого и порядочно растрепанного господина в очках отвлекли меня от моего занятия.

— Извините... здравствуйте!.. — проговорил он, протягивая мне неестественно высоко протянутую ладонь с растопыренными пальцами.

— Очень рад! — добавил он, усердно трясая мою руку.

— Чем могу служить? — спросил я, пригласив гостя сесть и вглядываясь в его, совершенно незнакомое мне, лицо.

На меня глянули беспокойные, водянисто-голубые глаза; можно было подумать, что мое обиталище наполнено миазмами, так нос гостя, красноватый и острый, нюхал воздух; через минуту я понял, в чем дело: владелец его, видимо, обладал собачьей способностью чувствовать запахи даже неодушевленных предметов; он сперва поводил в сторону их носом, а затем отыскивал заинтересовавшую его вещь глазами.

— Побеседовать к вам пришел... извините!.. — ответил он; нос его зачуял в углу бронзовую доисторическую вазу и глаза его метнулись на нее, затем на меня. — Какие у вас тут все предметы... — добавил он: — древности!

— Что же вам угодно?..

Глаза посетителя несколько минут прыгали по моему лицу.

— Вы изучаете старину? — спросил он, решившись, наконец, приступить к делу.

Я наклонил голову.

— Я тоже... — многозначительно произнес он. — Открыв-
тыце я сделал!..

Худая, веснушчатая рука гостя скользнула за пазуху и длинные пальцы его вытащили из глубины пиджака какой-то кружок с днищем, похожий на верхнюю часть телефонной трубки. От ободка его во все стороны в виде лучей торчали короткие, тончайшие проволоки.

— Вот! — с торжеством проговорил он. — Все тут!

И гость захихикал, заерзал и словно утонул в кресле, из глубины которого заторчали одни его костлявые руки, ожесточенно потиравшие одна другую.

— В приборах я ровно ничего не понимаю, — ответил я, рассматривая вещицу, — и должен сознаться, что вообще изобретения меня не интересуют!

Судороги в кресле прекратились. Из него высунулся нос, а затем и вся бледная, некрасивая физиономия моего собеседника.

— Только не это! — произнес он. — Вы вот издали книжку «Странное»... о влиянии имени на судьбу человека. А окружающая нас обстановка имеет влияние на судьбу?

— Еще бы! Весьма большое!

— А почему?

— Ну, это требует долгих объяснений...

— Конечно, конечно!.. — насмешливо прервал меня гость. — Социальный вопрос, Карл Маркс, труд и капитал, сапоги всмятку... Ерунда-с! Дело не в том!

— В чем же?

— Вы бывали, конечно, в древних зданиях, в развалинах?

— Часто.

— И вы замечали их действие на вас? Идете по какому-нибудь бывшему кабаку, а ступать стараетесь мягко, говорите тише. Благоговейность какую-то чувствуете? Так?

— Несомненно.

— Ага!... в кабаке то! Эго почему же?

— Таково вообще действие всякой старины на человека...

— Вы это «вообще»-то оставьте! Вы в упор мне определите — почему?

Я пожал плечами.

— А я оп-ре-де-ли-л!.. — выразительно произнес он. — В гипнотизм, в передачу человеческой воли на расстоянии верите?

— Верю.

— В электризацию тел, в скопление энергии, иначе говоря, впечатлений, — тоже, надеюсь? Я видел чудодейственные иконы и статуи, — продолжал мой гость, глядя куда-то через плечо мое.

— Тысячи людей ежедневно, в течении веков, горячо молились перед ними: миллионы устремляли на камень и дерево напряженные внимание и волю, и они впитали часть их и действуют на нас, как лейденская банка. Это бесспорно! В развалины замков и зданий я входил веселый, шумный, — веселье тотчас же исчезало во мне. В банях Рима я испытывал то же, что в храмах. Я разгадал, в конце концов, что не внешность их действует так на меня, а нечто другое, скрытое в самых стенах. Они восприняли прошедшее перед ними: в мертвых камнях, в меди, в дереве, в железе, везде заключены речи и тени людей, когда-либо проходивших мимо. Вот почему мы стихаем в старинных зданиях: они излучают силы, мы ощущаем прошлое, притаившееся кругом. Помните сказку о царевне, спящей в хрустальном гробу среди окаменелого царства? Эта царевна — минувшее, спящее околдованным сном в камнях!

— Да вы поэт, — вырвалось у меня.

— Нет, я Иван-Царевич, — гордо заявил гость и ударил себя кулаком в тощую грудь. — Я разрушил волшебный сон!

Красный, острый нос моего собеседника как-то не гармонировал с именем Ивана-Царевича; мне показалось, что передо мной свихнувшийся человек.

— Д-да... — протянул я, овладевая в видах предосторожности тяжелой пепельницей, стоявшей около него. — Это, конечно, любопытно...

Думаю, что никакой король Лир не вставал так величественно со своего седалища, как мой незнакомец.

— Не верите? — высокомерно спросил он. — Впрочем, понятно... Чем говорить, желаете, сделаем опыт?

Он схватился за свой прибор.

— Его надо приложить к стене — он присосется к ней и она расскажет нам то, что знает.

Сумасшедшим, когда затеи их незловредны, противоречить не следует; так как свободных стен в моем кабинете не оказалось, мы с гостем сняли железную кольчугу; одним нажатием руки он как бы приклеил свой кружок к стене, на ее место.

Бледно-синие, чуть заметные искры стали вспыхивать на концах проволочек.

Гость соединил некоторые из них между собой и среди напряженной тишины я явственно услышал шаги тяжело нагруженного человека, приближавшегося к нам откуда-то снизу по трещащим доскам.

— Тсс... сейчас заговорит... — прошептал незнакомец, кладя палец себе на губы и наклоняя ухо в сторону прибора.

— Неси кирпичи скорей, черт крашеный! — вдруг заорал из стены грубый голос. — Заснул, пес те заешь!!..

— Не-сс...у... — хрипло и глухо долетело из-под пола.

Все стихло, кроме грузных шагов.

Я с изумлением глядел то на прибор, то на своего гостя. Он стоял, скрестив руки на груди, и улыбался; глаза его блестели.

— Поразительно! — произнес я.

Гость мой снял аппарат.

— Новый дом! — проговорил он, как бы извиняясь за выражение стены. — Рабочие... это понятно! Надо побывать где-нибудь в старом здании.

На этом мы и порешили.

Ровно через день после описанного мы с изобретателем катили по железной дороге к одному из моих приятелей, в имении которого находился старый дом, еще екатерининских времен, уже предназначенный к сломке.

Настроение у меня было повышенное.

Мой спутник, кроме виденного мною прибора, вез в особом ящике еще другие, дававшие возможность видеть прошлое.

Видеть и слышать мертвых! Было от чего волноваться и с нетерпением ждать приезда.

Под вечер того же дня на крестьянских дровнях, нанятых на станции, мы въехали на занесенный снегом, широкий помещичий двор; среди него темнел выкрашенный когда-то в дикую краску громадный двухэтажный дом с заколоченными окнами; верхний балкон его частью обвалился, частью висел еще в воздухе; крыльца не было; обшивка местами сгнила или была сорвана; вместо нее зияли дыры. Все производило впечатление полного запустения.

Возница свернул к низкому каменному домику, служившему временным жилищем моего приятеля.

Навстречу нам вышел хорошо знавший меня пожилой приказчик и четверть часа спустя мы сидели в теплой низкой комнатке, усталанной дорожками, и пили чай.

Хозяина дома не оказалось.

Заменивший его приказчик с недоумением выслушал мое заявление о том, что ночь мы намерены провести в старом доме.

— Помилуйте, да ведь там сто лет не топлено! — возразил он, наливая мне чай, — замерзнете!

— Ничего, мы в шубах и в валенках. Наконец, затопим камины. Их можно топить, как вы думаете?

— Да что им сделается?.. можно-то можно, только воля ваша: нехорошо-с!..

— Чем нехорошо?

— Дом агромаднейший, пустыня-с... Жутко будет! Да и пришибить еще чем, не дай Бог, может: ненадежный дом. На что бы лучше здесь: постельки вам сделаем, тепло, лампадочка при образах ... Ночь ведь, подумайте-с!

Мой спутник захихикал и потер руки.

Приказчик неодобрительно покосился на него.

— Конечно, неверующие нынче господа... — добавил он.

— Как будет угодно-с...

— Да уж, будьте добры, устройте нас в доме...

— Слушаю-с! — и он удалился.

Отдохнув после дороги и поужинав, мы в сопровождении приказчика и двух рабочих отправились на двор.

Звездная, безмолвная ночь раскидывалась над землей, завернувшейся в беспредельную белую пелену. Черными горбами рисовались впереди дом и угол сада... Морозило. Снег скрипел под ногами; на хруст шагов где-то зазвывала цепью и залаяла собака.

Дверь, ведущая в дом, оказалась распахнутой; порог ее находился над нашими головами и, за отсутствием крыльца, к нему была приставлена короткая переносная лестница.

Приказчик влез первым и, подав руку, помог нам взобраться за ним. В сумерках широких сеней желтым пятном светился фонарь, поставленный на пол. Почти ощупью приказчик отыскал большую дверь, покрытую, как старый дворовой пес, войлочными лохмотьями, и отворил ее.

— Пожалуйста... — проговорил он, пропуская нас.

Затхлый запах охватил меня. Холодно было почти так же, как на улице.

Приказчик взял стоявшую на сундуке-ларе керосиновую лампу и, подняв ее над головой, повел нас из обширной «лакейской» дальше.

Громадный, двухсветный зал обступил нас; темные стены поблескивали кое-где остатками позолоченных шпалер

и украшений; вдоль стен белесоватой чередой тянулись во мраке мягкие стулья, рваные и перетрескавшиеся. Перила хор с правой стороны, служивших местом для музыкантов, словно корона, выступали вверх; пол их провалился и груда досок лежала у стены, засыпав до половины одну из дверей.

Все мы шли в валенках и тем не менее гул шагов отдавался во всех углах; старый паркет трещал и жаловался.

Мы пересекли зал; заскрипела облупленная дверь и волна более теплого воздуха повеяла из темного пространства впереди.

Портретная... Со всех сторон глядели на нас важные, величавые или улыбающиеся лица давно ушедших из мира людей.

Приятель мой, владелец имения, не интересовался ни предками, ни стариной и паутина, как черная вуаль, густо закрывала многие портреты.

Полинявшие, позолоченные кресла и кое-где круглые столики из красного дерева размещались под ними.

За портретной мы миновали обветшалую голубую гостиную и, когда наш путеводитель толкнул следующую дверь — яркий свет и настоящее комнатное тепло приятно охватили нас.

Мы были в уютном уголке, служившем, вероятно, в свое время дамским будуаром: об этом свидетельствовала мебель — выцветшая, но местами еще бледно-розовая, стены, когда-то обтянутые такого же цвета тканью, и туалет с потускневшим зеркалом.

Камин, с двумя бронзовыми карлами по бокам, был полон дров и пылал так, что делал излишним присутствие горевшей на столе высокой лампы. На двух диванах нас ожидали постели; поверх одеял на них лежали бурки.

Приказчик, осмотрев еще раз, все ли в исправности, сказал, что ночью у них ходят по двору караульщики, пожелал нам спокойного сна и удалился.

Спутник мой принялся расстегивать ремни ящика и затем небольшого чемодана.

Из первого появились два странного вида аппарата, похожие на волшебные фонари; со стороны, противоположной увеличительному стеклу, от них тянулись толстые провода, оканчивавшиеся кружками — присосами к стене.

Слуховых приборов в чемодане изобретателя оказалось целых четыре.

Мы посоветовались и решили поместить последние в зале, в портретной, в гостиной и в будуаре; зрительные же — в первой и последней комнатах.

Изобретатель, с озабоченным лицом и еще более покрасневшимся носом, торопливо принялся прикреплять к стене будуара присосы. Я помогал, как мог.

Волнение, несмотря на все усилия противостоять ему, овладевало мною все более и более; оно и понятно: ведь мы готовились вызвать умерших!

Окончив все установки, я оставил товарища в зале, а сам быстрыми шагами направился в будуар: мне хотелось согреться у огня, до такой степени стал пронизывать меня внутренний холод.

Отворив дверь, я остановился как вкопанный: перед зеркалом, спиной ко мне, стояла женщина в локонах и напудренном парике; пышное розовое платье ее прикрывали волны кружев.

Из-под него виднелись розовые чулки и туфли, осыпанные настоящими жемчугами.

Мне не хватило воздуха. Я сел, почти упал на стул у двери; он затрещал, и незнакомка повернулась.

Я увидел прехорошенькое овальное личико с двумя налепленными на левой щеке мушками. Карие глаза ее скользнули по мне, как по пустому месту. Значит, я был для нее невидим!

Я перевел дыхание и тут только увидел разительную перемену в комнате.

Всю ее затягивал розовый атлас; на стенах, в золоченых бра, горели восковые свечи: зеркало, туалет, мебель — все было новое, покрытое позолотой, дорогим бархатом и коврами.

Наши постели исчезли.



— Ариша! Девки!! — крикнула стоявшая перед зеркалом.

Распахнулась противоположная дверь и в комнату ворвалась черноголовая, пышущая здоровьем девка с только что выглаженным кружевным воротником в руках. За нею бомбой влетела другая, русая, неся перламутровый ларчик.

— Скорее, скорее... не возитесь! — капризно торопила барышня горничных, пристегивавших ей воротничок и драгоценности. — Василий Петрович приехал?

— Приехали-с!.. давно!.. — хором отозвались русая и черная.

На крохотном фарфоровом блюдечке чернела кучка сажи; барышня окунула в нее перышко и кончиком его стала слегка подводить глаза: так требовал этикет времени.

В гостиной раздался смех и мужские голоса.

Я выглянул туда — там не было ни души. Мебель и все в ней было по-прежнему обливное и дряхлое, но беседа шла громкая: говорили как будто два высокие кресла с торчащей из их сидений мочалой. Жуткое чувство опять нахлынуло на меня.

— Душевно радуюсь, ваше сиятельство, спасибо за честь! — звучало над одним из кресел: голос был жирный, апopleксический, заискивающий.

— Ну, ну... что там еще... Ну, а как розанчик твой, цветет, здравствует? — старчески зашепелявило над другим креслом, отделенном от первого карточным столом.

Я оглянулся.

Барышня и горничная прислушивались тоже: по лицу первой пробежала гримаска неудовольствия.

Почти в ту же секунду обе горничные метнулись к двери и припали, одна глазом, другая ухом, к замочной скважине и ниже ее, к щели. По пути они задели за меня, но прикосновение их я не почувствовал.

— Князь с барином нашим вдвоем сидят!.. — прошептала черноволосая, поворачивая лицо свое.

— Все о вас, да о вас князь говорит... куклементчик! — русая помотала головой, захихикала и зажала рукой рот.

Послышался легкий стук в дверь костями пальцев.

— Иду... — отозвалась красавица. Лицо ее приняло холодное, почти ледяное выражение.

Девки отскочили в стороны, распахнули дверь и красавица вышла, слегка закинув назад голову.

На пороге она исчезла. В пустой комнате зашаркали ноги, послышалось самодовольное, грузное «хе-хе-хе»... и долгие, сочные поцелуи ручки.

Тяжелые шаги поспешили в портретную: хлопнула неподвижная, закрытая дверь.

— Цветете... цветете... бутон!!.. — изнывал в старческом томлении голос.

В зале грянул полонез и я вздрогнул от неожиданности.

— Обожаемая, идемте!...

Шаги их стали удаляться.

На меня бросились обе горничные; я инстинктивно закрылся левой рукой, но они проскользнули сквозь меня и разом растаяли в темной гостиной: они бежали подсматривать.

Я последовал за всеми.

В портретной было почти темно... пахло плесенью, сыростью. В громадные щели из зала пробивался яркий свет.

— Хороша Маша, да не наша! — заявил вдруг, с оттенком зависти, пустой угол.

— Посмотрим еще, чья она будет! — процедил молодой, приятный баритон.

Я открыл дверь в зал и на миг зажмурился: весь он, блестяще белый от пола до потолка, сиял сотнями огней. Его наполняла толпа людей всех возрастов в разноцветных бархатных и атласных камзолах и платьях, сверкавших бриллиантами. Особенно поразительно было море словно серебряных, завитых в букли голов и сплошь бритых лиц.

На хорах, за золочеными перилами, играл домашний оркестр.

Снежно-белые с золотом, шелковые стулья у стен пустовали: все, что было гостей, многоцветной гирляндой шло в величавом полонезе.



Во главе выступал князь — сутуловатый, молодящийся старик с поджатыми щеками; с изысканной любезностью, изогнувшись, он что-то оживленно шептал своей розовой даме, той, в будуаре которой я был. Она слушала молча, чуть сдвинув черные тонкие брови.

Во второй паре шел багровый, как свекла, курносый толстяк с блаженным выражением на лице, опиравшемся на три яруса подбородков. По голосу я узнал в нем хозяина дома, беседовавшего с князем.

Полонез кончился.

Гигантский змей, двигавшийся по залу, зашумел и рассыпался; лакеи раскинули в углах ломберные столы и пожилые гости стали рассаживаться за бостон. В вазах разносили сласти и фрукты. У стен разместились мамы и бабушки, привезшие дочек. Мамаши насыпали себе конфеты в платки и прятали их в мешки-ридикюли.

Тут только я заметил, что я в шубе и в валенках. Меня охватило смущение. Но почти тотчас же я вспомнил, что я невидимка и что то, что я вижу — не существует. Нет слов, чтобы описать мои переживания! В висках у меня стучало; то озноб, то жар волнами катились по моему телу.

— В моей комнате... сейчас!.. — кинула незнакомка в лицо мне и смешалась с толпой.

За спиной моей звякнули шпоры. Я оглянулся. Там у стены стоял высокий, красивый офицер в белом мундире покроя времен первых дней царствования императрицы Екатерины II.

Выждав немного, он стал пробираться в противоположный конец зала и исчез в дверях, ведущих в сени.

Я поспешил в будуар.

Красавица была уже там: она прогуливалась из угла в угол и теребила платок, кусочки которого снежинками белели на розовом, пушистом ковре.

В маленькую заднюю дверь тихо стукнули. Она бросилась к ней, открыла ее и показался белый мундир офицера. Он вошел и протянул обе руки вперед. Красавица замахала на него остатками платка.

— Нельзя, нельзя... могут войти!.. Стой там, за порогом... Слушай...

Она почти вытолкнула гостя; дверь осталась отворенной. Из нее глядели мрак и запустение. Офицер исчез, растаял и только рука его, словно отрубленная, держалась за дверь.

Это было особенно жутко.

— Князь сделал мне предложение... Батюшка согласился! — взволнованно кидала слова красавица.

— Вот как!.. — проговорил знакомый баритон. — Что ж ты думаешь делать?..

— Я?.. Нет, что ты думаешь, скажи? — воскликнула она.

Голова без туловища показалась над порогом. Взгляд черных глаз ее был тверд и решителен.

— Мои думы просты: кучер мой трезв — единственный, вероятно. Коней моих знаешь — через два часа у попа будем!

Красавица села и закрыла лицо руками.

— Бросить все... а отец?.. что будет потом?!..

— Обсуждали мы уж все это! Решайся, время идет!

Она порывисто вскочила и швырнула платок, стиснутый в руке.

— Нельзя, видно, иначе!.. Хорошо! — сказала она.

— Радость моя! — воскликнул баритон. Офицер вбежал в комнату, обнял красавицу и опрометью ринулся обратно во тьму.

Вместо него ворвалась черноголовая девка и грохнулась на пол к ногам красавицы.

— Матушка барышня! — плача, завопила она, обнимая ее колени: — светик наш! А я-то как же буду?! Засекут ведь... меня... насмерть запорют!..

Вздрогнувшая было красавица усмехнулась.

— Подслушала? — сказала она. — И следует тебя выпороть!

— Милая, возьмите меня с собой!!.. По гроб служить вам верой-правдой буду! — надрывалась горничная, стучаясь об пол головой.

— Полно тебе... Собирай все скорей! — приказала барышня. — Да смотри, чтоб не заметили; салоп в задние сени вынеси.... Так уж и быть: и тебя возьмем!

Горничная визгнула от радости, вскочила, как встрепанная, ринулась вон и разом пропала за порогом.

Мне сделалось дурно: сердце почти перестало работать.

Придерживаясь за косяк, я вышел в гостиную: и в ней, и в портретной слышались шутки, смех, шумные веселые голоса.

В зале танцевали. Напудренные, синие, красные, белые и зеленые фигуры приседали друг перед другом, чопорно кланялись и плыли кругом.

С хор лился менуэт.

Я отыскал глазами своего товарища; в меховой шапке, съехавшей на затылок, в шубе и в валенках, он стоял, прилягаясь боком к выступу стены, и озираал толпу видений. Рот его был полураскрыт, бледное лицо его напоминало гипсовую маску.

Шатаясь, я пробрался к нему и взял его за руку.

— Будет... идемте... — проговорил я,

Он перевел на меня помутившиеся глаза и беззвучно пошевелил обескровленными губами. Я взял его под руку и повел за собой.

Снять аппараты, лечь, уснуть... вот что настоятельно требовали мозг и разбитое тело. Изобретатель как будто не понимал моих слов; я сделал попытку отделить без его помощи присос от стены залы, но слабевшие все больше и больше руки не слушались. Надо было оставить все и лечь, лечь во что бы то ни стало.

Среди шума и говора мы добрались до будуара. Он был пуст. Я повалился на бархатный диван; товарищ мой сел было на стул, но затем сполз на ковер.

Из зала доносились звуки музыки. Я стал забываться сном.

— Что надо? — раздался надо мной хриплый, несколько раздраженный голос.

Я открыл глаза и увидел толстяка-хозяина. Около него, согнувшись в дугу, стоял седой дворецкий.

— Батюшка, осмелюсь доложить, беда! — прошамкал он.
— Что такое, что ты путаешь, старый дурак?! — закричал толстяк.

— Барышню увезли у нас...

— Что-о?! — проревел барин; глаза его выпучились, как у рака. — Лжешь ты!.. Кто, когда?!

— Сию минуту, батюшка: господин поручик Бельский в сани посадил и увез...

— Силой? Что ж ты не отбил? Где люди были?!

— Да не силой... сама ушла... и Аришку взяли!

— А, а!! — толстяк поднял оба кулака вверх и потряс ими; лицо его сделалось синим. И вдруг словно кто-то незримый ударил его по темени: голова его мотнулась вниз, губы перекосило и он, храпя, повалился на пол рядом с нами; старик-слуга хотел поддержать грузное тело барина и не мог.

— Эй, эй! — плачущим голосом закричал он, бросаясь в гостиную через приподнявшегося с пола моего товарища.
— Барин кончаются!.. Сюда-а!..

Музыка оборвалась.... затопали сотни ног... Я потерял сознание.

Очнулся я только на другой день, раздетый, в постели. А еще через сутки мне сообщили, что мы с изобретателем угорели и его в чувство привести не удалось. В доме в ту ночь от неисправности труб вспыхнул пожар и он весь сгорел дотла, со всем добром и нашими аппаратами. Только нас и несколько портретов едва успели вытащить из огня. Спутника моего вынесли уже мертвым.

Среди спасенных портретов я узнал красавицу в розовом; она лукаво улыбалась мне.

С приятелем, которому принадлежал дом, я чуть не рассорился.

Этот господин самым серьезным образом начал меня благодарить за то, что я, хотя и невольно, избавил его от

«старого хлама».

— Не подымалась только рука у меня, — сказал он между прочим, — а то уж я сам не раз подумывал, что хорошо было бы подпалить его со всех четырех углов!

Великое изобретение погибло!..

Сергей Минцлов

ПОСЛЕДНИЕ БОГИ

Илл. С. Лодыгина

Ночь нас застала в горах высоко над Дельфами.

Мы, трое археологов, исследовали пещеры, во множестве находящиеся в диком хребте Парнаса. Возвращаться в сумерках по карнизам над пропастями было опасно и мы решили заночевать в ближайшем гроте.

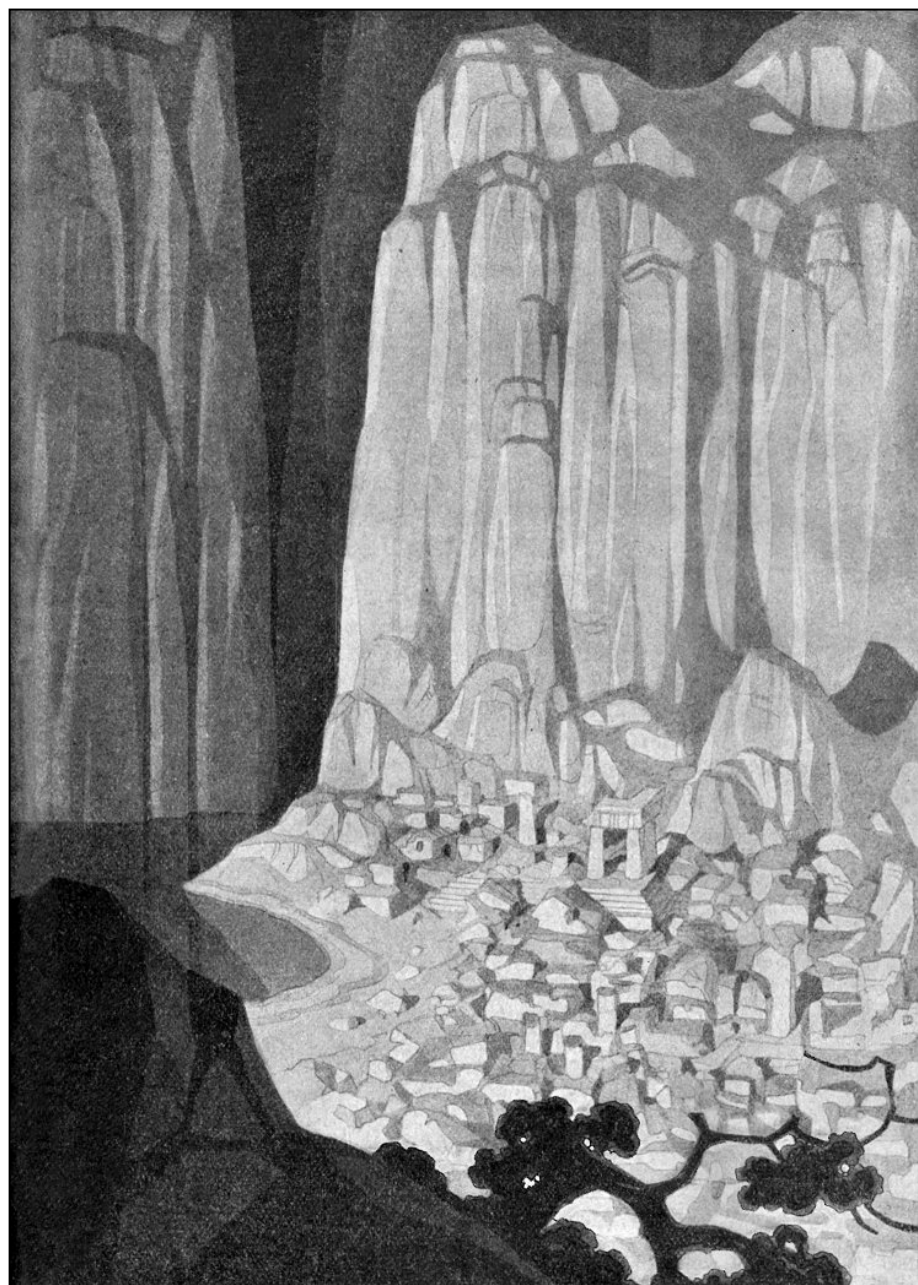
Пока рабочие собирали сучья и разводили огонь, мы присели на краю обрыва отдохнуть и полюбоваться миром, расстилавшимся у наших ног.

Дельфы лежали далеко внизу на желтых, ниспадавших уступах горы; там производились раскопки храма Аполлона и приметны были червячки — люди, уже закончившие работы, но еще копошившиеся между остатками колонн и стен. В жалких лачужках крошечного селения Кастри, приютившегося на краешке одной из террас, зажигались огни. Позади нас, как волны в бурю на море, без конца и без счета вздымались отвесные горы с обнаженными вершинами: Парнас — хаос известковых гор с обнаженными серебряными вершинами, изрезанный пропастями и ущельями; все их заполняет лес, косматый и мрачный; вечная ночь стоит под его вековыми елями, густыми орехами и лаврами. Шум их и шум потоков — вот и все, что слышит там ухо. Изредка, впрочем, с грохотом срывается со скал камень и стопудовым мячом прыгает по откосам, с треском сокрушая все на пути своем.

Человека там нет и следа. Человек ушел вправо, вдаль от грозных суровых скал, в сплошное дымно-зеленое море оливковых рощ, сбегających к лазурной бухте Коринфского залива, окаймленной красно-лиловыми утесами.

Когда-то здесь, в нынешнем царстве мертвых, ключом кипела жизнь; на ярусах горы, где уныло торчат теперь изъеденные временем бурые остатки стен, раскидывался знаменитейший в мире город Пифийского Аполлона.

О необъятных богатствах его свидетельствуют, начиная с Гомера, все современники; красноречивее их говорит запись о грабеже фокидцев, разбойнически захвативших храм; они вывезли из него золотых и серебряных вещей на десять тысяч талантов, то есть почти на сто миллионов рублей.



В храме висело, между прочим, и ожерелье прекрасной Елены, виновницы Троянской войны.

Чтобы судить о древности храма, напомним, что только перестроен он был в половине шестого века до Р. Х.

Все города соперничали в чести ставить в Дельфах мраморные изображения своих выдающихся людей: философы, победители на олимпиадах, полководцы, все талантливое и все события увековечивались в мраморе на этом всеэллинском Пантеоне.

Многие статуи покрывались золотом. Аллеи их и дымящихся золотых и серебряных жертвенников окаймляли все террасы, высились на каждой свободной пяди земли. Плиний, посетивший Дельфы после грабежа Нерона, увезшего пятьсот статуй, насчитал их три тысячи; Павзаний — путешественник второго века по Р. Х. — называет город сплошным скульптурным музеем. Знаменитейшие художники древности — Андросфен, Пракситель и Фидий — отделявали и украшали храм, театр и другие здания города любимейшего в Греции солнечного бога.

Не было кругом ни одного уголка земли, из которого не смотрела бы седая легенда!

Две исполинские скалы, почти касавшиеся друг друга вершинами у ног наших — были братья Федриады. Там, в узкой трещине между ними, гнезился когда-то страшный Пифон-змей, убитый Аполлоном; из-под них выбивается и впадает в пропасть Кастальский ручей — превращенная в ключ красавица-нимфа Касталия.

Источник Мнемозины, река забвения Лета, исчезающая под землей, пещера Трофония, Херонейское поле и т. д. — все это, кутаясь в сумерки, лежало ниже нас в окрестностях Дельф.

Было чего замечтаться, лежа над пропастью.

— А к нам кто-то на огонек идет! — проговорил один из товарищей.

Я оглянулся: путник, пробирающийся со стороны Парнаса, да еще в такое позднее время — явление необычайное!

По узкой тропинке подымался высокий грек в белой фустанелле и феске.

Подойдя к нам, приложил руку ко лбу и к груди и сел на выступ скалы неподалеку от меня.

Бритое, как у актера, сухое и морщинистое лицо незнакомца резко шло вразрез с одеждой его и напоминало скорее голландца или финна. На небольшом, прямом носу его были надеты сильные очки, делавшие преувеличенно-большими серые глаза. Он снял феску и под ней оказались седые, коротко остриженные волосы.

— Вы французы, господа? — обратился он к нам на безукоризненном языке Парижа.

Мы сказали, кто мы.

Старик как бы несколько удивился и обрадовался.

— Русские большая редкость в здешних краях! — говорил он. — Внизу в Дельфах работают французы и я думал, что и вы из них. Вы тоже археологи?

Я сообщил ему все, что его интересовало и в свою очередь спросил о его имени и национальности.

— О! — неопределенно произнес незнакомец. — Я так давно живу здесь, что уже начинаю забывать, кто я и откуда! Меня зовут здесь Аггиос!

Старший рабочий принес эмалированный чайник с кипятком, чашки и коробки с консервами.

Увидев гостя, он чуть было не выронил из рук все принесенное, затем низко поклонился ему.

Незнакомец кивнул в ответ головой.

На плоском, большом камне устроился импровизированный стол; мы пригласили гостя разделить с нами трапезу и расположились ужинать.

— Вы, вероятно, заблудились в горах; где вы живете? — обратился к старику один из моих товарищей.

Он улыбнулся.

— Нет, — ответил он. — Заблудиться я не могу!..

— Какая чудная ночь! — добавил он, помолчав.

Действительно, ночь уже окутала землю; Дельф видно не было; где-то в глубине черной бездны, как светляки, мерцали огоньки деревеньки. На синем бархате неба все ярче и ярче разгорались крупные алмазы звезд. Шум Кастальского ручья доносился из пропасти явственней.

— Волшебная сказка! — проронил мой товарищ. — Я понимаю, почему здесь так разыгрывалась фантазия у древних...

— Фантазия? — переспросил наш гость и медленно покачал головой. — Ей вообще очень мало места на земле: она только отзвук давным-давно забытого минувшего! Человечество не в силах создать что-либо невиданное или неслыханное им: оно может только разукрасить его!

— Значит, китайские драконы или наши Змеи-Горынычи тоже были в прошлом?

— Несомненно! — с глубокой уверенностью ответил старик. — А летающие птеродактили, а всякие бронтозавры и плезиозавры — разве не ясно, что именно их видело на заре своей человечество?

— Это не доказано!

— Доказано больше, чем надо: существованием легенд.

— Дыма без огня не бывает! — добавил второй мой спутник, молча ужинавший и затем закуливший сигару.

— Ну, господа, на таких основаниях можно Бог вести куда зайти, — заволновался начавший спор со стариком. — Тогда, значит, можно утверждать, что и здесь, — он указал рукой на Парнас и Дельфы, — действительно жили и гуляли между людьми боги?

— Так оно и было! — подтвердил старик.

На секунду-другую воцарилось молчание.

— Это вы уж слишком... — проговорил опешивший товарищ.

— Что вы называете богом? — продолжал Аггиос. — Для собаки бог — всякое двуногое существо, для дикаря — всякий белый, держащий ружье в руках. Боги древности — это только остатки высокоцивилизованных племен, доживавшие свои дни среди дикарей...

— Как же могла случиться такая невероятность?!

— Это закон истории, а не невероятность, — спокойно ответил Аггиос. — Культура и знание всегда сосредотачиваются в конце концов в замкнутой кучке людей, а вся остальная масса опять опускается, до каменного века включительно. Жизнь мира — это мертвая зыбь океана: подъем

до зенита культуры и падение во мрак и дикость. Великих ученых сменяют пастухи, шелк и бархат — звериные шкуры. Вспомните историю Греции, Египта, Ассирии, Вавилона, обоих материков Америки! Каждая пядь земли пережила все то же не раз!

— Да, но ведь Греция возникла на самой заре человечества и наука не знает ее предшественников.

— Наука много еще чего не знает! — возразил Аггиос. — Это слепой, идущий на чей то далекий зов. Земной шар насчитывает за собой миллионы миллионов лет, испытала тысячи переворотов. Нам известно лишь кое-что, песчинка того, что было лет тысяч пять назад — и только. Смешно подумать, что мир кончается там, дальше чего не хватает наш глаз!

— Сохранились бы остатки какие-нибудь от тех времен: строения, вещи, но их нет!

Старик опять покачал головой.

— Есть предел жизни и камня, и металла. Вечно только одно: слово. И имеющие уши слышать — слышат его: это мифы и легенды неведомых нам веков.

— Все это красиво, но не доказано! — повторил мой товарищ. — Я верю только в то, что так же установлено, как дважды два четыре!

Старик наклонил голову.

— Прекрасное правило!.. — серьезно добавил он.

Наступило молчание.

— Однако, господа, пора бы подумать и о ночлеге! — заявил второй мой спутник, видимо, относившийся к беседе с незнакомцем, как к гастрономической приправе ужина.

Он встал и бросил в пропасть окурок сигары.

Поднялись и все остальные.

— Вы с нами, надеюсь, заночуете? — обратился я к Аггиосу.

— Пожалуй... — произнес тот.

Мы подошли к узкому входу в пещеру, перед которой горел костер; около него лежали и грелись рабочие; становилось довольно свежо.

Пещера имела вид длинной и низкой комнаты; у стены уже были расстелены наши походные войлоки.

— Вам будет здесь плохо! — заметил Аггиос, мельком глянув вокруг.

— Почему? — спросил я.

— Замерзнете: вспомните, на какой высоте мы находимся!

— Что же делать, на дворе будет еще хуже.

— Зачем же спать на воздухе? Надо спуститься ниже, здесь есть следующий этаж!

Станный гость наш уверенно пошел вперед; я зажег электрический фонарь и, действительно, в глубине пещеры оказался за выступом узкий проход, довольно круто спускавшийся куда-то в непроглядный мрак.

Товарищи мои — боясь духоты и змей — переменить место ночлега не пожелали и я решил остаться с ними.

— Тогда простимся, господа: я завтра уйду до света! — обратился к нам Аггиос.

Мы потрясли его сухую руку и он исчез, словно вошел прямо в стену.

— Странная личность!.. — проворчал споривший с ним мой спутник, укладываясь на свой войлок.

— Друг мой, все мы в семьдесят лет будем странными! — философски заметил другой, закутываясь в одеяло.

Я подозвал старшего рабочего и спросил, кто такой Аггиос.

Грек покосился на дальний конец пещеры.

— Там никого нет! — заметил я.

— Как, а где же господин? — с удивлением спросил грек.
— Никто не выходил отсюда!..

Я пояснил, в чем дело.

— Не знаю, как вам сказать... — вполголоса проговорил рабочий. — Мне сорок лет, а мой дед и прадед знали господина все таким же старым.

— Что вы говорите?! — воскликнул я. — Это невозможно!..

Грек пожал плечами.

— Так говорят все франки и инглезы... И все-таки слова мои — правда.

— Где он живет? Что делает?
— Живет в горах. Его редко видят люди...
— Кто же он такой? Как его имя?
Грек опять поднял плечи.
— Кто может знать? — ответил он. — Говорят, он один из богов наших предков...
Я махнул рукой и отправился на свое место.
Скоро мы заснули.

Жестокий холод разбудил меня. Стояла глубокая ночь; в пещеру глядела узкая полоска звездного неба; костер почти угас и последние вспышки дотлевавших ветвей нет-нет и освещали на миг красноватым светом неподвижные фигуры моих спутников. Я стал пробовать съезживаться, укрывался с головой — ничего не помогало; наконец, сделалось невмоготу. Я сбросил одеяло, захватил под мышку постель, зажег фонарь и отправился по следам Аггиоса.

Спать мне хотелось невыносимо, дневная усталость сказывалась в полном бессилии, овладевшем мной; не разбирая неровностей спуска, натываясь на выступы скал, забыв о всяких змеях, я, шатаясь, прошел сажень двадцать и очутился в высоком, напоминавшем часовню гроте. Среди него имелось что-то вроде возвышения. Охватила живительная теплота.

Почти бессознательно, кое-как устроил я себе ложе на возвышении, повалился лицом в подушку и сейчас же погрузился в каменный сон.

Что-то холодное, отвратительное скользнуло по моему лицу; я отмахнулся рукой и поднялся. Не было видно ни зги. Выхватить из кармана фонарь и нажать кнопку было делом одной минуты.

Свет небольшим кружком упал на мою подушку; я провел им по бурым камням, затем по углам грота: ни змеи, ничего живого нигде не было. Стояла неизъяснимая тишина.

Обводя светом стенку слева от себя, я заметил узкую трещину около сажени вышиною. Луч фонаря скользнул в ее черную глубину, смутно обрисовал обширную пещеру и вдруг наткнулся на что то белое; я распознал человеческую фигуру, сидевшую на полу.

— Я знал, что вы придете! — проговорил голос Аггиоса. — Идите же сюда, здесь лучше!

Я собрал свое имущество и протиснулся в соседний грот.

Только что я переступил в него, ступни ног моих сразу утонули в чем-то мягком, как пыль.

Я устроился шагах в двух от старика и лег.

— Как мягко! — заметил я.

— Немудрено: в этой пещере много столетий подряд погребали мертвых. Попробуйте рукой землю: мы лежим на прахе тысяч людей; толщина его здесь аршина два.

— И черепа тут есть? — спросил я, в надежде получить благоприятный ответ.

Черепа — моя слабость; краниология, это компас историка.

— Нет! — слышалось в темноте. — Все давно перетлело!

— А хотели бы вы воочию повидать прошлое? — спросил, помолчав, мой собеседник.

— Еще бы, — ответил я.

— Тогда идемте...

Что то шелкнуло, и яркий белый свет наполнил пещеру. Я зажмурился, ослепленный им.

Когда я открыл глаза, Аггиос стоял, держа за дужку необыкновенный фонарик, похожий на ослепительное яблоко из горевшего, но не сгоравшего магния.

Мы находилась в огромной пещере; высоко над нами висел неровный свод; тремя черными зевами глядели с разных сторон отверстия неведомых ходов. Аггиос, неся лучезарный фонарь, вошел в один из них и мы начали спускаться по бесконечной извилине; несколько раз мы попадали в пещеры большие и маленькие; Аггиос шел, не останавливаясь.



Кто бывал под землей, тот знает, как причудлив и страшен подземный мир. В нем нет ничего напоминающего, хотя бы по формам, поверхность земли. Ее творила разумная, светлая сила; недра земли создал безумный гений. Там все навыворот, все неожиданность и невероятность, все извилисто, скручено и неожиданно, начиная с колонн из сталактита и кончая храмами со свисающими со сводов их целыми скалами: всюду причуды и хаос. Именно там, в глубоком мраке, могли зарождаться страшные чудовища древнейших эпох!

Сон отлетел бесследно.

Никогда, пользуясь простым магнетизмом, мне не доводилось видеть в таких мельчайших подробностях тайны земли! Я жадно озирался, стараясь запечатлеть в памяти все подробности необыкновенного пути.

Легкий запах какого-то газа ощущался в воздухе; он делался все сильнее и затем вдруг повеяло свежестью.

Аггиос повернулся ко мне.

— Сейчас придем! — проговорил он. — Я погашу фонарь, держитесь за меня.

Раздался слабый треск, и все разом поглотил мрак.

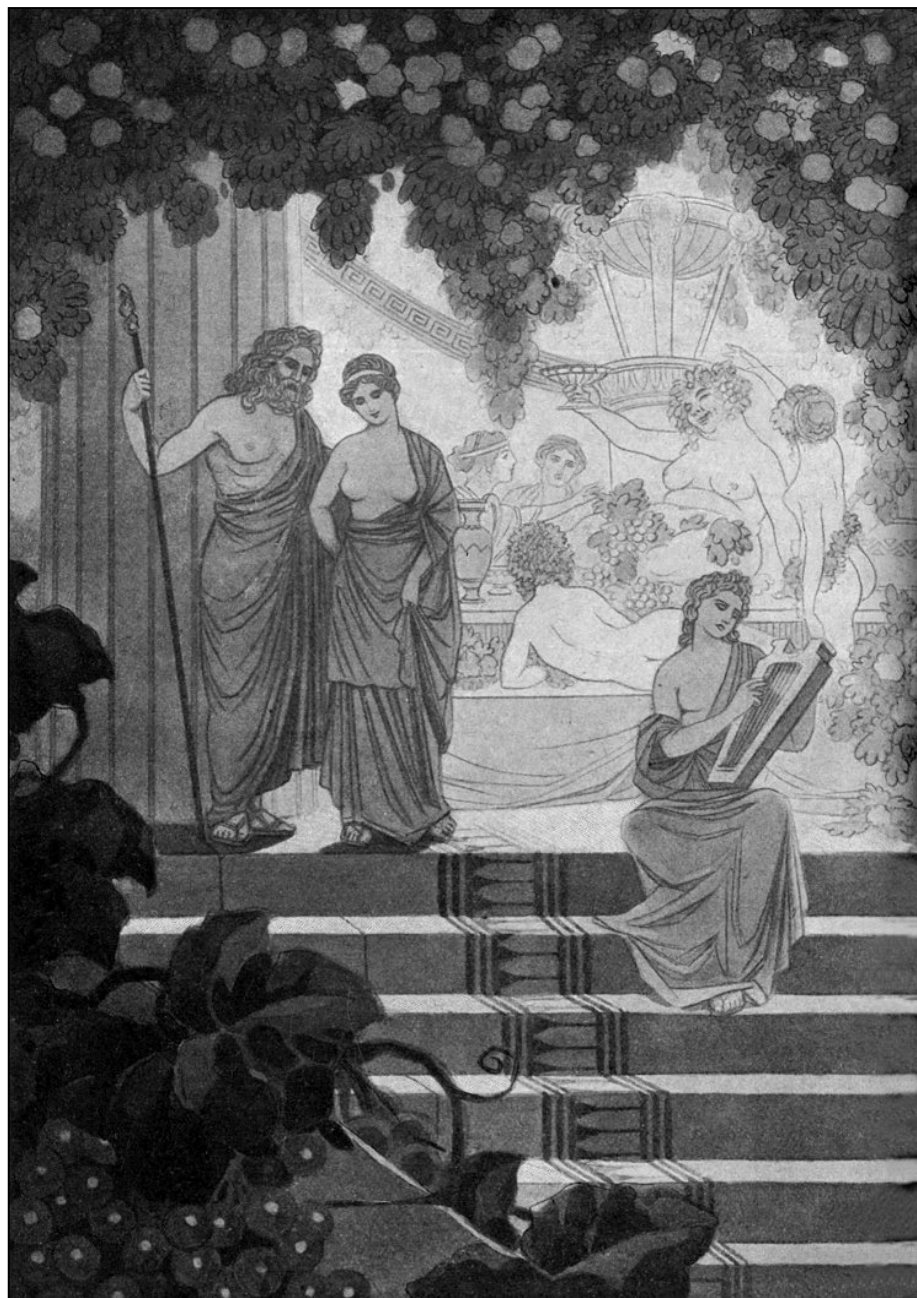
В глазах у меня завертелись зеленые круги; мы постояли с минуту и тронулись дальше.

Воздух становился все свежее; на меня вдруг глянуло синее небо; впереди смутно очертилась небольшая, залитая лунным светом площадка; мы вышли из пещеры и остановились над темной пропастью.

— Как здесь хоро... — начал я и слова замерли у меня в горле.

Справа, в трех-четырех десятках шагов от меня, вздымался величавый, белый дворец. Из многочисленных громадных окон его лился свет и не месяц, а он, озарял нашу площадку.

Мы стояли перед мраморными длинными ступенями лестницы, ведущей на широкую террасу; за колоннадой ее, за убранными цветами столами возлежали и пировали люди. Звучала струнная музыка, прерываемая веселыми кликами: шла оргия, настоящая оргия древности!



Мне сразу бросился в глаза атлетически сложенный красавец-старик с румяным лицом, весь в серебряных волнах гривы кудрей и головы. Он что-то нашептывал слушавшей его с лукавой улыбкой собеседнице, а близ них, за колонной — вся напряжение и внимание — стояла полногрудая, статная женщина со сдвинутыми черными бровями и слушала их беседу.

— Зевс и его жена! — прошептал Аггиос.

Но я уже сам узнал богов: захмелевший, мрачный, чернобородый Вулкан спорил с могучим, спокойным Марсом; белую, как пена морская, Венеру и венок хохотавших, опьяненных богинь вокруг нее потешал краснорожий Вакх, сидевший на столе.

На ступенях террасы виден был погруженный в думы, грустный, белокурый Аполлон, перебиравший струны лиры.

Через минуту-другую я увидел, что боги постарели. Они выглядели не стариками, но что-то изжитое и усталое было в их лицах.

Ниже, не смея коснуться ступеней дворца, сидели и лежали, слушая печальные, звавшие и будившие душу звуки, тесные кучки всклокоченных людей. На голых телах их были накинута звериные шкуры.

Сноп огней и ракет взвился над дворцом и люди в шкурах попадали на колени, молитвенно простирая руки к пиравшим. Несколько вечных юношей сбежали вниз, рассыпались среди почтительно склонившейся толпы, схватили за руки девушек и исчезли в них в саду.

— Эвое! Эвое! — раздалось то здесь, то там из темных кущ его.

Ракеты опять осветили погруженную во тьму гору за дворцом и я успел рассмотреть, что то, что казалось мне скалами — громадный город, но безмолвный, давно безлюдный и разрушавшийся...

— Там все мертво! — проронил Аггиос, указывая на город. — Последние боги... Последние дни их!..

Мимо пирующих, словно не видя никого, слегка закинув назад гордую голову, с презрением на лице, прошла легкой поступью богиня Диана. На своре она держала двух

великолепных охотничьих собак.

И вдруг одна из них ошетичилась, уставила на меня вспыхнувшие фосфором зрачки свои и завывла. Бешено залаяла, бросаясь на дыбы, и вторая. Строгое лицо Дианы повернулось в мою сторону; не сводя с меня цепящего взгляда, она медленно стала отстегивать собак.

— Бегите скорей! За мной! — крикнул сдавленным голосом Аггиос и, схватив меня за руку, повлек к пещере.

— Изменник здесь! — раздался позади нас возглас.

— Измена! — шумно пронеслось среди пировавших.

За нами слышался яростный лай. Аггиос на бегу зажег фонарь и мы помчались, прыгая через камни, ямы, ударяясь смаху на поворотах всем телом о стены. Собаки зализались все ближе и ближе...

Вдруг Аггиос поскользнулся и рухнул, взмахнув руками, на осыпь скалы. Свет потух.

— Бегите! — прохрипел Аггиос. — Все прямо здесь.

Не помня себя, задыхаясь от бега, я шарахнулся вперед, но почти тотчас уже ударился о стену; кинулся в другую сторону и руки мои опять охватили глыбы земли.

Собаки настигли уже Аггиоса и рвали его.

Я хотел закричать — и не мог, не было голоса.

— Смерть! — пронеслось в голове моей.

В ту же секунду в ногу мою вцепились зубы пса. Я ударил его ногой и... проснулся.

Брезжило утро; мутно-серое небо глядело в пещеру. Товарищи и рабочие спали.

Я сел, крепко прижимая рукой колотившееся сердце и озирался, не понимая, в чем дело.

Значит, все, что произошло сейчас, я видел во сне? но ведь я лег спать в нижней пещере, как же я очутился в верхней?!

Я быстро вскочил и вышел наружу, силясь разгадать происшедшее.

На меня глянули знакомые, отвесные скалы Парнаса; у верхушки одной из них, приткнувшись, стояло заночевавшее облачко; на дне пропасти дымился туман. У входа в пещеру и на середине тропки, ведущей вниз, алели свежие

следы крови.

Я тронул за плечо старшего рабочего. Он откинул с за-
спанного лица одеяло и приподнялся.

— Здесь кровь около вас! — сказал я. — Что такое случи-
лось?

— Это кровь господина, — проговорил грек, глянув на
пятна. — Он поранил себе ногу и только что ушел отсюда.
Господин приказал передать вам, что все кончилось бла-
гополучно и чтобы вы не беспокоились.

Михаил Первухин

ГОНИМЫЕ БОГИ

(Из итальянских легенд)

На самом берегу моря, в глубине великого залива, поблизу от города Таранто, есть место, куда не заглядывают ни один иностранный турист, да не очень-то охотно заглядывают и местные жители. «Bosco Sacro» — «Священная роща» — зовется этот угол. Но нет там и следа не только рощи, но даже хотя бы и отдельных деревьев. Грудами лежат голые серые камни, лишь кое-где меж ними пробивается чахлая, всегда сухая и хрупкая, как стекло, колючая трава. В щелях меж камней — не земля, а словно серый пепел. Был когда-то здесь ручей и, по-видимому, многоводный, буйный. Но теперь почти всегда сухо усеянное мелкими голышами его ложе.

А с местностью этой связана Бог весть сколько столетий тому назад родившаяся странная легенда о «гонимых богах».

Вот она:

В дни древности здесь стоял языческий храм, посвященный Диане Девственнице. За храмом шла пышно разросшаяся роща, считавшаяся священной, и через рощу протекал чудесный ручей с кристально чистыми водами, а дальше в глубине маленькой бухты стоял рыбацкий поселок, и в самой бухте, защищенной скалами от волн и ветров, — держались, словно стая водяных птиц, — барки и лодки местных жителей.

Было, и прошло.

На смену одряхлевшему язычеству пришло христианство. Долго шла жестокая борьба двух культов. Сначала язычники преследовали и угнетали христиан, разоряя их храмы, потом, окрепнув, сами христиане принялись истреблять храмы языческих богов и разрушать их статуи. И когда, — это было в дни императора Константина, — христиане окончательно одолели, — буйная толпа из соседнего городка разрушила старый храм Сребролукой, проникла в рощу, свалила с пьедестала античную статую богини и разбила ее ломами и топорами, а куски мрамора бросила в море. Но на чудесно разросшуюся рощу из кряжистый дубов, гордых пиний и молитвенно устремляющихся к небу кипарисов — толпа христиан не посягнула, топор не поднялся.

Прошли годы. Христианство торжествовало повсюду. Тогда в его недрах началось новое движение: везде и всюду стали появляться отшельники, стремившиеся к уединенной жизни, чтобы уйти от греховного мира и ждать кончины в созерцании и размышлении. Появился один такой отшельник и на берегах залива. Сначала поселился в какой-то выбоине в скале, потом перебрался в бывшую священную рощу, своими руками соорудил там убогую хижинку, развел маленький огород, и на мысу над вечно волнующимся морем поставил неуклюже сделанный, но издалека заметный крест. Весть о появлении отшельника разнеслась по окрестностям, и многие стали приходить к нему, но старик Амвросий дичился людей.

Нашлись люди, занявшиеся соглядатайством за стареньким отшельником. И вот, стали ходить странные слухи по окрестностям священной рощи, где жил Амвросий: видели его бродящим по развалинам храма Дианы и о чем-то сокрушающимся. Подглядели, как прибегали к порогу его хижины безбоязненно дикие звери, и он ласкал и кормил их. Но этого мало: кое-кто видел и то, что лунными ночами к единственной уцелевшей на огромном пространстве Священной роще язычников и светлому ручью пробирались по тропинкам и по бездорожью странные существа: нежные стройные дриады и зеленоглазые наяды, козлоногие фавны. И кто-то подглядел, как эти уже всеми отверженные существа толпились вокруг отшельника, а он не только не гнал их, но дружелюбно беседовал с ними.

Слухи дошли до местного епископа. Тот послал своих слуг и ученого диакона Арсения — испытать отшельника в вере. Арсений, опросив Амвросия, донес, что старик хоть и не проявляет большой учености, но символ веры и заповеди знает твердо, кресту поклоняется и ведет жизнь аскетическую. На время Амвросия оставили в покое, но потом опять пошли темные слухи, и вот, сам епископ решил расследовать дело лично и, выбрав удобное время, отправился в Священную рощу. Придя туда после полудня, он без труда разыскал хижину отшельника, освидетельствовал ее: все в порядке. На стене висит крест с изображением Распятого,

на грубо сделанном столе — пергамент с текстом молитв. Но сам-то отшельник отсутствует. Епископ отправился искать его в роще, — и нашел на берегу ручья, но в очень, признаться, странной компании: седобородый отшельник с крестом в руках восседал на камне и громко рассказывал о земной жизни Христа, а на песчаном бережку толпились мохнатые козлоногие фавны, за ними — прикрывающие свою наготу свежесорванными листьями дриады, и в кристальных водах ручья — стройные наяды и уродливые тритоны. Какая-то молодая нимфа-мать, не смущаясь присутствием посторонних, на бережку, расположившись у ног отшельника, кормила грудью своего младенца, сына сидевшего тут же в глубоком раздумье сатира.

Епископ почти обезумел от негодования и с воплем, размахивая своим тяжелым посохом, ринулся на слушателей отшельника, рассыпая удары. Но ни один из этих ударов не попал в цель: вся толпа отверженных всколыхнулась и с невероятной быстротой разбежалась. Остался один отшельник. На него-то и набросился епископ, крича:

— Так вот какими делами темными ты занимаешься?

— Но разве темное дело — проповедовать слово Божие? — возразил тот.

— Людям надо проповедовать, а не нечисти языческой, не погани лесной!

— Да, но ведь и они — тварь Божия! Да и несчастные какие...

— Враги рода человеческого! Бесы злокозненные! — вопил епископ.

— Ну, какие же «враги» и какие же «бесы злокозненные»?! — запротестовал робко отшельник. — Наплетено на них много. Вон, возьми, отец святой, дриад: кому и когда хоть какое зло делают? Родится по воле творца деревце — с ним родится и его душенька. Тихая, робкая, светлая, прекрасная. Это и есть дриада. Живет дерево, никого не обижая, живет и дриада. Только что любят по ночам на лужайках порезвиться: хороводы водят. Да и наяды: кого обижают? Ведь это же сказка, будто они людей в омуты затаскивают.

— А сатиры?

— Что сатиры? Может быть, раньше, когда язычество в силе было и люди их боялись, они, чувствуя свою безнаказанность, и пошаливали. Да ведь, и то взять: разум-то их малой? Вот, тут повадился ко мне старый-престарый сатир один. Еще при цезаре Нероне, говорит, жил возле Рима. А разума у него — как у козла. И сейчас — это прожив чуть не четыреста лет — бодаться любит. Крепость лба пробует. А сам — облезлый весь. И беззубый. Дам ему хлебца кусок, так он голыми деснами жует, жует, а размочить в воде сам никогда не догадается. Приходится мне ему, дурачку, и хлеб же размачивать. Я-то помоложе его...

Епископ чуть не задохнулся от негодования: так вот какие дела. Верующие отшельнику хлеб в подавание приносят, а он, выживший из ума, своими руками эту снедь в рот нечисти поганой запихивает!

Чуть не предал анафеме епископ отшельника, и строго-настрого запретил ему впредь якшаться с нимфами, дриадами, сатирами, тритонами.

— А чтобы нашу страну от этой нечисти избавить, — закончил он, уходя в город, — завтра же пришлю из города слуг моих: пусть сведут всю рощу языческую! Пусть погибнет последнее убежище погани нечистой!

И ушел, бормоча угрозы.

* * *

Не спалось в эту ночь старому отшельнику. Попробовал молиться — не молится что-то: кручина одолевает. Жаль «отверженных»! Ведь вот, беда какая! Раньше люди им как поклонялись, как чтили, как заискивали! Дарами осыпали. Преклонялись. А теперь — словно мстят за это. Злоба людская неразумная!

И потекли слезы по морщинистому старческому лицу, по склоченной седой бороде. Не выдержал отшельник: вышел из хижины. Глядь — а отверженные, гонимые толпятся вокруг хижины. Фавны стонут. Дриады и нимфы ломают

белые руки и рыдают. Хорошо знакомая старику молодая нимфа-мать протягивает к нему своих двух козлоногих близнецов, молит:

— Спаси хоть их-то! Чем они же виноваты? Спаси!

И весь лес загудел:

— Спаси! Спаси!

— Дети мои, дети! — воскликнул старик. — Как спасти-то? Жалко мне вас, да что могу я сделать?

— Спаси! Ты можешь! Тебя новый Бог любит. Ты мудрый. Спаси! Не дай погибнуть. Уведи нас отсюда! Ты можешь...

— Когда так — идите со мною! — крикнул отшельник. — Уйдем отсюда!

И увел их из рощи. Провел к морскому берегу, к бухте. И там, пользуясь глубоким сном рыбаков, усадил их на стоявшие в бухте суда. И подняли они паруса, и ушли, уплыли в море. И никто не знает, что случилось с ними. А утром в Священную рощу явились слуги епископа, и срубили деревья, и свалили их в один гигантский костер, и подожгли. И сгорела тысячелетняя роща. А там, где она была — теперь пустыня. И пересох светлый ручей.

Михаил Первухин

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА

(Из итальянских легенд)

...Вы, конечно, вольны верить или не верить, — это дело ваше. Но мы-то, живущие на Капри, знаем, что *это было*. Мы и раньше догадывались до истины по многим безосновательным признакам. А потом узналась вся истина. Теперь кто говорит, будто дон Чирилло, священник, бывший исповедником Сальватора, проговорился, а кто ссылается на старого доктора Черио, лечившего Сальватора и будто бы записавшего его показания. Во всяком случае, — мы истину знаем.

Был у нас, на Капри, молодой рыбак без роду без племени, по имени Сальватор Карбоне. Конечно, бедняк, голыш. Но веселый, певун и, правду сказать — очень красивый парень.

Однажды, — а было это в июле 1908 года, — мы потом и дату точно установили, — вышло так, что Сальватору, отправившемуся в море с другими рыбаками, — пришлось на ночь остаться в одиночку на пустынном берегу у входа в Сарацинский грот. Почему так вышло — долго рассказывать. Не стоит...

Ну вот, остался он на берегу. А всего-то берега там, как вы знаете, два десятка квадратных метров. Спереди — море, сзади — отвесная скала «Monte Solaro», «Горы Солнца». Да пещера с внутренним бездонным озерком. Место, надо признать, довольно зловещее и днем, а уж ночью и совсем жуткое. Наши рыбаки испокон веков это место недолюбливают. И грот какой-то угрюмый: совсем не то, что волшебный Лазурный грот.

Вот, едва уплыли другие рыбаки, — Сальватор расположился на берегу, развел небольшой костер и стал варить на его огне уху в захваченном с собою котелке. А покуда уха варилась — принялся тренькать на неразлучной гитаре, да напевать старинную песенку об искателе жемчуга и трех красавицах-сестрах, предлагавших ему свою любовь. Спел, а потом вздумал насвистывать. Ага! Вижу, что вы начинаете догадываться. Еще бы! Ведь даже малые ребята знают, что у моря, да еще ночью, свист — дело весьма рискованное!

Вот, прошло так некоторое время, уха уже закипала. Тут словно кто толкнул Сальватора — оглянулся он, и видит: в двух шагах от него, при выходе из пещеры, стоит на камне молодая женщина. И что его поразило — так это даже не ее неожиданное появление в таком месте, а ее одежда, если только можно еще назвать одеждой то, что на ее теле было... Высокая, стройная, с телом белым, как морская пена, — она имела на себе только два странных щитка из нанизанных на нити жемчужин (эти щитки прикрывали ее груди), да юбку, если только это еще можно назвать юбкой. Попросту говоря, был на ней чеканный золотой с разноцветной эмалью пояс, а от пояса вниз шли длинные нити с жемчужинами, алмазами и рубинами, лишь здесь и там прихотливо сплетавшиеся кружевным узором. На шее было ожерелье из массивных золотых монет, на гордой головке — диадема обручиком, с большим алмазом впереди. А целая грива золотистых волос прикрывала ее нагие плечи и спускалась на спину ниже пояса.

Что должен был подумать при появлении этой странной красавицы Сальватор? Во всяком случае, ему и в голову не пришло видеть в этом нечто сверхъестественное: подумал, что это какая-нибудь эксцентричная «форестьерка» (иностранка), скорее всего — русская или американка.

Смутил его костюм. Но, опять-таки, мало ли какие фантазии приходят в голову забирающимся на Капри иностранкам. Вот, сколько местные власти бились, чтобы убедить молоденькую княжну Горчакову не показываться на народе в костюме французского зуава?!

Покуда Сальватор разглядывал странную красавицу, — та подошла, спокойно опустилась почти рядом с ним на камень и осведомилась, — зачем он варит рыб. Получив соответствующий ответ и приглашение, — сказала:

— Так вы, земные, сырой рыбы не едите?

А попробовав, — нашла, что это вкусно. Как будто никогда не пробовала вареной пищи вообще...

Жадно глядевшего на пришелицу Сальватора привлекала и ее несказанная красота, а еще больше — то богатство, которое она имела на себе в виде украшений: ну, пусть,

может быть, эти перлы и алмазы — подделка. Но ведь одно ожерелье из золотых монет с подвесками — целое состояние для бедного человека. А браслеты? А перстни, броней заковавшие ее пальцы? А пояс с привешенным к нему на золотой цепочке веером?

Ну, а потом примешалась и другая мысль: женщина, по существу — нагая с головы до пяток, и в пустом месте, и совершенно безоружная. И случись что — кричи, не кричи, — никто на помощь не придет. А сидит, словно не понимая своего положения, и словно дразнит своею наготой, своей красотой и своей беспомощностью...

Глухо вымолвил:

— И как это вы, синьорина, не боитесь? Долго ли до греха?!

Как будто удивилась. Задумалась на мгновение. Весело засмеялась.

— А кого же мне бояться? Земных тварей, что ли?! Да у меня и охрана есть! Сторожей имею.

— Каких? — заинтересовался Сальватор. — Собак, что ли, при себе держите?

— Морских собачек! — небрежно ответила красавица. — Хочешь видеть? Вон одна...

В морских волнах, тихо катившихся к скалам, плавало, извиваясь, колоссальное веретенообразное тело с зубчатой спиной. Чудовищно уродливая голова величиной с бочку поднималась над водой на высоте сажени, и два странно выпуклых глаза величиной в большую тарелку мертвым взором глядели на него, Сальватора.

— Н-не надо. Не надо! — выдавил из себя Сальватор, почти теряя сознание.

Красавица махнула рукой, и чудовище исчезло. А Сальватор припал к фляжке с вином и пил, пил, покуда красавица не отняла у него сосуд.

Вошла поздняя луна, и была она красна, как кровь, и диск ее казался непомерно огромным. И было что-то злое в ее свете. Но странно — этот злоеущий свет все же разгонял тяжкие чары, навешанные на Сальватора созерца-

нием «Морской собаки». И как-то возвращал к обыденной жизни.

Осмелев, Сальватор сказал:

— Верно, синьорина, у вас отец очень богат. Такое ожерелье тысяч пять стоит!

— Я сама его смастерила! — ответила красавица. — Тут поблизу на дне морском лежит старый испанский галеон с золотом. Я подобрала несколько монет...

— Так вы таки нашли «испанское золото»? — задохнулся Сальватор. — Мадонна. Вот бы мне такое счастье!

— Разве у вас мужчины носят ожерелья? — удивилась красавица. — Странно. Но если хочешь, возьми эту игрушку себе. Мне она уже надоела!

— Мадонна! — опять задохнулся Сальватор, беря дрожащими руками золотое ожерелье и перебирая его монетку за монеткой. — Мне? Мадонна? Да я собственной баркой обзаведусь. Дом куплю... Если только хватит, впрочем....

— Хочешь, я тебе еще несколько пригоршней монет дам? Их так много на дне. И никому они не нужны...

— Синьорина!

— Хорошо. Но... повесели меня! Спой песню. Сыграй на своем инструменте. Расскажи, как вы, земные, живете. Да сядь поближе ко мне. От тебя идет теплота, а я зябну. Отчего ты дрожишь? Разве и тебе холодно?

И она обвинила его своими белыми, как кипень, руками, и прижалась к его груди своею грудью, и глядела ему в глаза, и целовала его.

.

А потом стало светать. И красавица поднялась с гальки, служившей им брачным ложем, и пошла ко входу в пещеру. Остановилась. Шепнула:

— Ровно через месяц. И смотри — никто в мире не должен знать. И еще: ни о кем я делиться тобою не могу. Ты — мой, и только мой! Понимаешь?

Исчезла. А через несколько минут издали донесся скрип весел в уключинах: ночь прошла, и рыбаки, товарищи Сальватора, плыли, чтобы забрать его на ловлю.

Когда Сальватор, считавшийся голышом, неожиданно отправился в Неаполь, и потом, вернувшись, купил парусную лодку, снасти, купил участок земли с виноградником, — все мы были в полном недоумении. Правда, Сальватор уверял, будто деньги ему оставила в наследство, умирая, старуха-тетка. Но какая там у дьявола тетка?! Ведь он же был подкидыш!

А тут, кстати, кто-то видел, как он менял в Неаполе старинные золотые монеты. Ну, и решили добрые люди, что Сальватору посчастливилось найти клад цезаря Тиверия. И многие кинулись в развалины дворца цезаря, но ничего не нашли. Долго бегали следком за Сальватором. Но и из этого ничего не вышло: кому же могло в голову прийти, что золото и драгоценные камни ему дает таинственная обительница Сарацинского грота?

С течением времени стали кое-что подозревать, установив, что раз в месяц Сальватор на лодке отправляется на пустынный берег и всю ночь проводит у Сарацинского грота. Чиро Федеригио и Джанни Мальдачена попытались выследить его там, и ночью поплыли на лодке. Да только что добрались до пролива между «Фаральонами» — неведомая сила перевернула их лодку и они чуть не потонули.

А Сальватор из месяца в месяц богател и богател. Обзавелся собственной виллой у Трагары, купил колониальный магазин, вошел пайщиком в компанию, строившую большой отель. Стал деньги давать на проценты.

Словом, из рыбака-голыша стал синьор синьором. Даже в консилеры коммунального управления баллотировался и прошел. И растолстел!

А чем это кончилось? Вот чем, синьор мой. В прошлом году Сальватор соблазнился и женился на старой, размазанной ростовщице из Неаполя. Думал, что «Морская царица» об этом не проведаст. Но она проведала... Когда Сальватор в условленную ночь отправился к Сарацинскому гроту, — она, «Морская царица», — чуть не испепелила его своими гневными взорами, и хоть он и валялся у ее ног, вымаливая прощение, — не простила. Только сжалилась — пощадила его жизнь. На его глазах крикнула что-то, и приплыла с моря та самая «собачка», которую один раз уже видал Сальватор, и уселась красавица на хребет чудовища, и уплыла. А Сальватор, не жив и не мертв, вернулся утром домой, и толстая неаполитанка не узнала его: в одну ночь поседел и постарел. И стал он хворать, и стал заговариваться, и все с попами да с врачами шушукался. А потом того... умер. И только после его смерти и выяснилась вся эта история. А вы хотите — верьте, не хотите — не верьте. Но мы-то, каприйцы, знаем, что все это *было*.

Михаил Первухин

ЗАГАДКА АЙРОЛО

Расположившись удобно в придвинутом к камину кресле и наполнив свой стакан кларетом, мистер Чарльз Мэвитт, член Палаты общин и знаменитый британский юрист, испытующим взором посмотрел на сидевшего у стола молодого врача Рэнсома, потом сказал расхаживавшему по кабинету хозяину дома, сэру Реджинальду Мэвитту, своему кузену:

— Ну, что же? Можем, пожалуй, и приступить! Кто из вас будет излагать дело?

— Разумеется, его лучше изложит сам Рэнсом. Но я должен тебя предупредить, Чарли: хотя я лично не имею ни малейших причин не доверять Рэнсому, моему ученику и бывшему ассистенту по работе в вульвичском морском госпитале, и хотя я не могу *a priori* отвергать возможность того явления, о котором нам сейчас расскажет мой юный коллега, ибо история приводит несколько подобных случаев, — но как человек практический — я советую Рэнсому не выступать в обществе врачей с докладом по данному вопросу и особенно не доводить его до сведения печати.

— Почему?

— Потому что никто словам Рэнсома не поверит. Уж это одно может неблагоприятно отразиться на его дальнейшей карьере. Но этого мало: поднимутся толки, повторится полемика. Найдутся добрые люди, которые обвинят Рэнсома или в шарлатанстве, или в стремлении создать себе рекламу. Сатирические листки подхватят эту кажущуюся столь невероятную историю и, попросту говоря — заклюют Рэнсома.

— Возможно, возможно! Наша печать очень распустилась за эти годы. Ей была дана полная свобода высмеивать «Неистового корсиканца», и у нее создалась соответствующая привычка. И, хотя Бонапарт уже умер в прошлом 1821 году, — сатирические листики от этой привычки не отстают. Но пусть говорит сам мистер Рэнсом. Итак, молодой человек?

Рэнсом вздрогнул, чуть покраснел и заговорил:

— Я сразу начну с самой сути. В заготовленной мною записке я, понятно, излагаю и предшествующие происшествию обстоятельства. Но этим вы, как юрист, сейчас едва ли

заинтересуетесь. Суть же вот в чем: возвращаясь три месяца назад из Италии, я остановился в горном местечке Айроло и проделал несколько экскурсий для исследования тамошнего ледника. Во время одной из этих экскурсий сопровождавший меня вместе с другими проводниками мальчуган уронил мою зрительную трубу, которая свалилась в расселину во льду. Проводники побоялись спуститься в расселину, я же не хотел потерять отличный инструмент, которым дорожил и рискнул лично спуститься на дно расселины. Там, в подобии ледяного грота, я нашел и мой инструмент, и... и тело какого-то человека. Оно было холодно, как лед, и твердо, как камень, но у меня явилась мысль, что, как врач, я обязан по крайней мере попытаться оживить замерзшего путника. Проводники помогли мне, и мы на спущенных ими мне на дно веревках вытащили замерзшего на поверхность ледника. Вот тут-то в первый раз меня поразило, что замерзший был одет как-то странно. На нем были высокие сапоги с раструбами, короткая меховая шуба странного покроя и фетровая шляпа, каких я никогда не видел. Шляпа эта будила во мне какие-то смутные воспоминания. Но рассуждать долго по этому поводу нам было некогда. Из альпенштоков и веревок мы соорудили подобие носилок и потащили найденного нами несчастливца в Айроло. Что должно было делать с замерзшим? Итальянского врача в маленьком поселке не было. Единственным человеком, могшим оказать ему помощь, был я. За неимением больницы — я взял замерзшего в тот дом, где я жил. Разумеется, туда собралось почти все население Айроло. Невежественные обыватели настаивали на том, чтобы прибегнуть к растиранию тела замерзшего снегом на воздухе. Я этому воспротивился и, после долгих препирательств — заставил приготовить очень горячую ванну. Тело, помещенное в ванну, через некоторое время оттаяло, потом замерзший приоткрыл глаза и застонал. Мы перенесли его в постель, я проделал указываемая наукою манипуляции для искусственного возбуждения движения крови и достиг того, что мой пациент стал глубоко дышать. Но он находился в бессознательном состоянии. По некоторым симптомам я заподозрил, что у не-

го — воспаление правого легкого, и поставил ему кровеносные банки. Это произвело благотворительный эффект: мой пациент пришел в сознание и заговорил со мною по-английски. Его состояние внушало мне серьезные опасения, хотя это и был человек крепкого сложения, англо-саксонского типа, лет около тридцати от роду. Я дал ему снотворного лекарства, и он заснул крепким, но несколько тревожным сном. До сих пор, как видите, в деле не было и намека на какую-нибудь странность, если не считать необычайного костюма найденного нами во льду субъекта. Я продежурил около него всю ночь. Утром он проснулся, чувствовал себя удовлетворительно, хотя и испытывал боль в боку и жаловался на слабость. В моем подробном отчете о происшествии я отмечаю все, что я принимал для оказания медицинской помощи этому человеку. В рассказе, думаю, останавливаться на этих подробностях не стоит.

— Не стоит! — согласился юрист. — Излагайте события!

— Когда он проснулся, я стал осторожно расспрашивать его о том, как он попал в расселину. Многого сказать он мне не мог. По его словам, он был сыном богатого лондонского торговца предметами искусства и старинными вещами, мистера Ральфа Уинтера. Звали его тоже Ральфом. Отец отправил его в Италию для закупки на месте произведений итальянских художников и скульпторов. Прожив больше года в Италии, молодой антикварий отправил морским путем приобретенные вещи на очень значительную сумму, а сам с одним приказчиком пустился в путь через Альпы, так как не переносил морского путешествия. При переходе через горы у Айроло путники были застигнуты снежной бурей. Потом, по-видимому, на них свалилась снеговая лавина. «Это было вчера после полудня», — сказал он. Но он грубо ошибался: уже больше двух недель в той местности снег не падал, а со времени падения последней лавины прошло несколько недель.

— Какого числа произошла катастрофа? — спросил я.

— Восьмого августа! Шестого августа я прибыл в Айроло, сутки мы отдыхали. Восьмого утром пустились в путь.

А я нашел его девятнадцатого июня!

Тут мне пришло в голову произвести маленькое испытание его памяти, и я спросил его, в каком году мы живем. Он спокойно и уверенно ответил:

— Разумеется, в 1656. Я отправился из Англии в Италию весной прошлого, то есть 1655 года. Пробыл здесь четырнадцать месяцев и десять дней.

— В котором году вы родились?

— Девятого марта 1627 года. Крещен в церкви св. Патрика в Лондоне одиннадцатого марта! — отвечал он.

Я смотрел на него, не веря своим ушам: ведь если его слова не были бредом, — то передо мною находился человек, проживший без малого двести лет, ибо нашел я его в июне 1822 года. И если он только не бредил, то он пролежал во льдах Айроло почти сто семьдесят лет.

Как должен был я отнестись к его заявлению, джентльмены? Как врач, — я знаю, что наука зарегистрировала случаи оживания людей, пробывших под водою не только несколько часов, но и два, и даже три дня. Мне приходилось от заслуживающих доверия лиц слышать, что изредка удавалось спасать людей, пробывших в снегах, в своеобразной каталепсии, через несколько суток. Но передо мною был человек, который, судя по его словам, пробыл в каталепсии сто семьдесят лет. Мог ли, должен ли был я этому верить? О сознательной мистификации с его стороны и речи быть не могло: ведь в мистификации не было ни малейшего смысла. Оставалось предположить помешательство. Но я обладаю кое-каким опытом в обращении с душевнобольными, и на мой взгляд — мой пациент отнюдь не был помешанным. Не могло быть речи и о бреде: Ральф давал совершенно разумные ответы на все вопросы. Коротко: это был человек в здравом уме и полной памяти. Но как мог я поверить его заявлению?

На всякий случай, я постарался проверить его показания косвенным путем, прибегнув к обследованию его вещей. Вот результат: в записной книжке, которая лежит перед вами, — имеется целый ряд записей о дорожных расходах Ральфа, с отметкою хронологических дат. Даты эти относятся к 1655 и 1656 годам. В кошельке — он тоже перед

вами — были только старинные итальянские монеты первой половины семнадцатого столетия. Молитвенник на латинском языке — напечатан в Риме в 1654 году. Одежда — покроя семнадцатого века. Ткань, из которой эта одежда изготовлена — тоже старинная. Наконец, я нашел зашитое в суконном камзоле Ральфа заемное письмо на триста гиней на амстердамско-парижско-женевского банкира Жана ван Ретлера, датированное 1656 годом. Словом...

— Словом, вы кончили тем, что поверили? — осведомился юрист, наливая себе новый стакан вина.

— Я кончил тем, что поверил! — признался врач. — Я сделал все от меня зависящее, чтобы спасти Ральфа. Мне казалось, что это мне удалось, но на второй день болезнь обострилась, воспаление прогрессировало, захватывая и второе легкое. Больной начал бредить. В бреду он высказывал опасения за участь отправленных им в Лондон морским путем товаров, говоря, что лучшие вещи предназначены для лорда-протектора, то есть Оливера Кромвеля, и для генерала Монка. Вспоминал старика-отца и какую-то Дженни, о которой говорил с большою нежностью. А затем... Затем он умер. Я распорядился его похоронами. Его вещи были проданы с публичного торга на покрытие расходов по похоронам. Я купил эти вещи, смотря на них как на вещественные доказательства. Кроме того, по моему настоянию, местный синдик и приходский священник составили и подписали документ, в котором изложены все обстоятельства дела. Вот засвидетельствованная копия этого документа. Теперь вы знаете все. Скажите, что я должен делать?

Юрист выпустил густой клуб дыма изо рта и сказал:

— Предать дело забвению, ибо если вы станете о нем говорить или писать, то вам никто не поверит. Вас сочтут или за... идиота, или за шарлатана!

Рэнсом не послушался этого совета и выступил в лондонской печати с описанием «загадочного случая Айроло». Загорелась полемика. Рэнсом был засмеян, затравлен. Общественное мнение, действительно, признало его или безумцем, или шарлатаном. Порывшись в коллекциях старых английских газет и журналов, — вы найдете отголоски этой

истории, а посетив итальянское местечко Айроло — найдете на кладбище скромную могилу Ральфа с железным крестом и медной табличкой, на которой увидите надпись:

«Родился в 1627 г., скончался в 1822 г.»

Михаил Первухин

РОЗАБЕЛЛА

Илл. М. Рошковского



Когда недавно поселившийся в Риме молодой русский художник-портретист Рубец-Массальский вздумал взять студию в одном из старых, полуразвалившихся палаццо по виа Фламминия, почти за городом, — многие знакомцы, особенно из итальянцев, настойчиво отсоветывали ему это, уверяя, что и само палаццо и особенно студия пользуются дурной репутацией. Ничего особенного, ничего определенного, но... Но это «приносит несчастье».

Разумеется, Рубец только посмеялся и взял студию, «приносящую несчастье», соблазнившись ее дешевизной, устроился сносно, был доволен, много и успешно работал.

Потом пришло случайное, завязанное в кафе Греко знакомство с Теа, почти немедленно перешедшее в связь. И Теа внесла в жизнь Сергея Ивановича новый, странный, жуткий элемент.

Ей было всего около двадцати пяти лет, — но казалась она, по крайней мере по временам, чуть не старухой. У нее было ставшее уже грузным и дряблым тело, большая голова, довольно плоское лицо с нездоровой, грубо пористой кожей, подернутой налетом нездоровой желтизны, лицо, может быть, и бывшее когда-то красивым, но теперь зачастую напоминавшее странной неподвижностью вылепленную из цветного воска маску с оплывшими чертами. И эти глаза, — большие, круглые, сильно выпуклые, черные, смотрящие Бог весть куда стоячим упорным взором глаза. Ни молодой свежести и грации, ни красоты, ни элегантно-сти, ни особого ума — в ней ничего этого не было. Но было что-то неуловимое, притягивавшее к ней мужчин, застав-

лявшее их сближаться с нею и подчиняться ей, чуть ли не ненавидя ее.



Теа называла себя художницей. Много говорила об искусстве, но говорила как-то сумбурно, — осуждая и отрицая огулом все сделанное в искусстве, вплоть до наших дней, как продукт лжеискусства. Сама она что-то рисовала, по большей части на первом подвернувшемся под руку клочке бумаги, — на ресторанном счете, обрывке оберточной бумаги, газете — что-то странное, какие-то извивающиеся и капризно сплетающиеся или пересекающиеся линии, словно крутящиеся круги, рассыпающиеся точки и запятые. Иногда писала масляными красками, вернее, покрывала полотно цветными дисками и полосами, словно разноцветными лучами прожекторов, черными пятнами.

Все это было бесконечно чуждо Рубцу-Массальскому, как была чужда и сама Теа с восковым лицом и стоячими глазами, покуда...

Покуда однажды Теа не явилась непрошенной в его студию с папкой своих вещей и почему-то с маленьким, туго набитым чемоданом.

— Хотите, я угощу вас своими папиросами? — спросила, понизив голос до шепота и вкладывая в предложение какой-то особый, сокровенный смысл.

— Какие-нибудь особенные? — небрежно осведомился русский, протягивая руку к истрепанному портсигару.

— Особенности! — еще глуше, почти шепотом вымолвила Теа. — Выкурите — поймете.

— Что?

— Многое! — многозначительно ответила Теа, глядя в упор на художника стоячими глазами и хмуря непомерно густые брови. — Жизнь, искусство!

— Чудачка! — подумал Рубец. — И взял тоненькую, явно домашней работы папироску. Закурил. Был странный привкус в ароматном дыме папиросы. Сразу слегка закружилась голова. Потом это ощущение прошло и сменилось другими, никогда еще не испытанными художником ощущениями, быстро, как картины в калейдоскопе, сменявшими друг друга. Прежде всего и прочнее было ощущение странной легкости, будто потери тела, освобождения духа. Потом словно мешавшая видеть бесконечное разнообразие красок внешнего мира пелена стала отдельными слоями сползать с глаз, и все кругом заискрилось радужными цветами, сделалось невыразимо прекрасным, воздушным.

— Зачем вы раздеваетесь, Теа? — слабо удивился Рубец. И совсем не удивился, услышав ответ, что «так нужно». И увидел — Теа нага, и ее тело лучезарно, полупрозрачно и невыразимо прекрасно, хотя и уродливо, и невыразимо властны глаза женщины, и властны ее обнаженные руки, обвивающиеся вокруг его шеи, тянущие его с неудержимой силой.

.

— Теперь посмотри на мое творчество! — говорила шепотом Теа, нагая Теа. — Нет, ты лежи, не поднимайся. Я сама буду показывать!

И она показывала ему свою странную «работу». Он глядел на нее. И видел. Видел кошмарные рисунки на измятом ресторанном счете, на обрывке газеты, на клочке картона со следами пивной кружки. Это было то, что он видел и раньше, и вместе совершенно не то. Все теперь казалось совершенно логичным, самые странные комбинации казались совершенно естественными и именно, единственно нужными с этим новым, просветленным состоянием духа, с почти абсолютным отсутствием, невесомостью тела. И эти странные и вместе такие жизненные изображения были органически связаны с наготой тела Теа, с ее тяжелым и порывистым дыханием, с ее странной, кривой улыбкой, с ее судорожными движениями, с властью ее тела над ним, Рубцом.

— Понимаешь? — допытывалась Теа. — Все понимаешь? Ну... ну, и не нужно. Не говори! Ничего не говори!

.

Утром он проснулся с безумно тяжелой головой и измученным, свинцовой тяжестью налитым организмом, с какой-то пустотой в душе. Рядом с ним спала Теа. Было безобразно, внушало отвращение ее заплывшее нездоровым желтым жиром тело, ее кривые ноги, безобразно толстые в бедрах, слабые, бессильные, тощие, как у ребенка — от колена вниз. И вместе — были какие-то чары в этом теле.

Он грубо растолкал женщину. Впиваясь ей в дряблое плечо похолодевшими и дрожавшими пальцами, крикнул ей:

— Ты! Дрянь! Убийца! Чем ты одурманила меня?! Гадина!

Она приподнялась, криво улыбаясь. Потянулась к лежавшему на стуле возле кровати портсигару.

— Хочешь? Кури!

— Нет! — кричал он. — Убирайся! Сейчас же, сейчас! Голой выкину! Голой!

И рука сама схватила тоненькую, небрежно скрученную папиросу, и легкие жадно всасывали, впитывали в себя сладкий, дурманящий дым. А потом... потом было то же, что вчера.

.

Пробыв с Рубцом-Массальским две недели почти безотлучно, Теа однажды так же неожиданно исчезла, как и появилась. Ушла, унося папку своих кошмарных рисунков и ветхий, желтый кожаный чемоданчик и странные папиросы. В тот же день посыльный принес художнику маленький пакетик и небрежно набросанную рукою ушедшей Теи записку. В пакетике было еще несколько тех самых папирос. В записке — совет:

— Постарайся отвыкнуть. Кури только тогда, когда приходится совершенно неумоготу. Иначе можешь умереть.

Он боролся с властным желанием, тянувшим снова испытать только что пережитые в дни пребывания Теи ощущения, сознавая, что это яд. И... и сдался. Закурил. И вот — тогда-то и случилось это.

Он ничуть не удивился, что в студии оказалась незнакомая молодая женщина в странном, словно маскарадном костюме из алого бархата и тяжелой, жесткой парчи, женщина, в пышно взбитых волосах которой словно росинки сверкали нанизанные на нитку алмазы, а на груди колыхался при каждом вздохе массивный золотой крест с крупными рубинами на толстой золотой цепочке.

У пришедшей был вид знатной, привыкшей к поклонению дамы, — и в то же время с первого мгновения Рубец понял, что как женщина — она доступна, что ему стоит только пожелать, — и она отдастся ему.

— Тебя прислала Теа! — хриплым голосом пробормотал он. — Я знаю! Я все знаю!

В ответ она с улыбкой кивнула ему головой.

— Я... я, однако, должен работать. Скоро выставка! И у меня ничего, ну ничего нет! И я должен, должен что-нибудь написать! Иначе... иначе — не знаю, что будет! Хочешь, —я... я напишу твой портрет?



И опять она кивнула головкой, улыбаясь. Оглянувшись, легкими шагами прошла в угол, села на том самом кресле, на котором раньше сидела по целым часам Теа. Рубец, пошатываясь, добрался до стола, заваленного красками, взял палитру. На мольберте стояло большое полотно, на котором раньше, до прихода Теи, художник собирался писать задуманную картину. Он смахнул тряпкой наброшенные углем контуры и, глядя на странную гостью, несколькими небрежными и смелыми штрихами наметил абрис ее фигуры. Клал на полотно краску густыми слоями, размазы-

вал ее не кистью, а мастихином, пальцами, или оставлял на полотне холмики. Самому казалось странным, как быстро и удачно идет работа, как уверенно делается она. Бросил работу только тогда, когда в студии совершенно стемнело. И тогда посетительница, не говоря ни слова, поднялась, прошла мимо мольберта, шурша бархатом и парчой своего костюма, заглянула на полотно, — по-видимому, осталась довольной. Улыбнулась Рубцу, вытиравшему кисти о тряпку. Была так близко от него, что лица коснулось ее теплое дыхание, а локон черных блестящих волос скользнул по его щеке.

— Куда же ты? Постой! Как же это так? — растерянно спросил ее Рубец. — Я даже не знаю, кто ты, откуда... и потом — почему такой маскарад? Разрядилась, как дама шестнадцатого века, что ли! И... где ты живешь?

— Здесь, здесь! — смеясь, ответила она. — В этом самом палаццо!

— В верхнем этаже, что ли? Вот уже не подумал бы! А как тебя зовут? И кто ты?

С насмешливой и кокетливой улыбкой взяв пальчиками складки юбки, она сделала глубокий реверанс и вымолвила:

— Розабелла, герцогиня Делла-Фарина, к вашим услугам, дорогой маэстро!

— Ге... герцогиня?! — ахнул Рубец. — Делла Фарина? По... постой же!

Но она была уже у двери. Он кинулся за нею, крича:

— Да нельзя же так! А, черт! Скажи, по крайней мере, придешь ли еще? Когда? В котором часу?

— Завтра! Как сегодня! Жди!

Он не сразу справился с закапризничавшей дверью. Когда выскочил в коридор, — там Розабеллы уже не было. Шел, прихрамывая, горбатый старик-портье, неся вязанку хворосту.

...Но она сдержала данное слово: пришла на другой день. И Рубец знал, что она придет, и приготовился заранее к работе. Приготовился к приему: купил цветов, пирожных, вина, сладостей. Когда она пришла, он, собственно,

не заметил: дверь не скрипнула.

Увидев Розабеллу, Рубец потянулся к ней. Обнимал ее, пытался целовать. Она слабо отбивалась, отстраняла свое прекрасное лицо от жадно тянувшихся для поцелуя губ, шептала:

— Безумный! Зачем? О, Мадонна!



Но он чувствовал, как слабела воля сопротивления в ее теле, как в этом теле загоралась страсть, отвечавшая вспыхнувшей в нем страсти — и поднял ее как перышко и понес. А она обвила его шею чудесными руками и целовала и шептала:

— Безумный, безумный!

.
— Я хочу написать тебя нагой! — сказал он.

Смертельная бледность разлилась по ее лицу, глаза налились выражением животного страха.

— Нет, нет! Ты не знаешь, чего ты хочешь, чем это кончится! — бормотала она. — Ты ничего, ничего не знаешь, потому что....

— Вздор! У тебя божественное тело! — опьяняясь собственными словами, говорил Рубец. — К черту этот маскарадный костюм! Видишь, — твой портрет уже окончен. В пять сеансов, — и готово! Я хочу написать тебя нагой! Это будет чудеснейшая, волшебная вещь. Я хочу, хочу!

И он сам снимал с нее, вернее — срывал ее одежды. Он чувствовал, как дрожит ее тело мелкой, зыбкой дрожью, и слышал ее молящий голос, — но не остановился до тех пор, покуда она не стояла перед ним совершенно нагой и невыразимо прекрасной.

Пожирая ее тело глазами, он с лихорадочной быстротой набрасывал его изображение на полотне. Потом...

Потом с треском распахнулась массивная дверь мастерской. Какой-то человек с звериным воплем ворвался в студию. Пробежав мимо ошеломленного художника, этот человек коршуном налетел на нагую Розабеллу, левой рукой схватил ее за горло, а правой, в которой сверкал длинный стилет, нанес один за другим ряд ударов в грудь.

В то же время комната наполнилась вооруженными людьми в странных маскарадных костюмах. Дюжие смуглые слуги схватили Рубца, крепко держали, когда он порывался прийти на помощь к Розабелле. Впрочем, он сознавал, что его помощь уже не нужна герцогине: нагое тело беспомощно валялось на полу, из нескольких нанесенных кинжалом в грудь ран потоками выливалась алая кровь. Убийца Розабеллы грубо наступил на это изуродованное тело ногой в высоком сапоге с раструбом, наклонился, приподнял за волосы прекрасную голову и с проклятием плюнул прямо в лицо. Потом отнял руку,— и Рубец слышал, как глухо

стукнулась голова о пол.

— Теперь твой черед! — услышал он хриплый голос убийцы, — и содрогнулся всем телом.

Увидел прямо перед глазами дуло тяжелого старинного пистолета, и смуглое лицо со старым рубцом на правой щеке, и ошетилившиеся рыжеватые усы, и колючие черные глаза под косматыми седыми бровями. А потом...

Потом уже ничего больше не видел и не слышал.

Очнулся Рубец — и понял, что лежит на полу перед мольбертом, на котором стоит подрамник. На полотне небрежно намечена углем фигура нагой Розабеллы. Вспомнил только что пережитое. Подумал:

— Где же труп? И... И почему я — жив?

Кругом все было тихо. В окно чуть слышны были звуки обычной жизни. Издалека доносился гудок локомотива.

С трудом поднялся Рубец, чувствуя нестерпимую боль в виске. Дотронулся — к дрожащим пальцам прилипло что-то густое, темно-красное.

— Кровь! — сообразил художник. — Ведь *он*, кажется, выстрелил мне в голову!

Смутно сознавая, что делает, добрался до двери, вышел в коридор. Увидел старика, горбатого портье, — пытался сказать ему, что в студии совершено убийство, — но не мог. Упал и, падая, цеплялся за портье.

* * *

В старинном госпитале Сан-Джакомо, куда доставили русского художника, когда Рубец через несколько дней пришел в сознание, дежурный полицейский агент произвел допрос и, услышав рассказ, переглянулся с присутствовавшим при допросе врачом, многозначительно, довольно громко пробормотал:

— Парень-то спятил! Какую чушь городит?!

— Галлюцинации! Под влиянием гашиша — вещь обыкновенная! Накурился до обморока, упал, разбил голову о

каменный пол, — а воображает, что был ранен ревнивым мужем какой-то красавицы в парчовом костюме шестнадцатого века!

* * *

Собственно говоря,— этим и кончается история Розабеллы. Остается добавить только несколько слов.

Пролежав в больнице больше двух месяцев, Рубец поправился и вернулся в мастерскую. Теперь ему и самому казалось, что все пережитое — это только галлюцинации, вызванные расстройством нервов. А нервы расстроились от отравления гашишем, данным Теа. Единственным реальным свидетельством пережитого, если не считать уже затянувшейся раны на виске, полученной при падении, — был большой и очень удачный портрет Розабеллы. Написанный грубо, до дерзости смело, — но портрет — чудесный, могший принести автору славу. Подумав немного и чувствуя, что к осенней выставке он все равно ничего другого написать не сможет, Рубец решил выставить этот портрет. Отправил. Дня через три получил поразившее его письмо от секретаря выставочного жюри.

— Мы придерживаемся правила, — писал секретарь, — допускать на выставку только оригинальные работы, а отнюдь не копии с картин хотя бы и великих мастеров прошлого. Жюри склонно признать, что ваша работа является великолепной репродукцией с хранящегося в частном собрании принцев Русполи портрета герцогини Розабеллы Делла-Фарина, кисти неизвестного автора шестнадцатого века, но все же это копия — и как таковая — принята на выставку *современного искусства* быть не может. Благоволите и пр.

Рубец-Масальский был ошеломлен и сконфужен донельзя. Сам не мог понять, каким образом написанная им картина — плод галлюцинаций, — оказалась точной копией картины. Вдобавок, — такой картины, которой он никогда в

жизни не видел.

Портрет забрал. Он висит и теперь в римской мастерской художника. Иногда Рубец, разоткровенничавшись, рассказывает знакомым всю эту странную историю и заканчивает:

— Вот, подите, разберитесь! Я, по крайней мере, — отказываюсь разобраться! Ничего не понимаю!

— Да вы справки-то наводили? — спрашивают его люди, в первый раз услышавшие этот рассказ.

— А то нет?! — протестует он. — Да ничего точного узнать не удастся. Известно одно, что была такая — Розабелла Делла-Фарина, урожденная Караччоло деи Монти. Жила в конце шестнадцатого столетия. Славилась красотой и... легкомыслием. Потом загадочно исчезла. Предполагается — была убита собственным супругом.

Римская легенда факт ее трагической смерти связывает вот с этим самым полуразвалившимся палаццо на виа Фламминиа.

Вот и все... А каким образом, пусть даже под влиянием гашиша, — могло это привидеться мне, — черт его разберет! Во всяком случае, — происшедшее со мной еще раз закрепило скверную репутацию за квартирами в этом палаццо. Впрочем, кажется, сейчас там живет какой-то голландец-гравер. И... и ничего. А со мной вон что вышло. И голову себе разбил, и в больнице валялся и, главное, конфуз этот: пытался выставить копию!

Андрей Зарин

ТАЙНА

Наконец, он очнулся, открыл глаза и, услышав радостный возглас жены, слабо улыбнулся.

Он лежал в постели; прямо перед ним стояла его жена, подле нее дети, а в ногах, в кресле, сидел его друг-доктор.

— Очнулся! Жив! — взволнованно проговорила жена и опустилась у его изголовья на колени, нежно рукой касаясь его лба.

Дети потянулись к нему; доктор пересел на край постели, взял его бессильно лежащую руку и, считая пульс, говорил ему, жене и детям ворчливым голосом:

— Жив и очнулся! Завтра здоров будет, но теперь ему необходимо спокойствие. Лежи, пожалуйста, смирно! Не говори! Пульс еще совсем слабый. Дети, поцелуйте тихонько и — марш! Пора и спать. Ишь, одиннадцатый час!.. А вы, барыня моя, вот что, сварите нам яйцо, жидко-жидко, вылейте в стакан, влейте ложку, столовую ложку, мадеры и давайте сюда! А потом тоже спать. Двое суток! а? Он-то дрых себе, а вы...

Жена счастливо улыбнулась, отчего бледное лицо ее словно озарилось, и встала.

— Ну, дети, целуйте папу и спать!

Сын и дочь осторожно, любезно поцеловали отца, который повернул к ним лицо, жена поцеловала его в лоб, и они вышли.

Он хотел заговорить, но доктор опять остановил его.

— Ни слова! Завтра тебе полный доклад, а теперь, — покой и молчанье! Выпьешь эту смесь и старайся заснуть. Завтра лежи до обеда, потом можешь подняться. Вечером я приду. Теперь до свиданья! — Он опустил его руку на одеяло, встал, дружески кивнул ему и вышел.

Он остался один и утомленно закрыл глаза.

Что с ним было?...

В уме проносились обрывки каких-то воспоминаний, клочки нелепых снов.

— Ты не спишь? — услышал он шепот, открыл глаза и увидел жену. Она стояла со стаканом в руке.

— Вот, пей! — сказала она. — Постой, я напою тебя.

— Не надо, — слабо проговорил он, — я сам!

И, сделав усилие, он приподнялся и освободил правую руку из-под одеяла.

Что это?

Он разжал руку и с омерзением отбросил зажатый в руке лоскут грязной тряпки.

— Что это?

Жена, нагнувшись, тронула ногой лоскут и с возмущением сказала:

— Что за гадость! Это, вероятно, Луша, убирая постель.... Ну, пей!

Он слабой рукой взял стакан и жадно выпил содержимое, потом, обессиленный, откинулся на подушки.

Жена убрала стакан, села на край постели, склонилась к нему и тихо заговорила.

— Ах, как ты напугал нас всех! Третьего дня ты заснул после обеда и спал до сих пор! Мы из кабинета перенесли тебя сюда. Сначала я подумала, что ты... нет, нет! это так ужасно... пришел Иван Петрович и успокоил меня... Как было страшно. Ты лежал совсем, совсем неподвижный. Я прислушивалась и все-таки не слыхала твоего дыхания. Нет! так работать нельзя! Ты сойдешь с ума или умрешь! Не хочу, не хочу, не хочу! — она прижалась к его плечу и заплакала.

Вино вернуло ему силы. Он смог обнять ее голову и гладил ее волосы, но ее слезы еще не волновали его.

Все настойчивее и настойчивее у него являлось желание схватить обрывки вихрем крутившихся в его голове воспоминаний, связать их в цельное и восстановить какую-то картину. Что-то омерзительное, грязное... что?..

Жена плакала на его плече, потом вдруг заснула, истомленная волнением и бессонницей.

В комнате стало мертвенно тихо; только слышалось ровное дыхание спящей да торопливое тиканье бронзовых часов, что стояли на комод.

Свет лампы, прикрытой темным абажуром, ярко освещал пол, сиденья стульев и дивана, а выше — все было погружено в полутьму...

Он продолжал напряженно вспоминать. Рука, обнимающая голову жены, затекла. Он приподнялся, чтобы освободить ее, и вдруг взгляд его упал на пол, посреди которого серым комком лежала выброшенная им тряпка.

Мысли опять закружились в его голове... Нет, эту тряпку оставила не Луша. Эту тряпку... Нет, он вспомнит, он все вспомнит!..

Жена проснулась, полусонная перешла к дивану, упала на него и тотчас опять заснула.

Он лежал, и голова его уже пылала от мучительного напряжения... Потом перед его глазами стал расстилаться туман, мысли, словно клочки дыма в воздухе, редели, бледнели и исчезали одна за другой; мелькнула пьяная, растерзанная женщина, послышался чей-то сиплый смех... все смешалось, и он заснул крепким сном выздоравливающего человека уже без всяких видений. Ровное дыхание его слилось с тиканьем часов и дыханием жены.

.

Рабочая лампа ярко освещала письменный стол, оставляя кабинет в полутьме.

Он и доктор сидели на диване, подле них стоял столик с бутылкой мадеры и стаканами.

Доктор говорил:

— Это было похоже на летаргический сон. Пульс почти не нащупывался. И потом, двое суток с половиной! Это уже не сон... Вообще, жизнь твоя безобразна. Нельзя, друг мой, безнаказанно работать 18 часов в сутки, лишая себя всякого развлечения и даже сносного отдыха. В рай с сапогами все равно не влезешь, а «в тот ларчик, где ни встать, ни сесть» — сделайте милость. И что это за ходячая, вернее сидячая, добродетель? Безобразие это, неестественно. Ходи в театр, играй, черт возьми, в карты, волочись! Ведь не аскет же ты. Жена женой!.. — доктор допил вино и наполнил стакан снова. — Я не считаю себя ни негодным, ни без-

нравственным; работаю, слава Богу! Две больницы на руках, да пациенты, но ни в чем себе не отказываю...

— Меня ничто не привлекает, — ответил он, — моя работа, жена и дети. А потом... — он приостановился и сказал, понижая голос, — никому другому, но тебе, как доктору и другу, я скажу. Я давно хотел сказать. Ты не смейся только. Будь серьезен.

Доктор почувствовал в его словах затаенную боль и, отставив стакан, молча кивнул головой.

— Есть афоризм, — заговорил он тихо, — что король, видящий себя каждую ночь во сне сапожником, и сапожник, видящий себя королем, равняются в своих долях... Со мной вроде этого. Давно уже... я вижу почти всегда одни и те же омерзительные сны... — он даже вздрогнул. — Я вижу себя каким-то пьяным забулдыгой, хулиганом; в скверных кабаках, грязных притонах; с женщинами пьяными, распутными, оборванными, грязными... и я с ними... и мне хорошо... Когда я просыпаюсь и вспоминаю отрывки этих снов, мне страшно подойти к детям. Кажется, я оскверню их. И это всегда, всегда...

— Сны! — усмехнувшись, сказал доктор. — Вот твой аскетизм и сказывается! «Смирять себя молитвой и постом»... Скверно только, что такие отвратительные женщины.

— Вот ты и смеешься, а это мое страданье! Слушай, эти сны так реальны, что я узнаю потом все места. Однажды я шел по Лиговке и вдруг увидел вышедшую из трактира пьяную девку. Она была растрепана, в красном платке, с папиросой в посиневших губах. Я взглянул на нее и чуть не сошел с ума. Я обнимал ее ночью, во сне!.. да, да!.. Я пришел на работу сам не свой...

— Тьфу! — сказал брезгливо доктор. — Но это объяснимо. Ты ходишь там каждый день, видел ее, может, десять, может, двадцать раз. И в твоих снах она могла фигурировать. Ясно? Не спорю, поганный сон.

Он придвинулся к доктору и заговорил совсем тихо. Доктор взглянул на его побледневшее лицо и нахмурился. Он говорил:

— А теперь вот. Я почти все вспомнил. Я был в каком-то вертепе. Был хулиганом, котом. Со мной была сквернейшая женщина. Да... пили, вышли на улицу... она заманила в глубину грязного двора какого-то господина... я набросился на него... грязный двор, полуразрушенное здание, куча ломаного кирпича... Я загнал его на эту кучу и отнял у него деньги... Потом опять вертеп... Я с какой-то женщиной... бил ее, она меня... — он задрожал и замолк.

Доктор почувствовал себя неловко.

— Какие отвратительные сны!.. Погано!.. Но во сне и не такое иной раз привидится. Я не знаю, чего ты смущаешься. Понятно, такой сон не расскажешь, особенно в дамском обществе.

— А если это не сны...

Доктор даже отшатнулся.

— Что? Ты хочешь сказать, что ты...

— Нет! Я прихожу в содрогание при одном воспоминании о них, но они так реальны...

— Сны поражают реальностью...

— И еще... теперь... я нашел в постели у себя тряпку, — он вынул платок и вытер лицо, — грязную тряпку и выбросил ее... а потом... почувствовал запах... это — лоскут ее рубашки! В драке! Он остался у меня...

Доктор выпил вино и стукнул по столу стаканом.

— Ну, это уж чушь! Ты лежал все время пластом и от тебя не отходили ни на шаг... Он такой же пакостный, как и все твои сны.

— А лоскут?

— Вероятно, тряпку для пыли забыла прислуга, убирая комнату. Вот она и попала тебе под руку.

— Это говорит и жена...

— Не то ваша Фифишка занесла. Она всякую дрянь таскает. У Коли в постели кость нашли.

Вино было допито. Доктор посмотрел на часы и встал.

— Два часа! Пора и по домам. Вот что, дорогой, — заговорил доктор, кладя руку на плечо друга, — это все переутомление, сны эти! Надо отдохнуть и полечиться. Сходи к Рыбалкину. Вместе съездим!.. А пока отдохни. Завтра еще

посиди дома. Позаняться, если уже есть зуд такой, немного можешь! Я зайду на неделе. До свиданья!

Они поцеловались. Доктор прошел в переднюю и, натягивая пальто, одновременно всовывая ноги в калоши, говорил:

— Главное, отдохнуть и развлечься, а от снов беды нет. Кабак, тюрьма, виселица. Лишь бы не наяву...

Он оделся, взял зонтик, дружески простился и вышел, затворив за собой дверь.

Французский замок щелкнул.

Он вернулся в кабинет, зажег свечку и погасил лампу, взял книгу и зажженной свечкой прошел в спальню.

Жена крепко спала, подложив под щеку сложенные руки.

Он осторожно прошел в детскую и поцеловал детей, потом вернулся в спальню, разделся, лег и долго читал. Наконец, загасил огонь и, думая о работе, которую надо исполнить завтрашний день, тихо заснул.

.

Работы, за время его короткой болезни, накопилось. Она вся срочная и протекает через его руки ровным потоком, но, если сделать перерыв, она задерживается, нагромождается и обращается в лавину, готовую раздавить своей массой.

Не ждет никто: ни наборщики, ни машины, ни издатель, ни подписчики. И работа движется, как бесконечный ремень маховом колесе машины.

Ему это нравилось. Сознание, что все часы отданы работе, мирило его с жизнью. Он сидел у себя за столом в кабинете и думал, что жизнь его полезна и ближним, и близким...

Стол его теперь был завален и рукописями, и корректурными оттисками, и сверстанными листами. В кухне сидел рассыльный из типографии.

Он закончил часть работы и отпустил рассыльного, потом напился вечернего чаю и опять пошел в кабинет.

— Ты бы отдохнул. На сегодня довольно, — сказала жена.

— Там отдохнем, — шутливо ответил он и прибавил: — я уже совсем окреп, а работы вон сколько! Сброшу ее и отдохну.

Дети простились с ним и пошли спать.

Жена принесла ему обычный ужин и ушла тоже, сказав ему:

— Не сиди долго!

В квартире наступила тишина ночи, та тишина, которую он так любил, среди которой ему работалось всегда легко и свободно.

Он отложил перо, откинулся к спинке кресла и задумался.

Со стен на него смотрели лица его друзей и товарищей: и те, с которыми он начал свою работу, и те, которые благословили его, и те, которых он благословил. Сверху ласково и любовно глядело на него вдохновенное лицо Диккенса; в углу чернела дорогая гравюра распятого Христа.

Он любил свой кабинет и свое в нем уединение.

Все мятежное, скверное оставлял он за его порогом.

Вдруг какие-то тени замелькали перед его глазами, слышались хриплые голоса. Что это?..

Он хотел приподняться, но стены его кабинета раздвинулись, слякотная осенняя непогода охватила его сыростью, его качнуло, и он словно куда-то поплыл. Руки его бессильно опустились, голова запрокинулась, он закрыл глаза.

.

Назойливый осенний дождь сеял мельчайшей пылью, липкая грязь тонким слоем покрывала панели и месивом лежала на мостовой, резкий ветер, вырываясь из-за угла, срывал с мужчин шляпы, а женщинам обвивал юбки вок-

руг ног и мешал им идти.

Яркий свет электрических фонарей не мог рассеять мглы, повисшей над Знаменской площадью. Со всех сторон катились экипажи: извозчичий фаэтон, щегольская коляска, гроыхающие телеги, кареты из гостиниц, почтовые фургоны; от лошадей клубами подымался пар, сливаясь с сеющим дождем в туманную мглу; копыта и резиновые шины колес во все стороны разбрасывали грязь, пешеходы сталкивались, скользили по грязи, торопливо пробегали под лошадиными мордами... Хлюпанье грязи под лошадиными копытами, крики кучеров и извозчиков, резкие отрывистые звонки трамваев и рев мчащегося мотора сливались в оглушительный гул и рев.

Петька-Гвоздь перешел площадь, мелькнул мимо освещенного ларька и погрузился в серую мглу Лиговского бульвара, мимо которого шумным потоком проносилась жизнь площади.

Ноги скользили по расплывающейся глинистой грязи бульвара, но Петька в своих высоких с подборами сапогах ступал уверенно и твердо. И плотная фигура его, одетая в рыжую, верблюжьей шерсти куртку, и наглое красивое лицо, с курчавыми волосами, прикрытыми небрежно сдвинутой на затылок клеенчатой фуражкой, изобличали уверенность и твердость.

На бульваре в этот момент было пусто и глухо, но дальше, пройдя Пушкинский переулок и туда, до Разъезжей, в серых сумерках на редких скамейках обрисовывались фигуры, и взад и вперед скользили тени мужчин и женщин.

С правой стороны бульвара, за освещенными окнами трактира, слышался гром органа, а слева, из подвального этажа дешевой закусочной, несло хрипкое пение граммофона. Двери трактира и закусочной то и дело растворялись, и среди клубов пара, вырывающихся из них, показывалась фигура солдата, мастерового или растерзанной полупьяной женщины, которая тотчас скрывалась или за дверь, или в туманной мгле улицы. Дальше тянулся глухой забор с узкой калиткой, над которой, скрипя петлями, качался большой фонарь с надписью красными буквами: «Се-

мейные бани». Время от времени калитка отворялась, и в нее проскальзывали фигуры мужчин и женщин. Иногда предательски качнувшийся фонарь освещал гимназическую фуражку, блестящий цилиндр, фуражку с кокардой и рядом простоволосую женскую голову и рваный платок, накинутый на плечи.

А дальше опять — трактир, портерная, закусочная и в туманных сумерках на бульваре вспыхивающие, как волчьи глаза, огоньки курящихся папирос, мужчины с наглыми лицами, одетые в куртки, блузы, рваные пальто; женщины с отеками на лицах, хриплыми голосами, и между ними — робко проходящий развратник или ищущий дешевой любви солдат, мастеровой, мелкий лавочник. В темноте время от времени раздавались хриплый смех, резкий крик, хлесткая брань.

Петька-Гвоздь шел по бульвару, засунув руки в карманы, как вдруг почувствовал, что его толкнули в плечо, и услышал оклик:

— Ты, Петька? Постой!

Он остановился и улыбнулся. Подле него стояла Фенька-охтенская. На голове ее был байковый платок, одета она была в зеленую кофту поверх красной юбки. Слегка припухшее, с синяком на щеке, лицо ее было еще красиво.

— Постой! — повторила она, удерживал Петьку.

— Чего стоять? За постой деньги платят. Идем, угощу! У меня два колеса болтаются!

— Бить тебя хотят, — держа Петьку за руку, сказала Фенька. — Понял?

— Псс... кто такие? — презрительно спросил Петька.

— Все! Все! Всему зачинщик Ванька-Слесарь, а тут и мой Васька, да Комар...

— Ишь! Это за что же?..

— Забыл! Ах, мерзавец! — ткнув его в плечо, оживляясь, сказала Фенька. — С Машкой курносой бил, а ее хахалю ни копы не осталось.

— Ежели она угощала! — ухмыльнулся Петька.

— А теперь ты плати!.. Опять Комар за Катку в обиде... Ты с ней ночь ночевал... а Васька прямо сказал мне, что ме-

ня зарежет, а мне плевать, — окончила она с презрением.

— И мне тоже! Идем, что ли! — беспечно сказал Петька.

— Мне што, — ответила Фенька, — за тебя боюсь! Хоть ты, подлец, и бил меня тогда...

— Не путайся с Васькой, — он обнял ее и повел по бульвару. Она прижалась к нему.

— Теперь, хоть зарежь меня, к нему не пойду. Выкуси!.. А тогда ты мне всю рубашку порвал. Чинила, чинила...

— Не кусайся... Ну, ладно! Иди пока что. Я водки возьму!

Она остановилась у дверей закусочной, а Петька подошел к сбитенщику и купил у него полбутылки.

— Идем!

— Ай, Петька-Гвоздь! — вскрикнула курносая Машка, увидя входившего в закусочную Петьку.

— Самолично! Наше вам! — но Машка быстро отвернулась от него к своим собеседникам, видимо, проученная.

— Садись тута, Фенька! Малый, пару чая, да поджарку сваргань! Живо! — командовал он, опускаясь на стул и кидая на стол фуражку.

— Ишь, командир какой! — проговорил сидящий с Машкой рыжий, маленький Комар.

— Оставь! — окрикнул его Ванька, — пуцай душу тешит!

Петька взглянул на них и усмехнулся.

— Мразь! — громко сказал он Феньке, которая вдруг побледнела и откинулась к спинке стула. — Что ты? — и он оглянулся.

Из другой комнаты вышел долговязый парень в пиджаке поверх фуфайки. Он шел прямо к Феньке и встряхивал лохматой головой.

— Пожалте-с! — произнес половой, с грохотом опуская на стол поднос с чайником и шипящую сковородку.

В это время Васька подошел к столу вплотную и хрипло проговорил:

— Я тебе что сказал, стерва! Опять клочки захотела. Иди прочь! — и он протянул к Феньке волосатую руку...

Петька резко отвел его руку и сказал:

— Ее оставь! Со мной говори. Я ей приказал с тобой не путаться, понял? Фенька, пей!

Васька несколько мгновений стоял, тараща на него злые глаза, потом разразился:

— Ты? мне? ее?.. Мазурик! Сволочь... Да я тебя раскروвяню всего, я ей...

— Попробуй!..

— А то нет?

— Слышь, он, как Еруслан, всех осилит, — отозвался от своего стола Комар, — как того чиновника. Тогда. На дворе!

— А лепца? — хрипло выкрикнул Ванька.

— Свой есть! — усмехнулся Петька и опустил руку к сапогу.

— Ну, ты! — прошипел Васька, стукнув кулаком по столу, — помни!

— Иди! — сказал Петька, — а может, выпить хочешь?

— Я тебе выпью! Мер-за-вец!!...

— За твоё здоровье, — Петька опрокинул чашку в рот. Васька отошел к столу, где сидели Комар и Ванька. Головы сблизились, и они начали шептаться.

Петька принялся за еду. Граммофон хрипло стонал «Вот мчится трой-ка у-дал-л-лая...», Фенька нагнулась через стол и шептала:

— Брось есть и убежим. Здесь ходить нельзя больше. Уйдем на остров или к Финлянке. Там и господа бывают. А тут убьют. Ей-Богу! Брось есть...

— Оставь! Ешь сама лучше!..

— Убьют. Ванька да Васька ишь какие черти, — шептала она испуганно.

— Шкуру берегут тоже, — усмехнулся Петька, — ешь!..

Граммофон хрипел, двери хлопали, впуская и выпускающая посетителей, в низких душевных комнатах сизым туманом стоял крепкий табачный дым, со всех сторон раздавались громкие голоса, смех, вскрики, ругательства и сливались с звоном посуды и шарканьем ног.

Петька загорячился от выпитой водки, съеденной поджарки и присутствия Феньки. Лицо его разгорелось, глаза замаслились и, сжимая под столом колено Феньки, он говорил ей:

— Идем спать. Пора!

— Куда пойдём-то? — вспыхнувши, спросила Фенька.
— В баню. Нынче Матвей дежурит. Сам звал.
— Убежишь, как тогда...
— Разве я убегал?
— А то как же! Бил, бил, потом и нет. Где ты пропадал?
— А шут знает... так...
— Катька рассказывает, ты у того чиновника-то тысячу взял!

Петька усмехнулся.

— Девять рублей, да кошелек рваный. Вот и все! Ну, идем!..

Фенька опасливо оглянулась. Стол, за которым сидели Машка, Комар и Ванька с Васькой, был занят другими.

Она с облегчением вздохнула.

— Ушли!

— Небось, — ответил Петька, — стерегут! Ты вот что. Иди одна, и прямо в баню. А я спущу. Иди, что ли!..

Фенька встала, завернула голову платком и двинулась к дверям.

Петька расплатился, бросил на чай половому пятак и сказал:

— Я через кухню!

— А иди! — ответил половой и прибавил: — счастливо!

Петька прошел через угарную, вонючую кухню и выбрался на грязный двор.

Ветер рванул и бросил ему в лицо брызги холодного дождя.

Он опустил руку за голенище, попробовал, свободно ли ходит в ножнах шведский нож и тихо двинулся к воротам.

Выйдя на улицу, он зорко оглянулся и пошел через дорогу прямо к баням.

Но едва он вступил на бульвар, как на него, молча и грозно, надвинулись все трое. Он тотчас остановился и, едва Васька поднял руку, нанес ему удар под подбородок; в то же мгновение хватил Ваньку в живот и метнулся в сторону, но ему под ноги попался Комар, и они оба упали в жидкую грязь. Комар больно ударился рукой о валявший-

ся на дороге кирпич и, вскочив на ноги, инстинктивно ухватил его.

Васька с товарищем навалились на Петьку.

— Бей его!

В ту же минуту Васька почувствовал, как в его плечо вонзился нож, и быстро отскочил с криком:

— Режут!

— Он с ножом, мерзавец! — раздался злобный крик Комара. — Так на ж тебе! — и он со всей силы ударил Петьку кирпичом в голову.

Петька, словно на пружине, разом вскочил на ноги и бросился бежать, но, сделав несколько шагов, взметнул руками и тяжело опустился наземь...

.

Из кабинета раздался пронзительный вопль. Дети в испуге проснулись и заплакали. Няня и Луша бросились в кабинет и, растерянные, остановились на пороге.

Это закричала барыня. В одной сорочке она стояла подле мужа, тело которого бессильно свешивалось через ручку кресла. Она встряхивала его руку и бессмысленно кричала:

— Очнись, очнись, очнись!

— Дети, за доктором! — сказала няня, и Луша опрометью побежала на кухню...

.

Возвращаясь с кладбища, доктор говорил своему собеседнику:

— Умер, несомненно, надорвавшись. Но что для меня непостижимая тайна — это проломленный череп! До сих пор не могу понять! Самоубийство невозможно... знаете,

словно камнем или молотком. Убийство? Нелепо, хотя следствие ведется. Нечаянно? Я осмотрел все углы стола и, наконец, он умер в кресле... Совершенно непостижимая тайна!...

— Их много, доктор, — сказал ему собеседник, — тайн этих. И в жизни их, пожалуй, больше, чем в смерти.

Георгий Северцев-Полилов

ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

Илл. В. Сварога



I

Ласковая душистая весна прилетела как-то сразу... Некоторые находят, что приход весны на севере, где она появляется не сразу, постепенно, гораздо поэтичнее, интереснее.

Сперва начинают таять снега под теплым дуновением южного ветра; ему помогают дожди, отчасти солнце, далеко еще не такое горячее, как летом и только к полудню немного прогревающее простывшую землю.

За исчезнувшими снегами мало-помалу обсыхает земля и только тогда появляется на ней первая растительность, — зеленовато-желтая травка. На деревьях робко распускаются почки, нерешительно выглядывает бледно-зеленый лепесток, точно опасаясь, что холод вернется и уничтожит его...

Нет, я больше люблю южную грубую весну!

Еще накануне, за несколько часов холодный северный ветер леденит все живущее, бродят угрюмые свинцовые облака по небу и вдруг через несколько часов картина сразу изменяется.

Откуда-то прорвался яркий солнечный луч, облил своим расплавленным золотом всю природу, исчез северный ветер, пронеслись мрачные тучи, с моря повеяло теплом, — сразу все проснулось, ожило, смеющаяся весна буйно вор-

валась во все окна, двери; она принесла с собой веселье, смех, благоухание и мягкую ласку.

Вот в такой весенний день, скорее вечер, потому что хотя солнце стояло еще на горизонте, но уже близилось к закату, я сидел в компании нескольких добрых приятелей на веранде одной дачи около Симеиза в Крыму. Дача принадлежала Василию Лазаревичу Гуторину. Человек он был богатый, очень образованный, нигде не служивший и не занимавшийся никаким особенным делом.

У него была одна страсть — астрономия. Изучению неба он посвящал весь свой досуг, а последнего было у него немало. Средства позволили ему построить небольшую обсерваторию тут же, при даче; она была хорошо оборудована дорогими и очень точными инструментами.

Василий Лазаревич круглый год жил здесь, на берегу Черного моря. Он был холост, уже средних лет. Место хозяйки занимала его единственная сестра, Агния Лазаревна. Брат и сестра жили очень дружно, хотя замкнутый брат никогда не открывал ей своей души. Почти пятнадцать лет он прожил за границей, бывал везде, по всему свету, где только он мог бы производить наблюдения над звездами.

В Северной Америке знаменитая обсерватория в Скалистых горах помогла ему сделать некоторые очень важные открытия в астрономии. Жил он подолгу у профессора М. Пальмиери, около Везувия, находился в приятельских отношениях с Камиллом Фламарионом, среди гринвичских астрономов его знания ценились очень высоко.

Но как протекала все эти пятнадцать лет его личная жизнь, никому не было известно...

Совершенно неожиданно несколько лет тому назад он возвратился в Россию, подыскал себе место в Крыму, выстроил на нем прекрасный дом с обсерваторией и пригласил к себе жить сестру, которая до сих пор проживала у замужней тетки.

Агния Лазаревна, тоже уж девушка не первой молодости, охотно согласилась на предложение брата и переехала к нему.

В противоположность Василию Лазаревичу, очень замкнутому, несмотря на свою приветливость, Агния была чрезвычайно разговорчивая, легко со всеми сходилась, с нею было нетрудно поддерживать разговор, тем более что она была человеком всесторонне образованным.

Обыкновенно, когда Василий Лазаревич вечером ходил заниматься к себе в башню, он поручал сестре заботиться о гостях, частенько его посещавших, не забывая при этом заметить:

— Я вполне полагаюсь на тебя, Агни, ты сумеешь всех занять и не дашь никому соскучиться!

II

Сегодня, несмотря на то, что ожидалось чудное вечернее небо, наш хозяин медлил уходить, поддерживая наш оживленный разговор.

Всех нас было пятеро. Двое приехавших из Петербурга, с целью отдохнуть от столичной суеты и провести весну в Крыму, сосед Гуторина Астафьев, молодой человек с женой, и хозяин.

Агния Лазаревна все время хлопотала об ужине и не находилась с нами.

Несмотря на апрель, на балконе не было сыро. На столе стояли прошлогодние фрукты, крепкое вино из Никитских погребов, ароматное, густое, отливавшееся на свет рубином, когда фужер, налитый им, пронизывал отблеск лампы, стоявшей в комнате.

— Да, Василий Лазаревич, вы живете здесь прекрасно, — мечтательно заметила Юлия Павловна, жена соседа, — у вас все есть. Но знаете, скажу вам откровенно, я бы не поменялась с вами жизнью.

— А почему так? — услышала она строгий вопрос хозяйина.

Сумерки сгущались. Лица сидящих заволакивались дымкой и расплывались, их было не видно...

— Да разве вы в действительности живете! Вы прозябаете, — с легким оттенком злорадства прозвучал голос соседки.

Толстая подошва ее сапожка настойчиво застучала о пол.

— Вы думаете так? Но на чем это основываете? — последовал спокойный вопрос, хотя огонек сигары, которую курил хозяин, нервно вспыхнул.

— Вы, о, я уверена, никого никогда не любили и... простите, мне кажется, вас... тоже не любили, — торжествующе подчеркнула Юлия Павловна.

— Ну-ну, Юленька, разве можно вторгаться так в чужую душу, — попытлся остановить жену супруг.

— Молчи, Сережа, ты в этом ничего не понимаешь! — резко обрезала его жена и настойчиво заметила хозяину:

— Ну, сознайтесь, вы не любили и не были любимы?

— Однако, как вы любопытны, — вмешался я. Меня немного начинали сердить ее расспросы.

— Я нисколько не обижаюсь на вас, Юлия Павловна, и, если позволите, как-нибудь в другой раз постараюсь доказать, что вы неправы, — выдержанно отозвался хозяин.

Нога гостьи еще нетерпеливее застучала по полу, любопытство ее было сильно задето, ей не терпелось сейчас же услышать хотя часть признания спокойного человека.

— Нет, нет, я надеюсь, что вы расскажете нам сегодня... сейчас, — капризно проговорила Астафьева.

— Ну, Юля, как тебе не совестно настаивать! Василий Лазаревич может на тебя рассердиться, твоя настойчивость переходит пределы чуткости, — недовольно заметил муж.

Я и мой приезжий товарищ молчали. Теплый вечер настаивал мечтательно, не хотелось увлекаться спором.

Стало совсем темно. Вспыхнувшие на небе звезды загорелись еще ярче.

Воцарилось неловкое молчание.

— Хорошо, — неожиданно раздался мягкий голос хозяина, — если вы так настаиваете, Юлия Павловна, я согласен вам рассказать кое-что из моей жизни. Разумеется, настоящих имен я не открою, но сами факты будут правди-

вы, и из них вы увидите, мог ли я когда-нибудь увлекаться и любил ли меня кто-нибудь. Надеюсь, вы мне поверите на слово.

В голосе говорившего прозвучала легкая усмешка.

Гостья невольно смутилась, ей, по-видимому, стало неловко своей настойчивости, она готова была отказаться от своего любопытства, но было поздно.

Огонек сигары Василия Лазаревича загорелся ярче; он выпустил дым после большой затяжки, чуть заметно вздохнул и начал рассказывать.

III

— Нужно вам сказать, что я очень люблю читать песни Мирзы Шаффи и увлекаюсь этим автором. Вы, вероятно, знаете, что под этим псевдонимом писал Фридрих Боденштедт, но он так удачно уловил персидский характер, настроение, что трудно поверить в их европейское происхождение. Вот одна из них, разумеется, в русском переводе, скажу, недурном:

Серое окно
Хитро, жестоко;
Карие очи —
Признаки ночи;
Глаз голубой —
Добрый, прямой.
Очи же черные неисследимы,
Словно суд Божий — неисповедимы.

— Вам, наверное, странно, что я привел это стихотворение, но оно именно и есть завязка моего рассказа. Находясь в Севилье, я вспомнил из описания о ней, что самое интересное в этом городе: это ночные ухаживания женихов за невестами, когда девушка стоит за окном, скорее называть его можно дверью, с крепкой железной решеткой, и

беседует оттуда со своим нареченным, находящимся на улице, причем нередко это окно расположено во втором этаже и бедняку приходится все время разговаривать со своей суженой, задрав голову; в первый же вечер после моего прибытия, отправился я наблюдать испанские нравы, в особенности этот обычай, носящий название «*pellar la pava*» — «щипать паву».

С первого же шага моя ночная прогулка увенчалась успехом. В темноватых улицах Севильи отовсюду доносились тихие разговоры этих новиос со своими сужеными, так что, когда я прошел один квартал, то мне уже надоело подслушивать их речи, переполненные восторженными названиями, фантастическими сравнениями и любовным бредом... Но «серое окно хитро и жестоко»! Проходя мимо одного из них, казавшегося пустынным, я неожиданно услышал чей-то женский голос, окликнувший, по-видимому, меня:

— Сеньор странхиеро!

От неожиданности я вздрогнул, вначале подумав, что восклицание относится не ко мне, хотел идти дальше, но голос повторил те же слова, что заставило меня остановиться и подойти к окну. Должен вам сказать, к числу моих знаний принадлежит и довольно сносное знание испанского языка. Я приготовился слушать.

— Мне скучно, сеньор, мой новиос рассердился на меня и вот уже третью ночь не приходит говорить со мной, а мне так хочется поболтать, — услышал я тот же голос.

Он был мягок, но в то же время звучен. Придыхание, свойственное испанцам, красиво сливалось с гласными буквами.

— К вашим услугам, сеньорита, охотно, но о чем мы будем говорить?

— О чем хотите! Помните только, что наш разговор не должен быть скучен, иначе не стоит и разговаривать, — капризно заметила моя невидимая собеседница.

Разумеется, после этих слов я старался изощряться в красноречии, придумывал невероятные рассказы, положения и, видимо, успел в этом, потому что незнакомка все время весело смеялась и поощряла меня горячими воскли-



цаниями.

Мы долго болтали. Не скажу, чтобы мне это надоело, но я устал стоять перед железной решеткой, никого перед собой не видя.

— Однако, сеньорита, я употребляю все усилия, чтобы вас позабавить, кажется, успел в этом, а до сих пор не только не знаю, с кем говорю, но даже не вижу вас, — решился я, наконец, высказаться.

— Приходите завтра в это время, и вы меня увидите.

— Но все-таки... Протяните хотя вашу ручку, чтобы я мог ее поцеловать.

Раздался веселый смех и сквозь широкие проемы железной решетки показалась небольшая женская рука. Я почти-точно поцеловал ее, но она не отдернулась: владелица ее, видимо, ожидала повторения. Но я ограничился одним поцелуем, кинул ей характерное — «доброй ночи» — и пошел обратно в свою гостиницу, усталый от долгого стояния на ногах перед окном.

IV

— Приключение становится очень занятным, — слышалось одобрительное замечание Астафьевой.

Василий Лазаревич хотел зажечь лампу, но мы воспротивились. При искусственном свете необходимое для такого рассказа настроение могло исчезнуть. Кто-то впотьмах пытался налить вино в наши стаканы и опрокинул один из них.

— Какой вы неловкий! — не утерпела заметить Юлия Павловна.

Из комнаты через открытую дверь слышался голос Агнии Лазаревны:

— Я приготовила закуску, скоро вы там кончите ваши разговоры?

— Скоро, скоро! — кинул ей в ответ брат и продолжал рассказ.

— Что вам сказать дальше? Я каждый вечер направлялся к знакомому окну, разговаривал...

— Но вы все-таки увидели незнакомку? — бойко спросила Астафьева.

— О да, на другой же день она так поставила лампу в комнате, что я отлично рассмотрел всю фигуру и лицо моей незнакомки. Впрочем, для меня она теперь не была уже незнакомкой, так как я узнал ее имя... Долорес.

— Она была очень красива? — полюбопытствовал я.

— Да, она была красива своей молодостью, свежестью слегка смуглого лица, стыдливого румянца, глубокими темными глазами, в которых таилась бездна, и изумительными, иссиня-черными волосами, очень длинными и пышными.

Обыкновенно, испанки малообразованны, детски наивны и совершеннейшие невежды относительно всего. О России и русских они не имеют никакого понятия, для них мы что-то вроде самоедов, белый медведь и русский — синонимы, по их мнению, и вопрос Долорес о том, христианин ли я, меня не только не поразил, но даже не заставил рассмеяться. У испанок только три нации христиан — *los christianos* испанцы, итальянцы, а последними идут французы и то под некоторым сомнением. Мне удалось убедить мою ночную собеседницу, что я настоящий христианин и в доказательство я показал ей крест, который постоянно ношу.

В одну из таких бесед она рассказала мне, что ее но-виос бросил ее потому, что считал за колдунью.

— Как, почему?! — забросал я ее вопросами.

Девушка задумалась, нерешительно поглядела на меня, точно опасаясь, что, услышав правду, и я ее покину, но потом загадочно улыбнулась и рассказала мне причину.

— Вам, сеньор Базилио, может быть, известно, что жемчуг может умирать. Тускнеет загадочный мягкий свет его, погасают мерцающие переливы и даже теряется матовый блеск его зерен. Это мы, женщины, называем «смертью», и из прекрасного драгоценного украшения он превращается в ничего не стоящие бусы. Когда я еще была маленькой, отец мой, много плававший в море, привез в подарок моей матери нитку жемчуга. Мама носила ее, но потом, как вот я вам сейчас сказала, жемчуг этот неожиданно потускнел, погас и умер. Мама очень расстроилась этим, она любила подарок отца, тем более, что теперь уже никто не мог ей больше подарить такой драгоценности, — мой отец умер. Мама спрятала жемчужную витку и больше не одевала. Как-то раз случайно я ее нашла, надела на себя, прямо на шею, целый день играла с ней и, ложась спать, забыла снять ее.

Утром, поднявшись, я отправилась поздороваться с мамой. Только что она заметила драгоценное украшение, как бросилась ко мне, чтобы снять его с меня, и вдруг неожиданно остановилась, широко раскрыв глаза от изумления.

— Неужели ты «indovina»? — прошептала мама, все еще не веря своим глазам.

Оказалось, что, соприкасаясь в продолжение ночи с моим телом, жемчуг «ожил», возродился, заблестали его переливы, загорелся таинственный свет жемчужин, он стал прежним.

Средств у нас особых не было. Мама воспользовалась моей способностью и стала брать сперва у соседей, потом и у посторонних лиц для исправления такой погасший «мертвый» жемчуг.

Я вспомнил о поверье, что некоторые из женщин обладают свойством кожи таинственно влиять на жемчуг и восстанавливать его прежнюю стоимость, давать ему жизнь.

— И вот, благодаря этой моей способности, мой новиос Антонио счел меня колдуньей, еретичкой и бросил меня.

Мы все заинтересовались рассказом хозяина, с нетерпением ожидая развязки его.

— Почти месяц прожил я в Севилье, потом обстоятельства заставили меня переехать в другую страну. Я расстался с Долорес довольно спокойно. За это время она успела приобрести себе настоящего новиоса и все внимание обращала на него, я был только временным, так сказать, подставным.

V

Прошло несколько лет. Мне пришлось как-то быть в Неаполе. Я там занимался в обсерватории Пальмиери, часто бывал в высшем кругу неаполитанцев, куда мне удалось проникнуть, благодаря этому ученому. Меня очень интересовала жизнь этого круга. Почему-то и мною заинтересовались неаполитанцы и постоянно приглашали на все балы,

рауты, пикники. Ни один блестящий праздник не обходился без моего присутствия.

Как-то целая компания собралась поехать в Позилиппо на праздник Пие-ди-Гротта. В то время автомобилей еще не было, целая вереница блестящих экипажей понеслась по пыльной дороге. Мы разместились в роскошных ландо по четверо, две дамы и два кавалера. Так как у меня не было постоянной спутницы, то ею на этот раз оказалась какая-то графиня, видная красивая женщина лет двадцати пяти-шести. Она сидела против меня и не раз вглядывалась в мое лицо.



Когда мы вышли из коляски, я предложил ей руку и мы пошли сзади другой пары.

— Мы знакомы, — с легкой улыбкой заметила графиня, — и встречались с вами не раз.

Меня заинтриговали ее слова.

Фамилия графини была мне совершенно неизвестна, лицо ее что-то напоминало мне знакомое, но как-то смутно, неясно, точно сквозь сон или дымку.

— Вспомните Севилью, окно ночью, новиос...

Этого было достаточно, чтобы предо мной предстало все, как живое, и болтовня с Долорес перед железной решеткой в улице Командора, ее наивные вопросы и рассказ о таинственной силе воскрешать жемчуг, которой она обладала...

— Так вы Долорес! — обрадованно воскликнул я. — Боже мой, какая встреча, через столько времени!

— Да, сеньор Базилио, это я, та простушка Долорес, которой вы много рассказывали и которую многому чему научили, — улыбаясь, призналась она мне.

Точно чем-то далеким, отрадным, напоминавшим мне мою молодость, невозвратные годы, пахло на меня при этих воспоминаниях.

— Но как же случилось, что вы контесса Санаба? Ведь у вас, кажется, был настояний новиос?

Задумчивая тень промелькнула на лице моей спутницы, она посмотрела мне в глаза, слабо вздохнула и промолвила:

— Это вы говорите про Энрико? Он недолго был им. Случай заставил меня приехать сюда в Италию, в Рим.

Королеве Маргарите понадобилось восстановить чрезвычайно драгоценное жемчужное ожерелье, которым она очень дорожила, так как оно было подарком покойного ее супруга, короля Гумберта, и мне прислали приглашение приехать для восстановления жемчуга. Обо мне уже все знали и весть о способности моей распространилась повсюду. Меня полюбили при дворе. Уехать обратно в Испанию так мне и не удалось. В Риме оказалось много знатных дам, нуждающихся в моих услугах, золото катилось ко мне со всех сторон. Так как по отцу я принадлежу к старинной испанской фамилии, то со мной обращались, как с равной. Неожиданно появилось много желающих получить мою руку и сердце. Я долго колебалась...

Ее взгляд снова упал на меня.

— У меня еще не остыло сердце от прежнего... — тихо промолвила контесса, — но нужно было решиться; я выбрала из всех зол меньшее — вышла за теперешнего моего супруга, — чуть заметно насмешливый огонек загорался в ее темных глазах, — его сейчас нет на празднике, но вы его увидите и, вероятно, одобрите мой выбор. А теперь, давайте веселиться!

И мы, действительно, отдались в этот вечер веселью...

VI

Долорес сдержала свое обещание, познакомила меня со своим супругом. Шутила ли она надо мной, что я одобряю ее выбор, или у нее была при этом какая-нибудь скрытая мысль, но, когда я посмотрел на графа Санаба, на эту длинную высохшую фигуру рано состарившегося человека, на его плешивый череп, на монокль в подслеповатом глазу, послушал его разговор, не выходящий из пределов благопристойных глупостей, — пожалуй, я отчасти одобрил ее выбор: принесся с собой прекрасное старинное имя, чудный родовой замок на юге Италии, полинявший герб которого был позолочен деньгами Долорес, зарабатывавшей очень много своим таинственным искусством, такой муж был для нее чрезвычайно удобен, а главное, он ни в чем не стеснял ее.

Я прожил в Неаполе весь сентябрь, а в начале октября графиня пригласила меня погостить к себе в замок. Там я провел время до начала декабря.

Я не буду ничего говорить о том как протекли эти дни, упомяну только, что они пробежал для меня незаметно. Я все время был, как во сне. Действительно, это был сон. Сам граф Санаба оставался в Риме, у него была при дворе какая-то должность. Я жил в замке только с одной графиней.

В одну из прогулок по роскошному парку, она мне неожиданно сказала:

— Знаете что, Базилио, я вам впоследствии сделаю подарок; если вы его не примете, то меня бесконечно оскорбите. Вспомните только, что это подарок от женщины, которая вас беззаветно полюбила с самой первой встречи.

— Разумеется, разве это можно спрашивать! Я и теперь готов для вас все сделать!

— Вы знаете Базилио, мне предсказала одна женщина в Неаполе, что я проживу недолго, — задумчиво продолжала Долорес.

— Неужели вы верите предсказаниям?

— Да, верю, я уже испытала одно из них: когда я была еще маленькой, у нас, в Севилье, проходящая цыганка по руке угадала всю мою будущность, всю удачу, которую я испытала в жизни... Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне становится все ясным, так разве я могу не поверить и этому предсказанию?

Мы оба были так счастливы, что сейчас же воспоминание о мрачном предсказании было мною позабыто, не старалась вспоминать о нем и Долорес.

В конце ноября на несколько дней в замок приехал сам граф; его присутствие привлекло в замок соседей, состоялся сельский вечер, танцы. Долорес была одета в ярко-гранатовое бархатное платье, белые плечи ее красиво выделялись на мягком бархатном фоне.

Танцы, веселые фарандолы вылились из зал замка в сад, веселье продолжалось на воздухе. Но ноябрь давал себя чувствовать и здесь, на благодатном юге. В парке было сыро, холод пронизывал разгоряченные тела танцоров.

Я пробыл еще несколько дней у графа Санабы, но затем мы расстались, я поехал в Англию, а графская чета отправилась в Рим, так как там начинался зимний сезон. Придворные балы следовали один за другим, и римской знати непременно нужно было бывать на них.

Я не мог думать, что это свидание мое с Долорес было вторым и последним.

VII

Прошло еще года три, я вернулся из моих странствий обратно в Россию и временно поселился в Петербурге, рассчитывая в скором времени перебраться сюда, в Крым, но обстоятельства все-таки продолжали держать меня в приневской столице. И вот, однажды, я помню, это было после обеда, в квартире моей раздался звонок. Горничная передала мне принесенный почтальоном пакет, довольно большой, и письмо, конверт которого был окаймлен траурной рамкой. Пакет был плотно набит чем-то и мягко перегибался. Я приказал девушке вскрыть его, а сам начал распечатывать письмо.

Горничная быстро исполнила мое приказание, взрезала ножницами марлевый пакет, откуда выскользнул на пол какой-то сверток. Она с любопытством подняла его, развернула восковую бумагу, в которую он был завернут, вскрикнула и вся затряслась. Я только приготовился читать письмо, кинул изумленный взгляд на прислугу и недовольно спросил:

— Что это такое, почему вы вскрикнули?

— Барин, там лежит...

Она не могла досказать, побледнела, продолжая трястись...

Я поднял сверток, развернул его и положил на стол. В нем был какой-то кусок белой, толстой, холодной кожи.

Изумленный такой посылкой, я схватил письмо, надеясь, что оно мне объяснит, в чем тут дело, и бегло пробежал его...

Вот что писали мне...

Василий Лазаревич, видимо волнуясь, достал из кармана пиджака письмо, попросил зажечь свечу и прочитал письмо:

Многоуважаемый господин Гуторин! Я исполняю желание умершей жены моей, до безумия любившей вас. Злой недуг подточил ее цветущее здоровье, она простудилась тогда в зам-

ке во время веселой фарандолы в саду и получила чахотку. За день до смерти она взяла с меня клятву, что я перешлю вам, на другой же день после ее смерти... кожу с ее плеч, которыми вы так любовались при вашем последнем посещении. Как ни странно, но я должен вам передать ее последнее желание: чтобы вы переплели в эту кожу экземпляр сочинений вашего любимого писателя.

Граф Эудженио Санаба.

— Письмо это написано по-итальянски, но я прочитал вам его по-русски.

Такой неожиданный конец заставил нас всех остолбенеть.

— И вы?.. Вы исполнили волю умершей? — нерешительно спросила Астафьева

— Господа, пожалуйста закусить! — раздался из комнаты голос Агнии Лазаревны.

Мы поднялись с кресел и отправились в столовую. Здесь, на террасе, начиналась чувствоваться сырость, апрель сказывался. Наш хозяин на минуту прошел к себе в кабинет и сейчас же вернулся с небольшой книгой в руке. Подойдя к госте, он протянул ей книгу. Это было сочинение Фламариона: «Небо и Земля». Красивый белый переплет был предупредительно закрыт толстой бумагой. На нем было вытиснено золотыми буквами: «В воспоминание об умершей». Обрез книги был красный, усеянный золотыми звездами.

Юлия Павловна трепещущими руками боязливо взяла книгу, рассеянно глядя на хозяина.

— Я исполнил, как вы видите, последнюю волю графини Санаба...



Георгий Северцев-Полилов

КРОВАВЫЙ ЦВЕТOK

— Из моих воспоминаний об old merry England (старой, доброй Англии), где мне пришлось четверть века тому назад прожить несколько лет, мало что осталось в моей памяти.

Так ответил Максим Ермолаевич, крупный финансовый деятель, на просьбу немногочисленного кружка его друзей, расположившихся после обеда в его кабинете за кофе с ликерами, рассказать что-нибудь об его жизни в Великобритании.

— Неужели этот период времени совершенно улетучился из ваших воспоминаний? — шутливо-насмешливо заметил один из собеседников, жизнерадостный блондин, бухгалтер того кредитного учреждения, где был директором хозяин.

— Известный промежуток времени сглаживает те особенности, ту рельефность впечатления, которые могли обратить внимание тогда, впрочем....

И Синев внезапно умолк...

Его крупная, чисто-русская, немного распылчатая фигура, с большой темно-русой бородой, вдумчивыми серыми глазами, еще глубже ушла в кресло, на котором он сидел; левая рука нетерпеливо терла высокий лоб, тогда как правая лежала без движения на ручке кресла.

— Это небольшая история, впрочем, в то время меня очень интересовавшая, и если желаете — я вам ее расскажу.

В согласии слушателей нельзя было сомневаться.

— Посланный моим покойным отцом в Лондон, чтобы изучить условия иностранной торговли, я, благодаря привезенным с собою рекомендациям, скоро нашел себе место в одной из лондонских фирм. Изумлению моему не было предела, когда я узнал, что должен служить даром, только ради практики.

Долго думать мне было нельзя, и уже на другой день я сидел в темноватом бюро моих новых хозяев, усердно выписывая всевозможные коносаменты и счета.

К моему изумлению и, нужно прибавить, к нескрываемому удовольствию, в числе служащих фирмы Куксмун и К^о я встретил моего соотечественника, Василия Венедиктова.

Кто из вас, господа, не знает, как приятно встретить на чужбине земляка? Одна возможность говорить на родном языке, после постоянных «oh yes! all right!» англичан, невольно заставляет сейчас же сойтись со своим соотечественником.

Это случилось и между нами. Не прошло и двух дней, как я и Вася стали неразлучными друзьями. Вы смеетесь, господа, но ведь четверть века отделяют вас от того времени, когда еще верили в дружбу, когда скептицизм далеко не так сильно владел сердцами людей.

Я жил на Chester-square, а мой приятель ютился где-то недалеко от самого City. В будни занятия в office (конторе) настолько утомляли нас, что о прогулках или развлечениях вечером не было и речи, — каждый из нас был вполне счастлив вернуться к себе домой, пообедать, выпить четверть пинты хорошего портера и взять какую-нибудь книгу с тем, чтобы сейчас же задремать, пока резкий голос служанки не разбудит к чаю. Но зато в субботу вечером и все воскресенье мы посвящали время увеселениям всякого рода, начиная от бесцельного шатания по Пикадилли и кончая поездками в Итон, Вульвич и прочие интересные по своему прошлому города и местечки. В одно из воскресений мы попали на скачки, в небольшой городок New-Market.

— Проклятый городишко! — ворчал мой приятель, раздосадованный проигрышем на скачках; большая часть наших скромных средств перешла в широкие карманы букмекеров.

Это было еще тем досаднее, что отыгратися не было возможности, стоял конец июля и сегодняшние скачки были последними. Июльское солнце палило немилосердно, когда нам удалось добраться до небольшой харчевни, чтобы скрыться от зноя и выпить прохладительного. Три с половиной часа, проведенные на ипподроме, все время на солнце, превратили нас в какой-то студень. Как приятно было опуститься на стулья после долгого стоянья на ногах. Кроме нас, в харчевне находилось еще несколько человек. Это тоже были счастливые или несчастливые участники минувших скачек. Среди шума и возгласов полупьяной толпы

вдруг слышался плаксивый голос продавца и исполнителя баллад, до сих пор находящих себе любителей и ценителей в Англии.

— Э, гей, Джим, что же ты раньше не приходил, — слышался хриплый голос молодого парня, — я бы тогда не проигрался. Куда это тебя носит только! — закончил говоривший недовольно.

— Ну, что за беда, ты проиграл, а я выиграл, — заметил другой из компании.

— Rascal! (разбойник), твой кошелек пополнен за счет моего, — ответил первый, — таким людям, как ты — счастье валит.

Ссора разгоралась.

Напрасно удерживали благоразумные из их компании двух противников; Билль ругал Джонни невозможным образом. Драка была недалека; и действительно, не прошло и минуты, как оба парня схватились, осыпая лицо противника кулачными ударами по всем правилам бокса.

Исполнитель баллад, испитой, чахлый старик, лет пятидесяти, очутился во время драки около нас и, увлеченный, как истинный британец, исходом борьбы, держал пари с другими зрителями.

Борцы не удовольствовались тесным помещением харчевни, выбежали на луг, лежащий перед домом, и там продолжали бой.

Подобно древним певцам и поэтам, воспевавшим героев, торговец балладами воодушевился и начал гнусавым голосом петь о битве, когда-то происшедшей между англо-саксами и норманнами в окрестностях New-Market'a.

Расквасив друг другу носы, боксеры прекратили свое достойное занятие и, минуто спустя, мирно беседовали за кружкою портера. Наш же исполнитель баллад продолжал машинально гнусавить слова баллады.

Меня все больше и больше интересовал сюжет ее. В нем рассказывалось, как осажденные в замке англо-саксы долго держались против врага, но когда все запасы были истощены, когда колодцы, снабжавшие замок водою, иссякли, осажденные предложили норманнам сразиться грудь с гру-

дью во рву замка. «Чем судьба решит, так и будет». Нормандцы согласились и враждующие сошлись. Бой длился долго, но в конце все же был неблагоприятен для осажденных, они все полегли во рву, — с ними вместе пало немало и норманнов.

«Века прошли, упали стены, травой заросли бойницы, паутина заволокла покои в башнях. Где был двор — там теперь стоит лес, где струился ручей — там прошла соха пахаря, — все запустело, все одичало. Люди, их злоба, ненависть, раздоры — все глубоко спит под землею. Все тихо вокруг, ничто не напоминает о минувшем, только один цветок, только один Bloody Flower (кровавый цветок) говорит людям о том, что здесь произошло. Он дает им счастье и горе».

Певец закончил свою балладу и хотел уже уходить, получив несколько пенсов за печатный текст исполненной им баллады.

Меня очень заинтересовала она, и я, толкнув товарища, последовал за старым Джимом.

День уже клонился к вечеру, солнце не так пекло, как раньше, утомленная природа сбрасывала с себя это томление, в которое была погружена целый день. Побуревшие кустики травы вдоль дороги беспомощно глядели из окутавшей их пыли. Золотившиеся под косыми лучами заходившего солнца поля спеющего ячменя, слегка волнующиеся ветром, переливались, точно море. Кое-где светло-зеленым бордюром оттеняли их узкие полоски льна. Высохшие колосья пшеницы гармонично шептались друг с другом. Густой ковер клевера с малиновыми и белыми помпонами манил поваляться на нем... На скошенных уже лугах бродил скот, меланхолично позвякивая жестяными колокольцами. Высоко в воздухе звенел запоздавший невидимый жаворонок, кузнечики и стрекозы тянули свою однообразную песенку.

Общая гармония природы как-то восстанавливалась при полной безлюдности дороги. Из покинутой только что нами харчевни несясь резкий гул голосов.

Старый балладчик, не торопясь, шагал по пыльной дороге. Его небольшой ящик с печатными экземплярами баллад висел у него за спиной. Вся бурая от непогод широко-

полая шляпа не мешала сильно вьющимся волосам Джима выбиваться из-под полей ее.

Догнать его не представляло труда. Он испуганно посмотрел на нас, когда мы поравнялись с ним и пошли рядом.

— Скажите, пожалуйста, Джим, — сказал я ему, — существует это место и до сих пор, о котором говорит ваша баллада?

Старик презрительно взглянул на меня и проговорил:

— Все, что старый Джим поет в своих балладах — все это правда.

— А вы можете показать нам это место?

— Показать я вам его покажу, только прошу вас, не рвите *Bloody flower*, он редко приносит счастье, чаще горе, несчастье!

Мы оба охотно дали Джиму обещание, что не тронем его «Кровавого цветка» и, успокоенный этим, он нас повел к месту знаменитой битвы.

Далеко за городом мы встретили жалкие развалины древних укреплений. Приближаясь ближе к месту битвы, мой товарищ вскрикнул от восхищения.

Все пространство лежащего под нашими ногами широкого рва было покрыто крупными, ярко-красными цветами. Толстые, с колючками, вроде кактуса, листья еле виднелись среди пятилистных красных цветов. Ров казался залитым кровью.

— Вот, видите эти цветы, — сказал наш проводник, — они выросли на костях и пролитой здесь крови. Нигде, кроме этого места, в нашей Англии вы не найдете подобных цветов, да и у нас они цветут только в июле. Из листьев, если их разрезать, течет сок, точно молоко. Много горя придется испытать тому человеку, кто сорвет хоть один цветок. Бывает, впрочем, и наоборот, но только очень редко. Когда же действительно цветок принесет счастье, то оно никогда уже не изменяет.

Старик с суеверным страхом глядел на цветы. Невольно под обаянием рассказа и мною овладело какое-то неприятное чувство, между тем, страстное желание сорвать хотя один из этих роскошных пятилистных цветов не оставляло меня в покое.

— Мало ли что брешет выживший из ума старик, — заметил Венедиктов по-русски, — сорвем по цветочку на память, да и поедем домой.

И, послушав его, я сорвал себе и ему по цветку. Когда вернулся взбиравшийся в руины Джим, я и Венедиктов спрятали сорванные цветы в шляпы; наш поступок был им не замечен.

— Если вы, молодые господа, желаете, можно посмотреть и руины, — заметил он и предложил подняться выше.

Мы охотно согласились и, карабкаясь по крутому скату, начали взбираться в старую крепость.

Первым наверху очутился я и с восхищением стал осматривать расстилавшиеся кругом меня живописные виды.

Глубокий ров, из которого я поднялся, сплошно усеянный красными цветами сверху, еще более казался наполненным кровью. Странное чувство отвращения при этом сходстве заставило меня обратить внимание на другую сторону холма.

Бесконечная панорама возделанных полей красивой лентой убегала вдаль.

Я невольно залюбовался ею, как вдруг внезапный крик проводника заставил меня быстро оглянуться назад.

Венедиктов, уже достигнувший вершины холма, оступившись, быстро катился книзу, тогда как продавец баллад, крича, звал меня на помощь.

Подобное падение не могло принести много вреда моему приятелю: густая трава ската смягчала падение его, и я не беспокоился о нем.

Он быстро скатился в ров и черным пятном выделялся на кровавом ковре.

— Ну, Вася, вставай, полно валяться! — крикнул я ему сверху. Но Венедиктов оставался неподвижным.

Видя, что мой приятель мне не отвечает, я быстро спустился из развалин в ров и бросился к нему.

Венедиктов, несмотря на мои толчки, не двигался. Предполагая, что он в обмороке, я старался привести его в чувство.

Увы, мои усилия были напрасны: Вася не подавал признаков жизни, и когда я с помощью проводника поднял его,

небольшая струйка крови, бежавшая из левого его виска, объяснила нам печальную истину.

Венедиктов был мертв.

При своем падении, он ударился во рву головой об лежащий там камень, последствием удара была смерть.

Кроме этого большого камня, во рву не было другого. Несчастный случай заставил его как будто нарочно упасть именно в этом месте.

При падении шляпа свалилась с его головы и роковой, сорванный им цветок валялся около него, своим завялым видом обращая на себя внимание проводника.

— Не послушал меня господин, сорвал цветок, — грустно проговорил старик, — несчастье его и постигло.

Все еще словно не веря тому, что за минуту перед этим полный сил юноша лежал перед нами холодным трупом, мы с проводником, осторожно подняв Венедиктова, понесли его в город в гостиницу.

Приглашенный врач подтвердил нам смерть моего приятеля.

Мне было жалко его, как постоянного спутника и товарища, но горе в молодые годы забывчиво и я скоро забыл о земляке, скрасившем первые месяцы моего скучного пребывания в Англии. Была ли здесь случайность, отомстил ли сорванный цветок за себя, — решить невозможно, это вне наших понятий, хотя вы, люди новейшей формации, несомненно улыбнетесь на это. Сохранившийся у меня цветок до сих пор приносил мне только счастье, вы это сами знаете, и горя мне приходилось испытывать мало.

— Вот, посмотрите, — продолжал хозяин, доставая из письменного стола коробку со стеклянной крышкой.

Совершенно высохший цветок лежал в коробке. Цвет его, цвет человеческой крови, — сохранился превосходно.

— Вот и вся моя история, — заключил хозяин, пряча снова в письменный стол коробку с цветком. — Рассказанный вам мною эпизод юных лет, хотя, может быть, и малоинтересен, но справедлив.

Гости прихлебнули из чашек ароматный кофе и молча согласились с Максимом Ермолаевичем.

Георгий Северцев-Полилов

У КОЛДУНЬИ

— Это произошло лет десять, одиннадцать тому назад, как раз во время рождественских праздников, — зазвенел голое экс-тенора. — Я возвращался из одного театра в Лигурии, после оконченного оперного сезона, в Милан. Состояние моего духа, а в особенности моего кошелька, было отвратительное. Несмотря на порядочные сборы, наш ловкий или неловкий импресарио сумел прогореть и, не заплативши никому из артистов денег, исчезнуть без следа. В кармане у меня оставалось, после покупки билета в Милане, немножко больше трех лир, почти только, чтобы доехать до Милана, не умерев с голода. В вагоне я проклинал своего милого импресарио, посадившего меня на мель. Справедливая поговорка, что несчастье не приходит никогда одно, вполне оправдалась.

Поезд, на котором я ехал, как оказалось, не шел дальше узловой станции Сан-Пьер-д'Арена. Приходилось сидеть на этом «узле» с девяти часов вечера до семи утра.

Из этого положения выручил меня железнодорожный жандарм, сообщивший, что всего удобнее для меня ехать в Геную, отстоявшую всего в трех километрах, с одним из товарных поездов. «Там вам будет удобнее и ночевать и с утренним прямым поездом отправиться в Милан». Отличная мысль. Я привел ее в исполнение, совершенно забыв в эту минуту о скудости своего наличного капитала.

Товарный поезд, громохкая скреплениями, подвез меня не на пассажирскую станцию города, а остановился где-то на берегу, около товарных амбаров.

Мне никогда не приходилось раньше бывать в Генуе, и подобная высадка в незнакомом месте невольно меня смущала. Для меня необходим был ночлег, идти в гостиницу я не решался, вспоминая о своих трех лирах, уже отчасти сократившихся.

— Не ночевать же мне в самом деле здесь у амбаров, — пришло мне в голову, — в таком случае мне было бы удобнее остаться на узловой станции, чем ехать сюда.

Залитая электричеством гавань лежала передо мной и я отправился вдоль нее, отыскивая какое-нибудь пристанище, чтобы провести ночь.

Стояло начало декабря. Разумеется, в благословенной Лигурии снег и морозы редкие гости. Несмотря на вечер, мне было тепло в моем демисезонном пальто.

Пройдя по длинной набережной, я разными узкими проулками, идущими в гору, добрался до освещенной площадки.

Это была площадь театра Карло Феличе. Величественное здание с освещенными электричеством портиками высилось передо мной.

В это время, по-видимому, был антракт и множество публики высыпало на перрон.

Время было уже 9 часов, я не мог медлить, чтобы отыскать себе место для ночлега. Один из публики, к которому я обратился с этим вопросом, указал мне на длинный ряд мелькающих огней.

— Это галерея Мадзини, там вы найдете все, что вам нужно.

Посмеялся ли генуэзец надо мной, или просто он не понял моего вопроса, но в узкой и низкой галерее были кафе-шантаны и траттории, но гостиницы не оказалось ни одной.

Незнакомый с городом, я не знал, что мне делать. Оставалось идти в большой отель и там ночевать, но, поступив таким образом, я осуждал себя на целый день невольного постничества. Махнув рукой, я решился на это и, пройдя опять мимо театра, вошел в первую попавшуюся улицу, рассчитывая отыскать отель.

Как нарочно, этой спасительной надписи я нигде не видел. Узкий переулок вывел меня на улицу Социлья. Древние дома высились со всех сторон.

Несмотря на ранний еще час, мне попадалось немного прохожих. Свернув немного правей, я оказался в очень узенькой улице, скорей переулке.

По обеим сторонам тянулись небольшие лавки, большая часть которых была уже закрыта. В витринах окон лежало множество золотых и серебряных изделий, преимущественно ажурной работы. Ожерелья, браслеты, масса всевозможных брелоков, перстни, кольца небрежно, но арти-

стически были разбросаны на плюшевом поле витрин.

Электричества в этой улице не было, его заменял газ. При помощи стенного фонаря я прочитал на углу название улицы: *Via Orefici*, то есть улица золотых дел мастеров.

— Вот куда попал, — пришло мне в голову, — в колыбель знаменитых ажурных работ, так прославивших искусство генуэзцев.

Красная надпись, освещенная изнутри газовым рожком, привлекла мое внимание.

— «*Albergo*», — прочитал я обрадованным голосом. Это был желанный приют, пристанище на ночь, дешевая гостиница.

Чтобы попасть в него, мне пришлось спуститься вниз по узким гранитным ступеням. Старинная массивная дверь из дуба преградила мне дорогу. Не вышедшим еще из употребления в Генуе дверным молотком, служащим вместо звонка, я постучал в дверь. Удар молотка гулко раздался.

Немного спустя захрипел в замочной скважине ключ, и дверь в «*Albergo*» распахнулась. Предо мной стояла средних лет женщина с лицом смешанного типа, как это встречается зачастую в Генуе. Сурово окинув меня взглядом, она коротко меня спросила:

— Комнату на ночь?

Измученный ее догадливостью, я вместо ответа кивнул в подтверждение головой.

Звонко побрякивая массивными ключами, висящими у нее на поясе, женщина пошла вперед, приглашая меня следовать за ней.

Невысокий сводчатый коридор, плохо освещенный двумя керосиновыми лампами, тянулся довольно далеко. Пол был выстлан мраморными плитами, стершимися от времени. По обеим сторонам коридора, в нишах толстых стен, я заметил несколько дверей.

Указывающая мне дорогу женщина, обутая в мягкие туфли, шла бесшумно, тогда как мои шаги глухо отзывались под сводом. Не дойдя до самого конца коридора, моя вожатая сняла с пояса один из ключей и отворила им предпоследнюю дверь направо.

Мы вошли в комнату — запах плесени, присущей редко проветриваемым помещениям, сразу охватил меня. Женщина зажгла свечу и комната озарилась слабым светом. Меня поразила ее странная форма. Стены шли неровно, во многих местах были глубокие ниши, у одной стены стоял деревянный стол старинной работы, ничем не покрытый, в правой нише висел глиняный умывальник, тут же стояла громадная деревянная кровать, на которой могли улечься четверо. Не совсем опрятные подушки валиками и простое сукно, вместо одеяла, лежали на ней. Да, еще одну особенность я забыл упомянуть: в комнате не было не только окна, но даже какого либо просвета; куда я только ни смотрел, всюду мои глаза встречали голые крашеные стены.

— Больше ничего? — снова лаконически спросила меня хозяйка.

— Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта комната?

На суровом лице женщины промелькнула улыбка.

— Пол-лиры, надеюсь, не будет дорогой ценой для сеньора, — ответила она.

Такая дешевая плата позволяла мне затратить кое-что и на ужин, я сильно проголодался.

— Принесите мне кусок стракино и пол-литра вина.

Женщина спокойной походкой отправилась за тем и другим. В ее отсутствие я снова начал осматривать комнату, изумляясь все больше и больше ее постройкой.

Хозяйка не заставила себя ждать. Поставив сыр и вино на стол, она хотела уже уходить, но любопытство мое относительно помещения, в котором я находился, настолько возросло, что я не удержался и спросил хозяйку:

— Скажите, падрона, что такое было здесь раньше?

Она с изумлением на меня посмотрела и медленно проговорила:

— Более четырехсот лет тому назад здесь были склады драгоценных вещей генуэзских купцов, ювелиров и серебряных мастеров. Эти подвалы доходили до подвалов биржи и когда-то соединялись вместе.

— А теперь? — с любопытством спросил я ее.

— Во время нашествия французов в 1805 году, когда здесь были скрыты сокровища генуэзских вельмож, проход из биржевых погребов был заделан окончательно.

— Так значит, Наполеон ничего не нашел?

Падрона горделиво усмехнулась.

— Ничего! Тщетно обшаривал он все биржевые подземелья, но входа сюда не нашел. Да никто и не знал о существовании этого помещения. Тайна подземной кладовой свято хранилась среди купцов и мастеров. Вступая в союз, ювелиры и мастера соблюдали тайну.

— Когда же здесь был устроен «Albergo»?

— Не мало уже лет, синьор. В 1815 году перешла Генуя под владычество Сардинии. Богатства, спрятанные здесь, были уже вполне безопасны, владельцы их взяли обратно, а пустое подземелье было временно обращено в государственную тюрьму: посмотрите-ка, какие здесь стены — не убежишь!

Я безмолвно с ней согласился.

— А затем, когда была построена новая тюрьма, здесь основалось «Albergo di Tesoro»... Впрочем, если синьор так интересуется нашей стариной, сегодня очень удобный случай еще ближе с нею познакомиться...

— Каким образом? — сорвался с моих губ вопрос.

Хозяйка наклонилась ко мне и таинственно прошептала:

— У меня сегодня ночует колдунья Концепциона.

Долго живя в Италии, я много слышал об этих колдуньях, пользующихся большим успехом среди суеверных итальянок. Не только средний класс, но даже всевозможные дукессы и принципессы итальянские прибегают к их услугам довольно часто. Подобная колдунья может приворожить любимого кавалера, если он охладил к любящей его девушке и даме, наколдовать болезнь или несчастье на ненавистного субъекта, соединить любящие сердца, помочь в амурных проделках важным по виду, но блудливым черноокиим дукессам. Одним словом, это нужный фактотум чуть ли не для каждой итальянки.

Познакомиться поближе с подобной колдуньей я пытался уже не раз, но как-то все не удавалось.

— Она будет очень довольна, если синьор предложит ей выпить стакан вина и даст ей маленький подарок в виде пол-лиры.

— Недорого ценится колдовство в Италии!— пришло мне в эту минуту в голову.

— Пригласите, падрона, достопочтенную колдунью ко мне.

Не знаю, поняла ли хозяйка мою иронию, но она на этот раз быстро ушла из комнаты и, немного погодя, вернулась вместе с колдуньей.

Разыгралась ли у меня в это время фантазия или это была действительность, только явившаяся колдунья поразила меня. Обыкновенно на сцене грим для колдуний и ведьм существует следующий: седые растрепанные волосы, желтое, морщинистое лицо, нос крючком, почти соединяющийся с выдвинувшимся вперед подбородком, ввалившийся рот и блестящие впалые глаза... Портрет колдунии, явившейся ко мне в комнату, далеко не был похож на только что приведенный тип. Высокая, стройная женщина лет двадцати пяти, с роскошными черными волосами, изящным овалом лица, тонким, точно выточенным носиком, полными пурпурными губами, закрывающими два ряда белых зубов, большими темными глазами, как-то властно охватывающими того, на кого она смотрела, стояла передо мной. Красивым жестом она протянула мне свою руку и, не выказывая никакого изумления, спокойно заметила:

— Синьор из далекой холодной страны востока приехал к нам в Италию пожинать своим пением лавры и золото.

Я невольно вздрогнул от неожиданности.

— Откуда могла знать эта женщина, кто я и откуда я?

— Но синьор певец немного ошибся в своих расчетах, — улыбаясь, продолжала она, — славу оп получил, а золото проскользнуло между пальцев!

Изумлению моему не было пределов.

— Откуда вы все это знаете?

Загадочная улыбка появилась на лице молодой женщины.

— Какая же я была бы колдунья, если бы не знала этого?

— Значит, вы покумились с чертом? — привел я в шутку итальянскую поговорку.

Видимо было, что моя собеседница обиделась этим замечанием.

— Я христианка!...

И она порывистым движением вытянула из-за ворота серебряную цепочку, на которой висело несколько образков и зашитый в красный шелк амулет.

Я успокоил ее, сказав, что эта была шутка с моей стороны.

— Что вы мне можете показать, синьора? — любезно спросил я ее, когда мы все втроем уселись у стола.

— Все, — последовал ее спокойный ответ.

Это «все» меня очень заинтересовало. Я наперед был уверен, что все окажется пустяками, грубым фокусом, способным морочить только невежественных итальянок.

— Отлично, — весело проговорил я, — начнем с прошлого. Можете вы мне восстановить воочию те картины, которые происходили, предположим, в сегодняшний день лет 360 тому назад, затем в тот же самый день 100 лет назад...

Цифры годов я брал первые, пришедшие мне на ум.

Колдунья встала из-за стола, спросила с тарелки лежащий на ней хлеб и поставила ее на табуретку, затем достала из кармана небольшую коробочку, из которой отсыпала на тарелку немного порошку. Зажегши последний, она задушила свечу.

От синеватого огонька по стенам комнаты забегали слабые тени. Лицо Концепционы сразу изменилось, озаренное отблеском пламени, оно стало синевато-бледным; широко разводя руками, молодая женщина шептала что-то про себя, жесты ее становились все округленнее, все величественнее. Мы с падроной продолжали стоять у окна, я внимательно следил за колдуньей. Сознаться, меня охватил не-

вольный страх. Какой-то незнакомый, приятный, пряный запах щекотал мои ноздри. Несмотря на то, что порошка было насыпано очень мало на тарелке, горение его не прекращалось. Мало-помалу комната стала наполняться волнующимися клубами прозрачного дыма. Клубы эти слагались в какие-то неясные образы... Но вот все яснее и яснее обрисовывались человеческие фигуры, заблестели золоченые кirasы, дымку прорезали яркие цвета шелковых и бархатных костюмов, средневековые генуэзцы выдвинулись из мрака столетий, чтобы предстать перед моими изумленными взорами. Вся комната наполнилась народом.

Кого тут только не было! И блестящий генуэзец-рыцарь, в то же самое время купец, и вдохновенный художник-чеканщик или скульптор, и рослый паладин, вооруженный с головы до ног...

Все это, как на оживленной картине, двигалось, беззвучно говорило между собою...

Генуэзцы раздвинулись и в комнату начали вносить громадные сундуки. Благородные носильщики гнулись под их тяжестью, старик с седой бородой, в красной бархатной одежде, повелительным жестом приказывал открывать ящики, внимательно осматривал каждый из них, иногда вынимал какую-нибудь драгоценность, переливавшуюся огнями своих камней, снова клал в ящик и переходил к другим.

Скоро вся комната была заставлена ими.

Как это ни было странно, мы с падроней находились среди них, нисколько не чувствуя их прикосновения.

По знаку старика в красной одежде, генуэзцы вышли из комнаты в отверстие в том месте, где стояла кровать, и я заметил, как оно стало закладываться снаружи кирпичами.

У меня невольно заглодело сердце. Мы были в замурованном подземелье! Я уже хотел закричать от испуга, как вдруг вся картина, точно под влиянием дуновения ветра, исчезла.

Ее сменила другая. Совершенно пустая комната озарилась светом ночника. В одном из углов появилась связка соломы, на которой лежал исхудалый молодой человек; на

лице его было написано страдание, он, видимо, силился приподняться навстречу вошедшим через нынешнюю дверь двум военным в треуголках, в коротких зеленых мундирах того времени и белых лосиных панталонах в обтяжку.

Один из последних, по-видимому, что-то строго спрашивал у узника, но тот только отрицательно качал головой.

Военный недовольным жестом обернулся к своему товарищу.

Свет погас, картина снова исчезла.

— Теперь что хотите еще видеть? — услышал я шепот Концепционы.

— Настоящее в моей семье, — чуть слышно ответил я ей.

Порошок в тарелке догорал, колдунья бросила новую щепотку и синее пламя весело забегало.

Снова все заволочло прозрачным дымом.

Сердце у меня вдруг забилося, я устремил глаза на волнующиеся передо мною клубы дыма с немим вопросом, что скрывается за их таинственной завесой.

Колдунья по-прежнему продолжала тихо шептать, движение ее рук не прекращалось, она точно ловила воздух и притягивала к себе.

На этот раз дым не так скоро рассеялся; волнуясь, он заволакивал комнату все больше и больше.

По-видимому, молодой женщине не так легко удалось воспроизвести настоящее, как удалось прошедшее. Ее чуть слышный шепот становился все громче и громче, она нервно выкрикивала непонятные слова на незнакомом мне языке. Разредившиеся слегка было волны опять сгустились.

Колдунья нетерпеливо вскрикнула и изменила движение рук, — вместо того, чтоб привлекать к себе воздух, она стала его отталкивать.

Я был уже уверен, что показать настоящее ей не удастся, но пассы ее рук стали вдруг плавными, клубы дыма заколебались еще сильнее и начали делаться прозрачнее.

Затепислся какой-то фосфорический свет и через дымку стала выделяться родная мне картина.

Я увидел комнату моей петербургской квартиры, начал различать русые головки детей, прилежно сидевших с книжками в руках за столом, дверь в комнату отворилась, в нее вошла моя жена. Ее лицо поразило меня бледностью и худобой... Я невольно вскрикнул, оперся рукой о стол, у которого стоял, и закрыл глаза.

Когда я немного успокоился, картина уже исчезла. Колдунья тушила остатки горящего порошка, хозяйка затушила свечку и отворила дверь в коридор, чтобы освежить воздух.

Странное чувство овладело мною в эту минуту. Не верить тому, что я видел собственными глазами, я не мог, но в тоже самое время, все это было так странно, так непонятно, что объяснения этому я не мог найти никакого...

Колдунья села на стул, и, выпив глоток вина, серьезно на меня взглянула, сложив на груди руки.

— Я вижу, синьор, что вы сомневаетесь в действительности того, что вы сейчас видели, — промолвила молодая женщина и черные глаза ее блеснули.

Я колебался ей на это ответить.

— Что вы хотите еще знать? Я вам покажу без куренья, вы сразу это увидите.

Хотя расхोdivшиеся нервы должны были удержать меня от новых экспериментов, я слегка запинаящимся голосом сказал:

— Покажите мне моих покойных родителей.

Бледное лицо моей собеседницы покрылось чуть заметным румянцем, она быстро подняла свою правую руку к моим глазам и уверенно приказала мне:

— Смотрите пристально на камень моего перстня несколько мгновений, а затем переведите глаза на эту стену.

Станный камень молочно-оранжевого цвета был передо мной. Я как то сразу вдруг весь похолодел, но, не желая выказать страх, исполнил приказание колдуньи и перенес свои глаза с камня на противоположную стену комнаты.

С нее, точно живые, глядели на меня знакомые, дорогие черты... На этот раз я не отделался так легко, глубокий обморок овладел мной. Я очнулся на кровати, куда стащи-

ли меня обе женщины, на лбу у меня лежал холодный компресс.

— У синьора чересчур слабые нервы, — заметила колдунья.

Я приподнялся с кровати, достал свой тощий кошелек и хотел отблагодарить ее лирой. Но молодая женщина, заметив мое намерение, отказалась от моего вознаграждения.

— Мне ничего, синьор, не надо, я сама очень довольна, что могла показать вам кое-что из моих знаний.

Я распростился с нею и просил хозяйку не забыть меня разбудить в шесть часов, боясь, чтобы не проспять.

— Будьте спокойны, синьор, — сказала Концепциона, — вы не только не проспите, но даже, не зная дороги по извилистым улицам нашего города, дойдете спокойно до станции.

И обе женщины ушли, оставив меня одного.

На другое утро я проснулся и вскочил, точно поднятый неведомой силой. Машинально одевшись, я вышел в коридор и, найдя дверь отпертой, выбрался на улицу...

Михаил Ордынцев-Кострицкий

ЧЕРНЫЙ МАГ

Я и сам не знаю, что на меня повлияло: Аркадий ли Семенович Шадури́н с его уверениями, удивительные рассказы о знаменитом восточном медиуме или, наконец, общие условия жизни в Константинополе.

Понятно, что Петербург с его суетой и хлопотами представлялся мне в гораздо более прозаическом освещении, чем теперешнее мое существование, когда я по вечерам, сидя на террасе в доме Шадурина, в Константинополе, поглядывал на золотые маковки мечети, сверкавшие в лучах заходящего солнца.

Удивительно ли поэтому, что, воспользовавшись подходящей минутой, Аркадий Семенович заручился моим согласием и в один прекрасный день повел меня к мудрецу. Жил он где-то далеко за городом.

Свернув с дороги, усаженной сикоморами, мы вошли в ворота и направились по аллее темно-зеленых кипарисов. Откуда-то со стороны доносилось журчание фонтанов. После душных городских улиц здесь казалось особенно свежо.

Миновавши двор, мы вошли в приемную, вымощенную мрамором, откуда слуга провел нас в заколдованную комнату прославленного мага. Я говорю — заколдованную, потому что едва мы вошли в нее, как я впал в удивительное, почти неопишуемое состояние: я чувствовал какую то истому, негу, возраставшую с минуты на минуту, так что пребывание в этой комнате казалось восхитительной грезой или волшебной сказкой, которую слушаешь в сумерки не то во сне, не то наяву.

Без сомнения, это странное состояние объяснялось отчасти красотой окружающей обстановки. Комната была убрана тканями мягких, нежных, гармонически подобранных оттенков. В ней не было окон, которые пропускали бы солнечные лучи, но свет проходил в изящно задрапированную дверь, ведущую под мраморный портик вокруг тенистого двора, в глубине которого бил фонтан среди роскошных папоротников и водяных лилий. Вокруг него росли па-

льмы и апельсиновые деревья; пышные розы обвивали колонны портика. Воздух был напоен сладким ароматом. Даже монотонное жужжание насекомых, доносившееся извне, располагало усталых посетителей к безмятежному покою.

Но вот до нашего слуха долетели более приятные и музыкальные звуки, чем жужжание насекомых, — кто-то играл на лютне в женском отделении дома, которое легко было узнать по решеткам в окнах; вскоре за тем послышался чистый, глубокий контральто, вполголоса напевавший незнакомую мне песню.

Печальная мелодия звучала, как грустная колыбельная песня у постели больного в безмолвную ночь, и заканчивалась обещанием радостного утра.

Мы слушали, точно очарованные. Но вот раздались звуки шагов под портиком, и в комнату вошел наш маг.

Остановившись в дверях, он воздел руки кверху и произнес какое-то заклинание на непонятном для меня языке; может быть, впрочем, это было приветствие или благословение.

Мы встали и, в ожидании, пока он к нам приблизится, я наблюдал за ним так внимательно, как только позволяло мое напряженное состояние. Он был высокого роста и казался еще выше благодаря восточной одежде, которая удивительно шла к нему. Платье его из блестящей глянцевиной материи представляло странное сочетание ярких цветов, которое так поражает и восхищает европейца на Востоке. Голова его была обвита зеленым тюрбаном, какой носят потомки Магомета. Длинное узкое лицо говорило о недюжинном уме; быстрый взгляд сверкающих черных глаз точно проникал вам в душу. Подозрительное и неприятное выражение мгновенно исчезло с его лица, когда он подошел и приветствовал нас очень вежливо, с ласковой улыбкой. Вообще его приветливое обращение быстро рассеяло невыгодное впечатление, испытанное мною при его появлении. При том же, сверхъестественные явления начались тотчас по его приходе и отвлекли мои мысли от его наружности.

Он начал разговор с заявления, что мы пришли в счастливый день. Он только служитель духов; если они не за-

хотят почтить его своим присутствием, он должен покориться. Но сегодня он имеет основание рассчитывать на полный успех.

Движения его были легки и непринужденны, голос звучный и сильный; он говорил тихо, как будто, подобно нам, испытывал на себе усыпляющее влияние заколдованной комнаты. Мы говорили по-французски, так как русского языка он не понимал.

В то время как мудрец продолжал сидеть на кушетке рядом с нами, серебряный колокольчик, стоявший на столе подле меня, поднялся на воздух и начал звонить. Затем целый хор серебристых звуков раздался вокруг нас. Звуки сочетались в стройное целое и даже гармонировали с лютней, все еще слышавшейся на противоположной стороне двора. Потом легкая драпировка на стене заколыхалась, и свежий ветерок пронесся по комнате. Занавески над дверью опустились, и в комнате стало темнее. Отдаленные женские голоса запели торжественный гимн; красноватое пламя вспыхнуло в золотом светильнике, висевшем с потолка, и аромат, наполнявший комнату, сделался почти удушливым.

В глазах у меня потемнело... Но вот аромат ослабел, и я снова отчетливо стал видеть окружающее. Чародей уже не сидел подле нас. Он стоял под лампой и держал в руке три золотых кольца. Одно было снято с моего пальца, другое — с пальца Аркадия Семеныча, третье — с моей часовой запястки.

— Смотрите! — прошептал мудрец.

Мы уставились на него. Он взял два кольца в правую, одно в левую руку и, пробормотав несколько слов на непонятном языке, поднес их к огню. В то же мгновение они соединились друг с другом. Тогда он подал их нам. Мы осматривали их, ощупывали, дергали, но не могли разъединить.

— Можно их разъединить? — спросил я.

— Духи все могут вернуть в первоначальное состояние, — отвечал он. — Этим они отличаются от смертных.

Вот оно что! Какой смертный не пожелал бы стать духом при таких условиях!

Пока я думал это, маг снова поднес кольца к лампе. Опять аромат усилился, и на мгновение я почти потерял сознание. Когда я, сделав над собой усилие, очнулся, мудрец еще стоял у лампы, но кольцо Шадурина было на его пальце, мои тоже вернулись на свои места.

Снова раздался звон серебряных колокольчиков. Торжественный хор умолк, низкие звуки контральто опять раздались с противоположной стороны двора, и в то же время занавеси поднялись над дверью.

II

Драпировка на стене висела неподвижно, и мудрец сидел на диване подле нас. Мне казалось, что я видел сон; однако ж, я отчетливо помнил все, что было.

Черный деревянный стол подле меня сильно зашатался. Я с удивлением увидел, что колокольчик, стоявший на нем, остался в прежнем положении, точно прилип к столу.

— Видите вы эти белые пальцы, схватившиеся за ручку колокольчика?— спросил мудрец вполголоса.

Я глядел, но ничего не видел. Но вот что-то белое промелькнуло мимо меня, и стол снова зашатался.

— Духи желают иметь общение с вами, — произнес маг, подымая и протягивая мне грифельную доску с грифелем. — Не угодно ли вам предложить им какой-нибудь вопрос? Напишите его. Может быть, они пожелают показать вам свою силу.

Я взял доску и предложил ее Шадурину. Он отказался.

— Я уже не раз бывал здесь и убедился в могуществе духов. Но вам представляется удобный случай проверить мои слова. Спросите о чем-нибудь таком, чего никто, кроме вас самих, не знает.

— Не нужно показывать мне того, что вы пишете, — сказал мудрец. — Духи не нуждаются в моей помощи.

Говоря это, он подошел к двери и стал смотреть во двор, повернувшись к нам спиной. Голос на той стороне двора

умолк, и только мелодические звуки лютни доносились до моего слуха.

Я думал, что бы мне написать. В подобных случаях часто спрашивают о причине чьей-нибудь неожиданной смерти. Мне вспомнилось презрительное замечание одного из моих приятелей о поразительном недостатке оригинальности у спрашивающих. Люди, уверял он, то же стадо, — раз установился прецедент, ему все следуют; благодаря этому так называемые медиумы знают почти наверняка, о чем их будут спрашивать. Если же предложить какой-нибудь не совсем избитый вопрос, то духи не пожелают отвечать. Тот же приятель рассказывал мне об очень распространенном среди медиумов способе угадывать надлежащий ответ. Медиум указывает последовательно каждую букву алфавита, а дух стуком извещает, какую из них писать. В сущности, все здесь сводится к тому, что нервный человек бессознательно дает указания медиуму, когда тот водит его руку по азбуке.

Думая об этом, я вдруг вспомнил, что недавно, гостивши у моей замужней сестры в Москве, я почти ежедневно встречал на улице замечательно красивую, но с таким трагически-скорбным взглядом даму, что невозможно было не обратить на нее внимания. В последнем своем письме сестра сообщала мне, что заинтересовавшая меня особа внезапно умерла при обстоятельствах, возбуждавших сильные подозрения. Я решил спросить о причине ее смерти. Если позднейшие справки подтвердят ответ, который я теперь получу, то, без сомнения, я вправе буду поверить в его сверхъестественное происхождение. Простое чтение мыслей недопустимо уже потому, что я сам ничего не знаю об интересующем меня вопросе. Правильный ответ, полученный в Константинополе от восточного медиума, который ни слова не знает по-русски, будет вполне убедительным доказательством. Впрочем, я решил не называть фамилию этой дамы.

Взявши доску, я написал на ней по-русски:

«Тамара Д.! Отчего вы умерли?»

Я положил доску на стол подле себя, повернул ее вниз той стороной, где была надпись, и сказал магу, что я кончил.

Он тотчас подошел ко мне. Я заметил, что лицо его изменилось, — он был бледен, как полотно, и тяжело дышал.

Обыкновенно фокусники остаются спокойными и бесстрастными; но настоящий медиум всегда более или менее взволнован и возбужден. Казалось, этот человек боролся с кем-то или с чем-то и был сильно утомлен борьбой. Он остановился передо мной и бросил на меня быстрый, но испытующий взгляд. Я спокойно выдержал его взгляд. Наконец, он сказал тихим, дрожащим голосом:

— Русский дух желает иметь общение с вами. Я не знаю его языка и вряд ли сумею повторить его слова. Но, может быть, он напишет свой ответ.

Шадурин и я инстинктивно взглянули на черную сторону доски, обращенную кверху.

На ней ничего не было.

В течение нескольких секунд царило гробовое молчание. Даже музыка прекратилась. Наши нервы были напряжены до крайней степени. Маг стоял, скрестив руки, с полукрытым ртом, устремив взгляд на доску и, по-видимому, все еще испытывая внутреннюю борьбу. Хотя мой вопрос был довольно труден, но вдохновленный вид этого человека невольно внушал мне доверие. Наконец, он повернулся ко мне:

— Она напишет ответ при моем посредстве. Она сообщила мне свое имя. Я вижу его перед собой.

Закрыв глаза, он с усилием разбирал незнакомое ему христианское имя. Затем он обнажил левую руку и, пробормотав несколько непонятных слов, стал тереть ее пальцами правой пониже локтя. Вскоре на ней появились одна за другой какие-то красные буквы. Он остановился и показал их нам.

Я с изумлением прочел: «Меня отравили».

— Что тут написано? — спросил маг, с любопытством глядя на меня.

Шадурин перевел ему эту фразу по-французски.

— Правилен ли ответ? — спросил он.

— Не знаю, — отвечал я. — Я слышал о ее смерти и хотел узнать, отчего она последовала.

Маг поклонился и выразил надежду, что мы удовлетворены.

Шадурин поспешил ответить за нас обоих, но я вмешался и заметил, что мы не можем судить о точности ответа, пока не навели справок об обстоятельствах, при которых умерла эта дама. Мудрец снисходительно улыбнулся и заявил, что духи никогда не ошибаются. Затем ослабевшим голосом он сказал, что усталость не позволяет ему продолжать сеанс.

Заплатив, что следовало, — гонорар довольно высокий, — мы оставили заколдованную комнату.

Маг вывел нас под портик, и мы снова слышали хор женских голосов, гармонические звуки которого долго еще отдавались в моих ушах, когда само пение уже прекратилось. В приемной зале хозяин простился с нами, и слуга-туземец проводил нас до дверей.

III

Дня два спустя я вместе с женой должен был выехать в Россию и не мог вторично посетить мага. Жена была очень довольна этим. Она отказалась сопровождать меня в его дом и, совершенно искренне считая спиритизм одной из военных хитростей врага рода человеческого, вообще крайне недоброжелательно относилась к моей «новой фантазии».

Вернувшись в Петербурга, я нашел у себя письмо от сестры, полученное во время моего отсутствия. В нем я прочел поразительную новость. Не оставалось почти никаких сомнений в том, что интересовавшая меня дама, Тамара Дертельман, была отравлена. Подозрение падало на ее мужа, скрывшегося тотчас же после ее смерти за границу и там исчезнувшего без следа. Хотя моя сестра и не была знакома с умершей, но, естественно, заинтересовалась этим

делом. Добровольное показание химика, который снабжал Дертельмана некоторыми препаратами, обратило внимание знакомых на обстоятельства, оставшиеся до того времени совершенно незамеченными.

Само собой понятно, я теперь был совершенно убежден, что ответ, сообщенный мне восточным мудрецом, «потустороннего» происхождения.

Желая ознакомиться поближе с миром таинственного, я сделался ревностным приверженцем пышно расцветших у нас за последнее время оккультных знаний. Я посещал сеансы не для того, чтобы исследовать, а для того, чтобы поучаться; убеждал сомневающихся, советовал тем, кто отправлялся на Восток, непременно побывать у чародея и, таким образом, без сомнения, составил ему довольно обширную клиентуру...

Прошлой зимой я и жена получили приглашение съездить на неделю в Москву, к моей сестре. Пришлось поехать, хоть я и побаивался этого посещения. Мой beau-frère, молодой врач, подававший большие надежды, был прекрасный муж и отличный малый. Но он отличался беспощадной насмешливостью и, если я раньше не боялся его нападок, то теперь чувствовал, что в моей броне есть слабое место. Две вещи в особенности возбуждали его иронию: морская болезнь и нервы. В этом отношении он мог поумнеть со временем, но, к несчастью, был у него еще один предрассудок, который я считал более серьезным. Он разделял всех спиритов на два разряда: мошенников и дураков, — и говорил, что с первых же слов может решить, к какому из двух разрядов относится данный субъект. Если кто-нибудь говорил, что видел духов, Сергей рекомендовал ему бром. Если кто-либо уверял, что предчувствует несчастье, Сергей советовал дожидаться, когда оно случится, и тогда уже грустить. Может быть, оно не случится вовсе, и в таком случае будет очень досадно, что столько горя пропало даром. Словом, в этом отношении Сергей был несносен, и я не без содрогания думал о встрече с ним.

Однако, наше первое свидание обошлось без всяких выпадов в сторону моего легковерия. Но я не чувствовал осо-

бой благодарности, так как сразу заметил в его глазах довольно странный огонек, да и само молчание его насчет моего недавнего обращения не сулило ничего доброго. Сдержанность была не в его характере.

Мы прожили у них уже дня два, но ни разу еще речь не заходила о восточном маге. Как-то вечером, когда дамы вышли из столовой и мы остались вдвоем за бутылкой вина, он вдруг обратился ко мне и стал расспрашивать об особенностях восточной жизни. Когда я добросовестно ответил на все его вопросы, он бросил на меня лукавый взгляд и неожиданно спросил:

— Ну, а теперь расскажите мне о фокусах.

— Что вы хотите сказать? — спросил я, хотя прекрасно понимал, на что он намекает.

— Ну, кольца, таинственная надпись и все прочее. Я бы желал знать, как это было сделано? В прошлом году, когда мы с Марусей ездили в Париж, мне пришлось видеть одного фокусника, который произвел такой же опыт с кольцами, но только без всяких магических аксессуаров, так как во все не выдавал себя за чародея. Но расскажите мне о надписи. По совести говоря, я никак не пойму, каким манером он тут-то ухитрился...

Все это было мне не по нутру. По милости моих восточных походов, я сделался почти светилом среди спиритов и отнюдь не желал лишаться своей славы.

— Что же, вы думаете, что ваш фокусник, действительно, спаял кольца? — произнес я саркастически. — Это было бы чудо, а не фокус.

— Милый мой, никто и не воображает, что здесь было что-нибудь чудесное. Главная задача фокусника — обмануть наши чувства. Кольца казались нам спаянными; в этом-то и состоял весь фокус.

— Нетрудно же обмануть ваши чувства! — отвечал я.

Я раздражался, хотя и досадовал на себя за это.

— Да, — произнес Сергей благодушно, — совершенно верно. Да что же вы не пьете? Я нарочно приберег для вас эту бутылочку. Да, так о чем мы говорили? Наши чувства... Да, их очень легко обмануть, как вы заметили. Парижский фо-

кусник обошел нас так же легко, как ваш восточный человек в одежде хамелеона обошел вас и Шадурина. Это доказывает, что нельзя считать несомненным всякое свидетельство чувств. Мы получаем впечатления только при помощи чувств и, если они заблуждаются, наши впечатления не верны. Я считаю фокусников очень полезными членами общества: они иллюстрируют эту истину наглядными доказательствами... Но как же надпись на руке? Расскажите-ка мне о ней.

— Сама по себе надпись не представляла бы ничего загадочного, — ответил я с некоторым нетерпением. — Допустим, вы узнаете, как она была сделана, допустим, что опыт с кольцами был простым фокусом, — но растолкуйте мне, каким образом мой восточный человек, как вы его называете, мог узнать причину смерти этой несчастной Дертельман раньше, чем ее узнали здесь?

— Вот, вот, — отозвался Сергей с убийственным добродушием. — Я и сам об этом думал. Наши мысли удивительно совпадают. Ваша правда, это, действительно, загадочная штука...

Мне становилось несколько не по себе. В словах Сергея было нечто, доказывавшее, что он знает гораздо больше, чем высказывает. Страшное подозрение мелькнуло у меня. Уже не подстроено ли все это? Уж не выдумали ли они эту историю об отравлении, чтобы посмеяться надо мною?

Но минутное размышление убедило меня в неосновательности такого предположения. Едва ли бы Маруся решилась сообщать такую выдумку в письме и, хотя я написал ей тотчас же после сеанса, рассказав обо всем и прося сообщить мне о причине смерти г-жи Дертельман, но дата на ее письме, ожидавшем меня в Петербурге, ясно указывала на то, что оно было отправлено до получения ею моего. Притом же волнение и возбуждение мага были очевидно неподдельны...

Только что я ушел оправиться, как Маруся вбежала в комнату.

— Сережа, — воскликнула она, — послушай! Я потеряла мой зонтик и никак не могу найти его. Боюсь, что он ос-

тался где-нибудь, когда я ездила сегодня за покупками... Быть может, на извозчике... Что же делать?

Так как этот зонтик был подарок мужа, который сам выточил для него ручку, то потеря была серьезная.

— Ну, ничего, — отвечал Сергей. — Мы его отыщем, будь покойна. Сегодня я поеду еще к Хлебинским. Они ожидают меня не раньше десяти, так что времени достаточно...

Откровенно говоря, я очень обрадовался, когда услышал, что мой beau-frère еще не закончил объезд своих больных. Для меня этот перерыв в нашем разговоре был как нельзя больше кстати, так как я, благодаря ему, временно избавлялся от его назойливых расспросов.

IV

Сергей вернулся поздно ночью, так что я увидел его только на следующий день за чаем. Здороваясь с ним, я заметил на его лице такое торжествующее выражение, что смело спросил, удалось ли ему найти зонтик.

— Нет, — ответил он, смеясь. — Зонтика-то я не нашел, зато нашел нечто другое. Гонялся за зайцем, а поймал лису — да еще какую!

Маруся тоже рассмеялась, а мы с женой недоумевающе посмотрели друг на друга.

— Объясните же нам эту загадку, — попросил я.

— Помаленьку!.. Скоро вы обо всем узнаете. Не торопитесь, а то пропадет вся соль. Я приготовил вам сюрприз!

После завтрака Сергей осведомился, не буду ли я так добр — съездить с ним в город и вернуться обратно с экипажем? Его человек-де отлучился, так не возьму ли я на себя роль грума? Я согласился, не совсем, впрочем, охотно, и мы, сразу свернув куда-то в сторону, поехали по грязным, кривым улицам.

— Скверная часть города, — весело говорил Сергей. — Правду говорят, что фортуна любит пышность. Какая разница между этим захолустьем и вашим раем с фонтанами

и пальмами! Какой резкий контраст между этой дымной атмосферой и безоблачным небом, восточными благоуханиями. Знаете, дружище, я теперь согласен с вами. Это либо истинное чудо, либо нечто очень близкое к нему...

— Куда вы? — спросил я, не зная, как отнестись к его словам и потому избегая отвечать на них.

— В полицейский участок... Вот он, направо... Остановитесь!

Минуту спустя мы слезали с экипажа.

— Зайдем, узнаем, не нашелся ли зонтик, — сказал Сергей. — Вчера я заявил здесь о пропаже.

Мы вошли.

— Доброго утра, — обратился Сергей к приставу, который с необычайной предупредительностью поднялся нам навстречу. — Вот я привез к вам господина, который может сообщить кое-какие сведения об интересующем вас субъекте. Взгляните-ка сюда, дружище: что вы скажете об этом произведении искусства?

Ничего не понимая, я машинально посмотрел по направлению его руки и увидел прямо перед собой, на стене, портрет.

Как ни грубо он был написан, но художник удивительно схватил сходство. Я знал это лицо. Всякий, кто хоть раз видел его зловещее выражение, недоверчивые глаза, длинный крючковатый нос, несомненно узнал бы их на этом полотне. Я смотрел на него, разинув рот. На портрете этот человек был изображен без тюрбана, но тем не менее я узнал его.

— Как он попал сюда? — пробормотал я.

— А вот, господин пристав будет так любезен...

Тот щелкнул шпорами.

— Охотно!.. Тем более, что и говорить-то нечего. Портрет этот, видите ли, был написан одним каторжником по памяти, — когда-то в жрецах свободного искусства числился, стариной тряхнул... Оригинал — как теперь выяснилось, армянин, но жил здесь некоторое время под именем Дертельмана. Занимался ростовщицеством и шарлатанством, чем в большей степени — определить не берусь. Отсюда уе-

хал тотчас после смерти своей жены, и мы не имели никаких сведений о нем вплоть до вчерашнего дня, когда вот они...

Я едва не лишился чувств.

— Сергей, уведите меня... — пробормотал я через силу.

— Простите, он не совсем здоров, — послышался голос Сергея. — У вас ужасно душно! Выйдемте на улицу, дружище! Не правда ли, удивительное совпадение? Почти чудо! Как только я услышал от Маруси вашу историю, так тотчас догадался, что вы имели дело с самим убийцей. Я никогда его не видел, но знал, что он восточный человек, скрывавшейся под вымышленной фамилией. Его волнение при вашем вопросе понятно, так как, без сомнения, он видел то, что вы написали на доске... Ваше описание его наружности совпадало с тем, что я узнал в полиции; но надо было удостовериться в тождестве, и я был в восторге, когда наткнулся здесь на этот портрет. Оставалось только показать его вам. Ловкая бестия! Говорят, он живет отшельником, никогда не показываясь. Думал ли он, что найдется художник, который напишет его по памяти?..

— Но... Но если он убийца, то как же он решился...

— О, это, конечно, большая смелость!.. Но, вероятно, он сообразил, что вы не догадаетесь об истине, а правильный ответ послужить для него отличной рекламой... И благодаря вашему содействию, мне кажется, он до сих пор не имел оснований об этом сожалеть, не так ли?

Сергей Гарин

ЗАКЛЯТИЯ

Старуха с дочерью вошли на палубу и стояли с Антониной до второго звонка. И когда пришло время расставаться, — долго целовались, крестя Антонину. И, кажется, первый раз в жизни суровая купчиха не выдержала и заплакала на плече замужней дочери. Но быстро оправилась и сухо заметила:

— Довольно! Пойдем, Поликсена!

Вышли на пристань и смотрели, как пароход отчаливает. Махала им белым платком Антонина, все больше и больше уходя с пароходом в темноту ночи.

Река уносила в даль ярко освещенную громаду, и все меньше делались огоньки, и скрылись, наконец, за поворотом. Баранова глубоко вздохнула, перекрестила, в последний раз, костлявой рукой темное пространство и пошла, не оглядываясь.

— В Слободку... к Власьевне! — глухо приказала она кучеру, садясь с дочерью в экипаж...

Пролетка свернула в сторону и покатилась по улице, которая вела к загороду...

Ворожея Власьевна жила на окраине городка, существуя исключительно гаданием. Ее домик — маленький, покосившийся, выходил к сосновой роще, к ряду холмиков, уложенных можжевельником.

Баранова, вместе с дочерью, вылезли из пролетки, постучали. Зашлепали старческие ноги и тихий голос спросил:

— Кого Бог несет?

Баранова назвала себя, и дверь быстро отворилась. На пороге стояла столетняя, на вид, старушка, пригнувшаяся от годов к земле. В руках она держала ночник, и, при свете его, лицо ее казалось сморщенным в кулачок... А седые, жидкие космы непокрытой головы развевались во все стороны...

«Ведьма», — решила девушка и прижалась от страха к матери...

Вошли в душную, небольшую комнату с низким потолком. Власьева подкрутила огонь в лампе и зашамкала:

— Входи... входи, благодетельница!.. Не ожидала в такую позднюю пору! Садись, матушка... садись, золотая!..

Баранова с дочерью сели.

— Провожала я тут одного человека на пароход... — начала купчиха. — И думала: дай, кстати, заеду к Власьевне!..

— Что ж... дело хорошее... На войну провожала?..

— На войну!

— К мужу поехала?

Девушка чуть не вскрикнула от ужаса. А Баранова с удивлением посмотрела на ворожею, стоящую посреди комнаты.

— А ты почему знаешь?

— Все, матушка, знаю!.. Все!.. Так ты, значит, нащот заклятиев приехала?

— Да!

— Можно!.. Только надо непременно на улицу выйти... к холмикам!

Пошли трое к сосновой роще, к холмикам...

Власьева по дороге бормотала:

— Лежат тут у меня «тихие»... лежат «покойные»... никому не ведомые деды! Великими ветвями оборонились сосны... Шумят только вершинами... Внизу тень... Седой можжевельник... Две-три сухие травинки... Черника, сухая хвоя. Камни огорожены рядом и кругом. Серые. На них белый лишай. Седой мох. В седине «тихие»... в белом «покойные»... Претерпели. Все видели. Знают мудро и без смутения. Как на небе, так и на земле! Как наверху, так и внизу! Что было, то будет опять! Ладно будет!..

Власьева поставила Баранову с дочерью лицами к западу, сама стала сзади их и быстро, быстро заговорила:

— Кирик-камень из гнезда бободунова, лучше всего противу изменника. По нашему времени возьми три заклатья. Первое — от супостата. Второе, не забудь, — от оружия смертного... Третье, крепко помни, — от грома небесного и земного. Говорить, что ли?

— Говори! — тихо ответила Баранова.

Власьева растопырила крючковатые пальцы, словно собиралась что-то схватить, и запела, раскачиваясь:

— На море на окиане, на острове на Буяне стоит железный сундук, а в железном сундуке лежат ножи булатные. Подите вы, ножи булатные, к нашему супостату, рубите его тело, колите его сердце... Будь ты, супостат, проклят моим сильным заговором в землю преисподнюю, за горы Араратские, в смолу кипучую, в золу горячую, в тину болотную, в бездомный дом! Будь прибит осиновым колом, иссушен суше травы, заморожен пуще льда, окривей, охромей, ошалей, одервеней, обезручей, оголей, отощай, с людьми не свыкайся и не своей смертию помри!... Все!

Баранова глухо спросила:

— А еще какое?

— А еще заклятие оружия! Заговоры ратного человека... Как имена-то твоих?

— Федор... Архип... Андрей!

— Вот как буду говорить и замолчу — повторяйте обе громко имена эти! Поняли?

— Поняли!

— Начинаю! За дальними горами есть море-окиан железное, на том море есть столб медный, на том столбе медном есть пастух чугунный, а стоит столб от земли до неба, от востока до запада. Завещает тот пастух своим детям: железу, укладу, булату красному и синему, стали, меди, свинцу, олову, серебру, злату, пищалям и стрелам, борцам и бойцам, большой завет. Подите вы, железо, медь и свинец, в свою мать-землю от ратных людей...

Власьева замолчала...

— Федора... Архипа... Андрея... — заговорили тихо купчиха с дочерью.

— ...а дерево к берегу, а перья в птицу, — продолжала Власьева, — а птица в небо сокройтесь, а велит он мечу, топору, рогатине, ножам, пищалям, стрелам, борцам быть тихими и смиренными... А велит он не давать выстреливать на...

Власьева замолчала опять...

— Федора... Архипа... Андрея! — опять подсказали купчиха с дочерью..

— ...всякому ратоборцу из пищали, а велит схватить у луков тетивы и бросить стрелы в землю... А будут тела...

— Федора... Архипа... Андрея!

— ...крепче камня, тверже булата, округа — крепче панциря и кольчуги!.. Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под бел-горюч камень Алатырь! А как у замков смычи крепки, так мои словеса крепки!.. Все! Третье заклатье грозное!

— Говори!..

— Свят! Свят! Свят!.. Седый во грому, обладавый молниями, проливый источники на землю, Владыко грозный!.. Сам суди окаянному диаволу в бесы, а их грешных...

— Федора... Архипа... Андрея!

— ...спаси!.. Ум преподобен, самоизволен, честь от Бога, отечеству избавление, ныне и присно и во веки веков! Боже страшный! Боже чудный! Живый в вышинах, ходяй во громе, обладавый огнем! Сам казни врага своего диавола, всегда, ныне и присно и во веки веков... аминь!

Когда возвращались Баранова с дочерью домой, розовая полоска в небе обещала близкую зарю... Девушка все еще дрожала от страха и плотно куталась в платок...

II

Прошло два месяца со времени отъезда дочери Барановой к мужу. Купчиха верила, что заклатье Власьевны сохранят ей ее детей и зятя. Но на деле было иначе: Федор убит, Архип чуть не погиб на море, Антонина словно в воду канула... Не возобновить ли заклатье?!.. Говорят — одного раза недостаточно!

И Баранова подошла к комоду, заглянула на старинные, пузатые часы, монотонно тикавшие на всю спальню. Было ровно одиннадцать ночи — как раз время ехать к Власьевне...

Старуха выглянула в окно, посмотрела в вышину, где высоко стояла новая луна...

«Аккурат новолуние! Самое удобное время для заклятий...»

И пошла к дочери. Не хотелось ехать одной к знахарке.

Девушка еще не спала. Сидела перед туалетным зеркалом в одной сорочке и закручивала бумажками, на ночь, локоны... Увидев мать в такое неположенное время, испугалась...

— Случилось что-нибудь, маменька?

— Нет, ничего! Я за тобой! Поедем к Власьевне!

— К Власьевне?.. Опять?

— Что значит опять? Раз только и были! Не каждый же день ездим!.. Поедем, а то одной ехать — тоска берет!

— Маменька! я боюсь!.. Она такая страшная... лохматая, словно ведьма!.. И слова такие говорит страшные, от которых мороз по коже бежит! И холмики эти с покойниками, и сосны высокие — ужасную жуть нагоняют! Я, маменька, в прошлый раз чуть не умерла от страха! Ей-Богу!.. После той ночи я неделю спать не могла без огня.

Девушка тряслась от одной только мысли, что ей снова придется ехать с матерью в это страшное место... И так умоляюще смотрела на мать, что купчихе стало ее жалко:

— Ну, Бог с тобой — оставайся!

И вышла. Приказала заложить пролетку и через полчасаехала уже в Слободку.

Власьевна спала. Баранова с кучером долго стучали в двери, и, решив, наконец, что знахарки нет дома, собрались уже уезжать, как в темном окне блеснул огонек, затем и окно открылось. И лохматая голова перегнулась на улицу:

— Чего нужно?! — крикнула знахарка, впервые довольным голосом...

— Это я... Баранова! — смущенно отозвалась купчиха.

Знахарка скрылась и вскоре шаги ее слышались в сенях.

— Прости, что тебя обеспокоила... — сказала Баранова, входя в горницу. — Мне и невдомек, что ты уже спишь!.. Прошлый раз позднее приехали, а ты еще бодрствовала!

Власьевна что-то проворчала непонятное, копаясь под печкой. Наконец вытащила оттуда котелок с темной гущей, принесла его к столу, ярче подкрутила огонь и стала пристально смотреть в котелок...

И вдруг быстро, быстро, заговорила:

— Кровь... кровь!.. Всюду кровь!.. И на земле и на небе! А в аду преисподнем справляет свой пир Сатана!.. Сидит Сатана за большим огненным столом на бочках с кипящей смолой, окруженный сонмом диаволов, и пьет человеческую кровь, с диким хохотом, со скрежетом зубовным! Пьет и гостям дает! И сидят за столом и дедушка Вий с головой, на которой растет дремуч-бор, с бровями вышиной в прибрежные кусты, с бородой сухой перекасти-поле!.. Сидит Агафаил — смерти носитель, с косой-косищей в добрую сажень, и течет с этой косы кровь алая, как рубин, и точит косу Агафаил и тоже хохочет... И сидят птицы вещие Гамаюн и Мымра, с носами-горбами, с крыльями, аки черны паруса, и кричат все: «Пей до дна!» и хохочут. И сидят Леший-сосновик и Леший-березовик, подмигивая друг другу... И домовая и русалки... Полны чаши у всех доверху, и много, много еще красна вина!.. И конца не предвидится кровавому пиру!..

— Довольно! довольно! — закричала вдруг купчиха, закрывая в ужасе лицо руками...

Власьевна оставила котелок и посмотрела на Баранову злыми, воспаленными глазами..

— Так чего ж ты приплелась сюда, будить меня?! — крикнула она вдруг, подбоченясь. — В заклятия... в ворожбу веришь, а крови боишься!.. А знаешь ли ты, что заклятия и кровь — родные сестры и одна без другой жить не могут?!

— Уйду... уйду! — замахала руками Баранова, приподнимаясь и пятась к двери. Не помня себя, выбежала из дома страшной старухи и приказала во всю мочь гнать к дому лошадь... А вдогонку ей Власьевна, потерявшая рассудок, хохотала и каким-то хриплым визгом кричала:

— Кровь!.. кровь!.. Смотри: по тебе течет! По твоим детям! У-у-у!.. Пир Сатаны!..

Баранова, сгорбившись, сидела глубоко в кузове пролетки, боясь открыть глаза и взглянуть на небо, с которого, ей казалось, идет большой, кровавый дождь...

Николай Киселев

КОЛДУН

Илл. С. Животовского



Нюшка никогда не верила, что ее дед колдун, но ей ужасно хотелось уверовать в это свято и нерушимо. Забившись с Палашкой в срубы и там еще присев в дремучий репейник, чтобы их уже никак никто не мог увидеть, разбирали деда по косточкам. Нюшка все сомневалась и колебалась, а Палашка, умевшая видеть одно хорошее и настоящее, прямо говорила:

— Штаны у него колдуньи, рубаха тоже. Он идет, а дух ему дорогу показывает.

Нюшка знала, что дед слепой, но она думала, что дорожку ему показывает не дух, а палочка, которой он тычет в землю перед собой. Узнавши от Палашки, что дух, она сразу все сообразила и с ликованием поверила.

— И верно! — сказала она.

Они взялись за руки и, запищав, выпорхнули из репейника. Вопрос был решен, и делать там стало нечего. Но дома Нюшку опять взяло тяжелое раздумье. Штаны у деда были такие же, как у всех, рубаха тоже. Нюшка попробовала пальцем глаза у деда, закрываются ли — глаза закрылись.

— Дед, ты колдун? — наконец, спросила она у самого деда.

— Что это, девочка? Какой я тебе колдун? — прямо ответил дед, без всякой хитрости.

Нюшке так жалко было расставаться со своей мечтой, что на другой день она горько нажаловалась на него Палашке.

— Запирается, — заплакала она.

— А, запирается! — обрадовалась Палашка. — А ты его

выведи на чистую воду.

— Я не умею.

— Слушай, девчоночка, — степенно, совсем как старуха, поучила Палашка. — У меня батюшка все знает — он одной рукой сто пудов поднимает. Если, говорит, колдун забирается, его надо на чистую воду. От него каждую ночь свечка ходит сама в хлев нечистому духу молиться. Надо только ночь не спать.

Обе с ужасом выпучили глаза друг на друга, потрясенные этой странной свечкой, и Палашка уже не в первый раз.

Ночью Нюшка старалась не спать, рассматривая какие-то золотые закорючки и сеточки, дрожавшие во тьме перед глазами. Потом закорючки пропали, промчалась в хлев молиться свечка. Нюшка — за ней, провалилась куда-то глубоко и вдруг уснула. Проснулась она белым рассветом от испуга, что уснула, глянула за полог к деду — деда нет, значить, прозевала. Нюшка запустила руку под кровать, нащупала там теплого щенка, забившегося в отцовский валенок, вытащила и стала им утешаться. Как вдруг дверь отворилась, и за порог шагнул сам дед. Под мышкой он тащил громадную рыжую книгу, крышки у которой загнулись, как лодочки, а в руке держал тоненькую желтую свечку. Самое главное — свечка была налицо, и Нюшка вся обомлела.

Пока глаза ее, не мигая, застыли на свечке, книга у деда куда-то девалась, свечка легла на божницу, а сам дед повалился на постель, так что Нюшке стали видны теперь одни широкие подошвы с прилипшим песком и зеленым листиком. Нюшка смотрела-смотрела на них и опять уснула.

Опять Нюшке снилось что-то колдунское и очень явственное, но когда она проснулась, солнце резало глаза, и темный сон пропал без следа. В избе никого не было, все ушли на работу, и даже дед, верно, потащился на огороды сидеть вместо пугала. Было тихо и душно, летали мухи, и беззвучно играла кошка с котенком. Только грузный слепень, видимо, давно сошедший с ума, гудел на пузырчатом стекле, силясь вырваться наружу, а с другой стороны такой же тоже бился о стекло — тому хотелось попасть в избу.

Нюшка побежала искать дедову книгу — заглянула под дедову кровать, под комод, под кадушку. Свечка лежала, как вчера, а книги не было нигде. Зато Нюшка нашла на стене интересное и очень ценное медное колечко. Она его схватила, но колечко было прибито. Нюшка дернула, что есть силы, колечко отскочило от стены, вместе с ним и какая-то дощечка, и вдруг Нюшка увидала перед собой ее самую, рыжую дедову книгу с переплетами, как лодочки. Тяжесть в ней была непомерная, и Нюшка насилу грохнула ее на пол. Вся она снаружи была закапана белыми пуговками воска, опалена огоньком свеч и так славно пахла церковью. Углы окованы старым серебром, и потускнели и потемнели, и всюду на них из серебра какие-то страшные хвосты, головы, пасти и жала. Нюшка оперлась голыми ножонками в корешок и обеими руками отвернула крышку. Показались на глаза полинявшие красные буквы, все больше Нюшкиного пальца, из цветов и яблоков, а рядом с ними какие-то черные кружки, мертвые головы и гробы, и смерть, и тление. И дальше, листок за листком, все они же, и все краснее буквы, и все чернее головы и гробы. И как ни искала Нюшка какой-нибудь интересной картинки, ничего не нашла, кроме них, только измаялась вся и перепугалась, и уж сама не помнила, как втащила книгу на место и закрыла дощечкой.

Когда Нюшка выскочила из избы на улицу, на сухой зной и пыльную дорогу, она уже отлично знала, что в этой книге сказало, как надо вызывать бесов.

Палашке же еще яснее и точнее видно сделалось, что там же есть и о том, как и за сколько можно продать бесу свою душу.

— Ой, девонька, только узнает он все об тебе! Колдуны все знают, только понюхают, — пела она не хуже старухи Марьевны.

Нюшка весь день дрожала от страха, что дед узнает. Но дед два раза заходил с огородов в избу — раз похлебать тюри, в другой раз разуться — и ничего не узнал. Нюшка радовалась, что он не понюхал книги.

Вечером, как всегда, дед рано лег, но Нюшка опять решила не спать, и на этот раз каким-то чудом, в самом деле, не уснула. К полночи взошла луна, в избе стало светло, засеребрились в углу ведра, заблестал на стене качающийся маятник, засияла у порога клетушка с желтою соломой. Только в дедовом углу было по-прежнему темно, а если всматриваться туда, то покажется вдруг слепо там чей-то палец или мелькнул какие-то рога — лучше не смотреть.

Но вот там что-то скрипнуло, зашуршало, кашлянуло, поперхнулось. Дедовы подошвы исчезли и очутились на полу, поднялась его взлохмаченная голова и, творя Господню молитву, дед поплелся к стене, где книга. Нюшка думала, что уж теперь-то дед узнает все непременно, но видно, он опять не понюхал. С книгою под мышкой он зашлепал босыми ногами в дверь. Нюшка шмыгнула за ним. Роса густо и мокро выпала по домам, лугам и дорогам, но дед прямо босиком пошел по высокой траве на задворки и там попал на жесткую тропинку к гумну и до того прямо, без ошибки, словно бы глазом наметил. Шел он без палки, а и на тропинке каждую лужицу обходил сторонкой. Вот так слепой!

На гумне дед выбрал из угла деревянные вилы покороче, поставил их наземь вниз тремя зубцами, прилепил к черенку свою свечечку и затеплил ее от серничка, а книгу развернул и положил на телегу.

— Ночное бдение! Начало, — возгласил он громко и велеречиво, воздел руки к небу и затем поклонился земно.

— И покарай Господи царя Мамай и всех немцев его, и всю рать его семисотенную... — стал он покрикивать звонко и часто. — И еще покарай, Господи, всех присных его, пламя извергающих Пупа и Крупа, и дом Твой учреди во Иерусалиме-граде. И еще покарай, Господи...

Дед живо переворачивал лист за листом и водил по ним пальцем вкривь и вкось, высоко подняв голову и вычитывая словно из воздуха невидящими глазами все свои ужасные заклęcia — но без книги, видимо, он молиться все же не мог. Никогда Нюшка не слыхала таких ужасных слов, как Мамай и немцы и рать семисотенная, и ей показалось, что

это все бесы, и их дед вызывает и будет сейчас как-то карать. Нюшка не выдержала от страха и жалости к этим бедным бесам и изо всех сил заработала голыми ножонками по густой граве назад домой.



А утро вспугнуло все село, и слово «немцы» не сходило у всех с языка. Кое-кто плакал, кое-кто причитал, но все говорили, что идут, что недалеко, что страшно, и что Бог весть, что будет. Нюшка понимала, что двигается к ним откуда-то что-то очень неприятное, но она не могла взять в толк, о чем тут можно беспокоиться. Раз у них есть такой колдун, как дед, мамка может спокойно качать зыбку, а отец раскуривать трубочку, — дед возьмет, всех вызовет и покарат. И Палашка понимала все это совершенно так же.

Ночью Нюшка опять отправилась за дедом — она тянулась за ним, как морфинист за морфием. Но, помня вчерашний страх, не пошла к самой риге, а присела на задворках у плетня, на каком-то старом веретье. Отсюда хорошо видно было, как затеплилась желтым огоньком свечечка, как раскрыл дед книгу и стал перед нею истово и достойно.

— И покарай, Господи, Эфиопа венского и венгерского, и эфиопа туркменского и аспидов его. И нам незрящим, поле брани не видящим дай крепость духа Твоего! — возгласил дед, и на этот раз Нюшка внезапно отчетливо увидела, как над головой деда, словно, два серых пальца, выскочили вдруг два острые рожка.

Вслед за этим дед стал наливаясь-наливаться светом, сделался весь пламенный и отошел к сторонке, а перед Нюшкой вдруг открылось широкое чистое поле, дремучий лес и громадное болото. И идет по полю сама рать семисотенная.

— Видишь ли врага? — кричит дед.

— Вижу! — пищит Нюшка.

— Гляди, как я их покараю.

Он протягивает туда светоносную руку, и болото вдруг трогается с места и начинает грузно ползти навстречу людям, а поле плывет и отходит назад, и темный лес непроходимый тяжело движется стороной и громоздится на поле, и нет назад пути. Тонут лошади и люди, и протягивает дед другую руку. Могучий лес проходит по болоту и сравнивает все, и вновь стоит прежнее чистое поле на прежнем месте, и далекое пустое болото между ним и лесом. Пусто все и тихо, только солнце жжет и светит, да слышен где-то материн голос.

— Да вот она! — говорит мать, — экая баловница! Мы уж думали, в реку упала.

Нюшка подымает тяжелую голову, видит, что она лежит калачиком на веретье, глядит на солнце и на мать, но понимает, что хотя это все и настоящее, все же куда не такое дельное, как там.

— Как он враг-то! — говорит Нюшка матери с сонною улыбкой. — Сразу все пропали!

— Ишь ты! — смеется мать. — Набубнили тебе за день голову-то. А и вправду пропали. Рассыпались.

— Он колдун. Он все может, — говорит строго Нюшка и, махнув рукой матери, чтобы не мешала, снова в глубокой и счастливой дреме валится на горячее веретье, чтобы еще раз увидеть колдуна-деда.

Николай Киселев

СПАСЕНА! (КОШМАР)

Илл. С. Березина



I

Тогда я служил юнгой на торговом судне, ходившем из Одессы куда угодно, хоть до самого Синопа. Собственно, на нашем пароходе постоянное место мое было на кубрике, где я помогал повару. Но непрерывный жар от плиты и от машинной трубы, проходившей рядом, часто доводил меня до изнеможения. И в каждую свободную минуту я старался отдохнуть где-либо в другом месте. Когда у меня было свободное время, я забирался в одно потаенное местечко и там читал украдкой при лампочке. Это был темный, узенький промежуток между стеной кают и бортом, на корме. Здесь по углам развешена была паутина какого-то южного наука, который поселился у нас во время одного дальнего плавания. Бог знает, какие мысли заставили его покинуть родину: мух у нас не было, и совсем неизвестно было, чем жил этот мудрец. Здесь в пазах было припрятано

матросами и забыто навсегда многое, казавшееся необходимым для жизни: два больших гвоздя, гайка, пара сапожных ушков, морской камешек удивительной формы.

Я уходил в этот темный закоулок и подолгу сидел в нем. Я слушал, как журчит по борту монотонно вода и глухо щелкает по килю, словно о пустой желудок. Я тихо забывался, и мне начинало представляться, что века веков сижу я так и еще раньше когда-то так же вот все плыл и плыл.

Иногда случалось мне даже засыпать здесь. И странное дело, едва я здесь задремывал, как мне начинал грезиться упорно каждый раз все один и тот же странный сон. Сон этот начинался тем, что я видел сперва какой-то громадный портовый город, куда стекаются матросы, торговцы и искатели приключений всех наций. Все улицы будто бы запружены сплошной толпой народа, колыхающейся под лучами горячего южного солнца в своих причудливых национальных костюмах и говорящей на всех языках земного шара. Именно по этой последней причине и нельзя мне ничего понять из их разговоров, как это представляется во сне. Я же сам будто бы совсем еще мальчик, и меня послали разыскать среди этой толпы какого-то очень нужного человека, которого я словно бы должен хорошо знать. Я забегаю в какую-то мрачную кофейню; но там, кроме грязного грека с длинным носом, никого нет. Я забегаю в другую; но здесь сидит на стуле одна собачонка и с кем-то разговаривает невидимым. Наконец, я начинаю толкаться среди толпы, и в толпе этой я словно паучок среди лесной столетней чащи. Мне ничего не видно, кроме спин, животов и коленей. Но я прекрасно знаю, что если бы мне попался тот, кого я ищу, я бы все же узнал его мгновенно. И вот, каким-то необъяснимым образом, как это бывает только во сне, я вижу сквозь всю толпу, что человек этот идет далеко от меня, в самом конце улицы, взмахивая темными полами своего длинного персидского халата. Я ясно вижу, что он очень высок и худощав и на голове его белый тюрбан. Он идет задом ко мне, но во второй раз все тем же необъяснимым способом, как может быть только до сна, я вижу, что у него

густые сросшиеся между собою брови, орлиный нос, выгнутый большой горбиной, и глубокий шрам на щеке.

— Пустите, пустите меня! — кричу я с отчаянием, расталкивая толпу всеми своими слабыми силенками, а персидский человек, между тем, уходит от меня все дальше и дальше.

Наконец я прорываюсь сквозь толпу. Но тут вдруг как-то все мешается и путается, и я попадаю в темный, длинный и очень узкий коридор, в конце которого виден выход, как маленькое яркое пятно.

— Как ущелье смерти, — скорбно говорит об этом коридоре за моей спиной чей-то чужой голос.

Я бегу по этому ущелью смерти и вижу, как идет по нему и мой персидский человек. Он четко вырезается весь на блистающем пятне со своими взмахивающими фалдами, но на таком огромном расстоянии, что кажется крошечным. Я бегу по коридору, выход растет и делается все ярче, и вдруг я выскакиваю на морской берег, залитый прекрасным солнечным светом, с крупным золотым песком, голубенькими камушками и неоглядной гладью тихой розовеющей воды. Я радостно оглядываюсь кругом и прежде всего хочу видеть своего перса, но теперь он пропал бесследно. И вот в третий раз необъяснимым образом я знаю теперь, что мне нужно искать между камнями и я непременно найду что-либо. И я хожу по пустынному берегу и рассматриваю ослепительный песок, но по песку бегают только одни крошечные крабики да шустрые веретеницы. Я поворачиваюсь вправо, к воде, и вдруг взгляд мой ослепляет буйный солнечный луч, отраженный от чего-то, что лежит у самой воды. Я изо всех сил бегу туда и застываю, пораженный и потрясенный. В мелкой водичке лежит на песке голая мужская рука, согнутая противоестественно и отвратительно в предсмертной нечеловеческой муке, и на пальце, выступающем из воды, массивный драгоценный перстень излучает бурные снопы света. И, главное, я хорошо знаю, что эта рука моего перса.

Все это мне делается столь ужасным, что на этом месте я каждый раз вздрагивал и просыпался весь в холодном поту.

II

Как и на всяком морском пароходе, на нашем были и матросы, и пассажиры. Наш матрос ничем не отличался от настоящего просоленного матроса. Он был моряк дальнего плавания, был прост, терпелив, сердечен по душе и сумрачен с виду. У него не было ни житейских добродетелей, ни скопидомства. Все это лишнее тому, кто каждую минуту может распротиться с жизнью, сорвавшись в бурю с той мачты, где люди кажутся пауками.

Пассажиры в третьем классе были те, что обычно бывают в третьем классе. Тут ехал простой народ, от которого вечно тянет за версту дубленным полушубком, хотя бы все были в рубашках, ехали к святым местам старомодные купцы в синих поддевках, которые икнут и перекрестятся, но помолиться стараются около чужой лампадки, тут ехала и вся та бродячая, темная Русь, у которой где-то имеется на каком-то краю света избушка, но которая вечно плетется по всем трактам и проселкам, плетется на одних собственных ногах, не видя ни железных дорог, ни всяких культурных ухищрений, не замечая, как их собственные бороны выгорели от непогод и зноя.

Среди простого народа мне почему-то лучше всего запомнились мужик с бабой и их дочь с молодым мужем. Всем мужик рассказывал о своем горе. Он рассказывал:

— Выдаю я это Катеринушку замуж. Хорошо-с. Меряю в лавке одни сапоги, гляжу, малы. — Да они еще разносятся, — говорит купец. — Зачем, — говорю, раз не подходят. Дай следующие. — Хорошо-с. Меряю другие — велики. — Да они еще сядут, — советует купец. Но скидаю и их. Скидаю я это их, только глядь, входит старший сын. — Ты, говорит, папаша, в случае чего не сомневайся, живи смело. Я тебя на свой счет и похороню. — Так это обрадовал. Хорошо-с. Едем мы вместе к жениху поглядеть. Гляжу — на дворе у него дров, дров. Конца нет. Хорошо-с. Обрадовался это я, отдал Катеринушку, а на другой день все дрова-то и уехали, чужие были.

Муж Катерины, в красной рубахе и плисовой жилетке без пиджака, пьяный слонялся по всей палубе, подходил то к мужику, то к бабе и выкрикивал:

— Папенька, ура, ура, ура! Маменька, ура, ура, ура!

И баба с мужиком улыбались ему своими невеселыми улыбками, а дочь, молоденькая, тихая бабенка в новом платье, с обожанием смотрела на него, и от нее далеко пахло ситцем.

Пассажиров наших первого и второго класса я знал мало, встречая их только на палубе. Здесь мне запомнилась больше всех одна молоденькая девушка с большими, всегда печальными глазами, с нежными руками и шейкой и с тихим голоском, беспомощным и трогательным. Она одета была в плохонькое платьице, старательно подновленное чем-то очень недорогим, и платьице это намекало на самую грустную, заматерелую бедность, неудачливость и житейское бездолье. Когда я в первый раз встретился с ее безучастными глазами, у меня так и дрогнуло сердце от жалости к ней и сострадания. Она ехала с подругой, девушкой искренней и радостной. Однажды, проходя мимо них, я увидел, как печальная девушка приложила руку к щеке и опять отдернула ее, точно в сильном горе, и сказала с тоской:

— Как устала я, Маша, ах, как устала!

Она закрыла глаза и проговорила дальше:

— Как хочется мне тишины, покоя, ну хоть совсем простенькоаго, незатейливого покоя, самого дешевенького. Ну, хоть чтобы лампа с каким-нибудь бумажным колпачком, чтобы самовар вечером, чистые чашечки, и чтобы тихо-тихо кругом. А за перегородкой, чтобы я слышала, сидит и работает мужчина. Ах, как бы хорошо! Господи, как хорошо бы!

Она засмеялась тихим и счастливым смехом. Я после долго бредил этим смехом.

Кроме этих двух девушек, мне запомнился еще капитан, дирижер ехавшего с нами военного оркестра, всегда в себе сосредоточенный. Я узнал, что он обладал недюжинной музыкальной одаренностью, но, как истинный талант, был стыдлив, застенчив и болезненно недоверчив к своему исключительному дару, и от одного этого, быть может, он



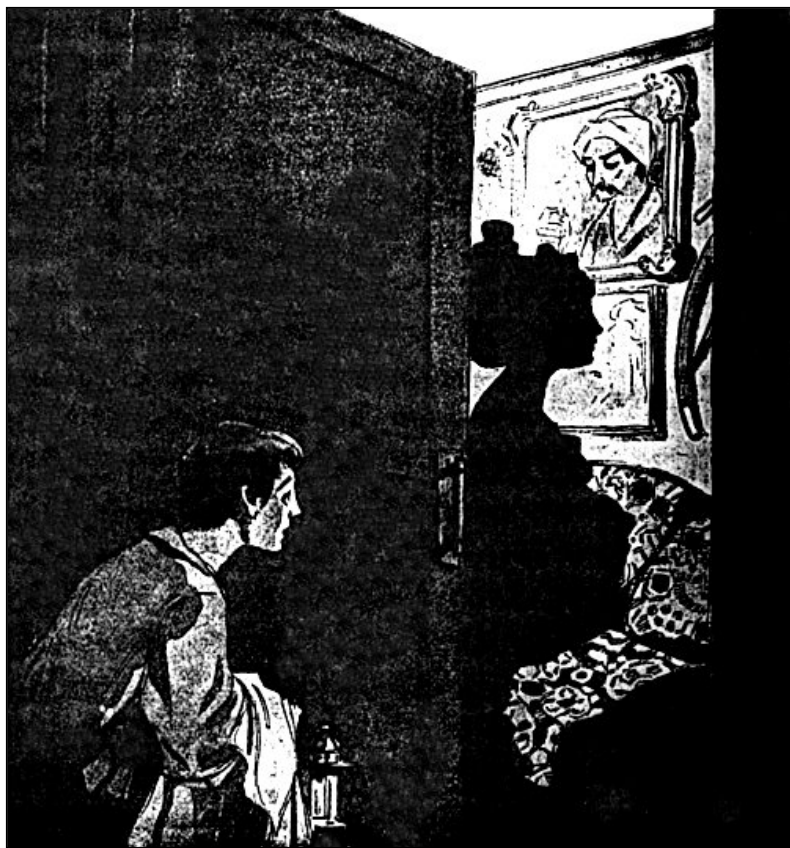
обречен был судьбой на вечное томление и безызвестность.

Еще запомнился мне старик-генерал, простоватый, но с неустрашимой осанкой, умевший очень сердечно разговаривать о преферансе.

Но самым странным для меня, невольно привлекавшим к себе мое внимание, был один из наших кормовых пассажиров. Сначала меня очень удивляла его каюта. Приехав на пароход, он расположился в ней совершенно как дома, словно бы ему предстояло прожить тут целые годы. Когда я бежал с судками к себе на кубрик, мне часто приходилось миновать ее. Заглядывая в приотворенную иной раз дверь, я каждый раз видел одну и ту же стену ее. На стене этой висело разного рода оружие, и все очень старое: ветхие ружья, турецкие ятаганы, древние казацкие самопалы, заржавленные кинжалы и сабли, и одни из сабель были так кривы, что скорее походили на серпы. Тут же справа висел большой поясной портрет какого-то азиатца в ярко-красной хламиде, с огромными черными глазами. Азиатец в правой руке держал большой золотой медальон, сплошь усеянный белыми и черными бриллиантами. Под азиатцем висела, отблескивая, желтая картина, на которой трудно было разобрать, что нарисовано. Под картиной же вплотную к стене была придвинута кушетка, покрытая золотистой персидской материей. На ней лежали богатейшие меха.

Однажды, проходя мимо каюты вечером, я увидел на этой стене тень от женской головы. Тень была немного больше натуральной величины, так что женщина сидела близко к стене. Но все же ее не было видно. Тень эта падала на стену профилем, и профиль был очарователен. Была в нем та неизъяснимая, обольстительная прелесть, какая создается лишь рукой художника-гения или слепым случаем.

Спустя некоторое время, мне пришлось увидеть и эту самую женщину: она вышла на палубу. Она была поистине обаятельна. Хотя лицо ее всегда было покрыто густой темной вуалью, но под ней так и угадывалась жгучая восточная красота — с черными бездонными глазами, смуглой ко-



жей, тонким носом и молниеносными бровями. И все движения ее были исполнены чарующей восточной медленности и грации. Она редко показывалась на палубе, и между прочим, я заметил одно странное обстоятельство — она выходила на палубу лишь тогда, когда там была молоденькая бедная девушка. Я видел, что она всегда становилась около этой девушки и о чем-то с ней заговаривала. Видеть их мне удавалось обычно, лишь когда нас высылали в урочный час драить медь по всему пароходу. Поэтому за шумом работы мне никогда не удавалось разобрать, о чем они говорили. Я слышал только голос восточной красавицы —

и голос этот был так мелодичен, так прелестен.

Сначала я думал, что в этой странной кормовой каюте никого нет, кроме восточной женщины. Но я ошибался.

III

Море было спокойно и не предвещало ничего черного. Сияло солнце, сияло небо, сияла вода, где голубой, где серебряной дрожью, и сама чернильная течь от пароводного дыма по воде отливала матовым светом. И по правую руку, и по левую, и спереди, и сзади, куда только глаз хватал, всюду стояли тихие, неизмеримые дали. Два дня без прерыва уходили мы в глубину их пустынного простора и не встречали ничего, кроме непутевого ветра. Где темно, где ясно было в дымчатых далях этих, где дождь шел, где солнце светило, и все застыло и задумалось там на одном месте среди солнечного жара и безмолвия — и пароводный дымой, изредка видный Бог знает где, и два светлых, прозрачных паруса, и дальнее облачко над краем моря. И тихо кругом — только беспутный ветер посвистывает беспечно в снастях...

Паровод наш на этот раз вез груз миндаля. За время плавания все мы сильно пропахли им, и это тоже говорило о большой безмятежности.

Как вдруг по судну пронесся зловеший слух, что на нем появились всюду огромные ядовитые змеи. Одну из них матросу удалось убить, но другая укусила в руку мужа ситцевой бабенки, и он находится при смерти. Сколько же было их всех, оставалось совершенно неизвестным. Они поползали из трюма, внезапно появлялись из-за свернутых канатов, из темных закоулков и даже выскакивали из пассажирских корзинок, когда их открывали. На пароводе поднялась сильная сумятица, все запрятались по своим каютам и, кроме матросов да нас, юнг, разносивших кушанья, никто не решался отпереть своей двери. Капитан сам навел строжайшее дознание как среди экипажа, так и среди пас-

сажиров, кто мог везти с собой этих змей. Было ясно, что сами собой они не могли попасть сюда, за добрую сотню миль от суши, да еще на судно, ходившее по 16 узлов в час. Но, несмотря на всю настойчивость, находчивость и проницательность капитана, случай этот так и остался загадочным.

В это именно время я, помню, бежал с кубрика в рубку к капитану с сельтерской водой, пристально всматриваясь во все углы, чтобы вовремя избежать опасности. Когда я был уже недалеко от той странной кормовой каюты, дверь ее внезапно раскрылась и из нее вышел и быстро пошел впереди меня очень высокий и худощавый восточный мужчина с белым тюрбаном на голове. Он шел широко и прямо, и темные фалды его длинного халата развевались в стороны. Мне не было видно его лица, но, когда я взглянул на его спину и халат, вдруг что-то острой тревогой кольнуло мое сердце. Я невольно остановился, еще раз глянул на его развевающиеся полы и весь вздрогнул от жутки. Это было точь-в-точь, как в моем сне — и даже был коридор, который образовывали между собою стены кают. Это было так необъяснимо, что, вернувшись к себе, я лег на койку и начал напряженно размышлять.

Но не успел я хорошенько углубиться в свои думы, как вошел наш матрос Рябчик, выдавший в заграничных плаваньях всякие виды. Он закурил трубку и пристально посмотрел на меня из-под нависших бровей.

— Н-да, — протянул он.

— Что да? — спросил я.

— А то, что ты парень неглупый.

— Как это? — удивился я.

— О персе думаешь? — вместо ответа задал и он вопрос.

— О персе, — ответил я и еще больше удивился.

— Будет поножовщина. А то и пароход на дно, — бросил он отрывисто и засмеялся. — А то и все вместе. Змеи-то выпущены.

— Постой, постой, — забормотал я, вскакивая растерянно с койки. — Что ты мелешь? Какая поножовщина, как на

дно? Да и разве это его змеи? Да и зачем бы он их выпустил?

— А затем, чтобы все сидели по каютам. Одному-то свободнее дело делать.

Тут он прищурил на меня глаза и покачал головой.

— Ты неглупый парень, — сказал он. — Полежи еще, и ты додумаешься.

Он уже докурил трубку и сейчас же ушел. Оставшись один, я совсем остолбенел. Я ровно ничего не мог взять в толк. И перс, и змеи, и загадочные слова Рябчика, все смешалось у меня в какой-то один несуразный комок, все было дико и несообразно. Одно единственное, что пришло мне в голову, это то, что Рябчик знал, быть может, раньше этого восточного человека. Но и это соображение ровно ничего мне не уясняло.

Пока я стоял и с тоскливым беспокойством перебирал в уме кучу всяких несообразностей, я услышал в коридоре смятенные женские шаги, и дивный голос восточной красавицы два раза выкрикнул с отчаянием:

— Юнга! юнга!

Я вылетел за дверь. Она бросилась мне навстречу и, схватив за руки, сказала в глубоком волнении:

— Ради Бога, помогите мне! У него может затечь кровью голова! А мне не поднять его.

Меня поразило, что она говорит на чистейшем русском языке и даже с московским выговором на «а». Но рассуждать тут было некогда. Я бросился вслед за нею в каюту.

Перс ногами лежал на высоком диване, а голова его свесилась до самого пола... Лицо, затекая кровью, сделалось совсем багровым, и он уже легонько начинал хрипеть.

— Он выкурил лишнюю трубку опия, — говорила женщина, пока я нагибался и поднимал перса.

Перс был как-то особенно, неприятно тяжел, и какой-то странный, отталкивающий холод исходил от его тела. Когда я поднял его на диван, я нечаянно взглянул ему прямо в лицо и невольно откачнулся от него. Я увидел на нем густые, тесно сросшиеся брови, орлиный нос, глубокий шрам на щеке, длинную, жилистую шею с широким и острым ка-

дыком и решительное выражение лица. Это был он самый, удивительный человек из моего непонятного сна. Но что больше всего потрясло меня тогда,— это рука. Согнутая рука перса обнажилась до локтя, открывая густые волосы, и на одном пальце сиял точь-в-точь такой же драгоценный перстень, какой я видел во сне.

Мне показалось в эту минуту, что я стою над какой-то бездной, и как я вышел из каюты, я плохо помню. Вспоминаю только, что когда мне в коридоре встретился Рябчик, бежавший что есть духу занимать свою вахту, я сказал ему, что перс в обмороке.

— Притворяется, хивинская собака! — бросил он, не дослушав меня. — Чтобы не следили за ним!

IV

Весь третий день был нестерпимо ослепителен и горяч. Такой зной редко бывает на море. Сплошным огнем была охвачена вся безбрежная вода, горела каждая медная кнопка, все резало глаз. По краям неба синева до того сделалась густа, что с первого взгляда ее можно было принять за грозовую тучу. Сухая и душная мгла стала покрывать все водяное раздолье, и солнце за нею сделалось тусклым и медным. К вечеру половину неба охватила глухая и мрачная туча. Солнце, заходя, все еще светило внизу сквозь зловещий край ее, и свет его стал совсем багряным, пугающим и как бы словно призывающим к чему-то могущественным призывом, подобно трубе ангела в последний день земли и времени. Какой-то загадочный бледный столб стоял внизу тучи на тревожной ее черноте. Когда совсем стало темно, гроза еще не начиналась, и было очень тихо. Но вся неоглядная морская равнина зашумела невнятно и сумрачно и вся пошла высокой волной.

Не знаю точно, когда это случилось, но вдруг днище нашего парохода завизжало обо что-то несокрушимое. Легкий, но зловещий треск прошел по килю, и кто-то вскрик-

нул негромко, но страшно. В это же время широкая молния бегло охватила темное небо, осветила все море, наполовину черное, как уголь, наполовину светлое, как день, и сильный ветер засвистел в снастях и лихо, и плачевно.

И вдруг сразу началась сумасшедшая паника. Со всех сторон дико закричал и голоса. Какой-то господин пробежал мимо меня с широко открытым ртом — он тоже кричал что-то. Пассажиры всех классов перепутались между собой, и все давно и думать забыли о страшной опасности от змей.

Лицо капитана было совершенно равнодушно и спокойно, так что казалось, будто совсем ничего не происходит. Но случай был, видно, весьма серьезен, потому что сейчас же заскрипели спускаемые шлюпки. Старичок-генерал бежал среди простого народа все с той же неустрашимой осанкой, но, видимо, плохо сознавал себя. Перед этим он, верно, только что ложился спать. Он ходил в одном жилете и с мундиром в руке, но, должно быть, он и этого не замечал. Он бежал и кричал:

— Женщинам дорогу, господа! Женщинам, прошу вас!

За ним поспешал денщик и все докладывал:

— Мадьяр-с Ионыч изволят о вас беспокоиться, ваше пр-во, Мадьяр-с Ионыч.

— Мадьяр-с? — повторял за ним генерал. — Хорошо, мой друг, хорошо. Мадьярсы вперед!

Ситцевая бабенка с жалостью протискивала к шлюпке пуховую перину, и генерал схватился за угол перины и стал ей помогать. И тут вдруг послышалась тихая мелодия, горестная и страстная. Играл ее наш военный оркестр и я не умею сказать, как потрясающе подействовала эта тихая музыка. Какой вдохновенный свет и безумие осенили нашего дирижера? Что такое увидел он в этом черном миге всеобщего смятения, забыв и себя, и своих людей, и жизнь, и саму смерть? Я сразу же увидел, как увеличилась всеобщая паника.

Люди, словно обезумевшее стадо, бросались к шлюпкам, беснуясь, давя друг друга, детей и женщин, наполняя еще спускающиеся шлюпки, переворачивая их, опрокидывая, гу-

бя самих себя. И вот заблестали среди тьмы огни, и загремели выстрелы. Огонь открыл капитан, стреляя по мужскому стаду, чтобы остановить его, а откуда-то взялись и у других револьверы, и те стреляли во что ни попало. Это была поистине ужасная картина, от которой седеют люди: дикие крики, выстрелы, музыка, смех внезапно сошедших с ума и пламенная молния по черному небу.

Я бросился на нос, где не было народа. Я хотел подняться на бизань и взглянуть на крен парохода. Но по пути я услышал жалостные женские стоны и увидел неподалеку трех тесно сплетшихся людей. И нечто странное представилось мне там. Тот самый перс, который вчера и весь сегодняшний день лишь на минуты приходил в себя из обморочного состояния, теперь с проворством обезьяны связывал какого-то человека, а красавица-персианка цепко держала его хрупкую жертву за плечи, и прекрасное лицо ее было искажено самым отвратительным гневом и яростью. В их беспомощной жертве я сейчас же узнал ту бедную, нежную девушку, которая так страстно мечтала о самом простеньком покое и тишине. Не помня самого себя, я ринулся к ним, но, видно, не один я наблюдал за ними в эту минуту. Сзади себя я услышал тяжелый топот, и голос Рябчика заорал почти над самым моим ухом:

— А, бухарская гиена! Ты хочешь и эту продать в гарем? Держись!

Перс оскалил белые, сверкающие зубы и весь согнулся в одни комок мускулов.

Но маневр Рябчика был совершенно неожидан. Он держал нож в руке, но размахнулся не им, а ногой в тяжелом матросском сапоге. Удар пришелся персу в живот и поистине был ужасен. Перс помертвел, а матрос и сам не выдержал своей стремительности, и оба покатались на пол. Я успел только заметить, как нож Рябчика глубоко ушел в плечо его врага.

В минуту ту, когда Рябчик напал на перса, у меня у самого все помутилось в глазах от ненависти и озверения. Не рассуждая, я изо всех сил ударил стиснутым кулаком по прелестному лицу восточной красавицы. Оно вмиг все ок-

ровавилось и по противному хрустящему звуку удара я понял, что выбиты зубы. От омерзения я совсем озверел. Она дико вскрикнула и бросилась бежать, и я ринулся за ней. Я совсем не понимал, что я буду делать, когда ее настигну, но я знал, что мне нужно догнать ее. Она добежала до боковой бизани и, словно дикая серна, взвилась вверх. Я тяжело перебирал за ней ногами по веревочной лестнице; все равно ей некуда было уйти. Но она внезапно протянула руки вперед и вниз головой бросилась в черные волны.

Сq мною же случилось непоправимое несчастье. Я тогда совсем еще не умел цепко приноровиться к лазанью по шаткой веревочной лестнице. Толчок, данный ей женщиной, страшно раскачал ее вместе со мной в моей вышине. Ноги мои вдруг сорвались, и я повис на одной руке. Я содрогнулся от ужаса. Я не поверил себе. В этот миг мне показалось все это совершенно невозможным, а, главное, не наяву. Как ни ужасно мне было, но я почему-то неотразимо знал в душе, что я никак не могу упасть. А между тем рука моя сама собой разогнулась и я стремительно полетел — только ветер жалобно запел в ушах, да захватило дух.

Не могу сейчас припомнить, в тот ли миг, когда я падал, позже ли, когда я упал в воду, но вдруг как-то прояснилось среди мглы и мрака. Когда среди темной-темной ночи небо озарится вдруг все наотмашь нестерпимой молнией, то видишь внезапно и узоры скатерти на столе, и стакан с ложечкой, и чернильное пятно на полу, и муху, дремлющую на стене, и сверкнувшую иголку на белом подоконнике, все до пустяка. Так и я увидал вдруг и все темное колыхание моря, от конца до конца, и пенный гребень, с шипеньем катившийся к черному горизонту, и какую-то непонятную птицу вдали над волнами, и где-то, совсем на краю земли, черную паутину корабельных снастей на бледной полосе неба. И все, что я увидел, вдруг так ново было мне, так безумно, словно никогда ничего подобного не только видеть, а и вообразить себе нельзя было. И даже увидел я, какой большой крен сделало судно за столь короткое время и еще подумал, что это несомненно чья-то злодейская

рука открыла все кингстоны, чтобы лишить силы водонепроницаемые переборки.

Но сейчас же вслед за этим я потерял сознание. Я получил сильный удар в голову. Чья-то сострадательная рука бросила мне с палубы спасательный круг и угодила прямо в темя. Поистине, коварна была эта жалостливая рука и Бог весть, какому тайному участнику злодейского замысла принадлежала она. Я и до сих пор уверен в этом.

V

Сколько времени провел я без памяти и что сделалось со мной за это время, я не знал. Когда же я очнулся, я увидел, что лежу на голой каменной площадке. По бокам меня поднимаются далеко ввысь дикие, серые скалы, а внизу лежит море. Солнце стоит прямо перед глазами и жжет, и обливает все жестоким зноем, а море тихо и чисто, и светло, как небо. Каким неправдоподобным случаем попал я на это место, я никогда не мог понять. Только вечером, осматривая себя, я увидел две рассеченные раны на теле и предположил, что был выброшен сюда прибоем без сознания. Но далеко ли я от места несчастья, я не знал.

Большая слабость была во мне во всем, и жажда меня томила. А солнце раскалило камни и все жгло и жгло и меня, и бурные верхи скал. Белый, пыльный свет его сплошным пламенем стоял над всем морем, и вода слепила глаза не меньше солнца. С моего высокого места мне открывались все дали, и ни одной точки не было на них.

Я мучился от жажды и от солнца и, очнувшись, сейчас же хотел броситься в воду, но вовремя спохватился — мне бы уже нельзя было влезть назад. Потом в течение дня, когда мне совсем становилось невольно, я много раз хотел это сделать, уже невзирая на смерть. Но каждый раз я насильно себя удерживал, и мыслью не о смерти, а о том, что, освежившись в воде, я буду поздно сожалеть и укорять себя — а я знал, что раскаяние сильнее смерти.

Я плохо помню, как прошел день. В течение его я все больше был в забытьи. Но странно, что впадая в забытие, я ни разу не видал моего прежнего загадочного сна, — как будто он пропал, исполнив, что было надо.

Сновидения были очень различны.

Иногда мне виделся во сне наш пароход, наши матросы и пассажиры, и старичок-генерал, та ситцевая бабенка, и я сам живу на этом пароходе, и все это так живо, что, приходя в себя, я не хотел верить глазам, что ничего этого уже нет давно. И снова странно и замечательно, что ни разу во сне не видал я среди пассажиров ни перса, ни его восточной красавицы.

Чаще же всего мне чудилось совсем не относящееся к морской жизни моей. Мне грезилось обычно, что в один летний полдень я сижу у себя в деревне на чьей-то завалинке со стариком Силычем, как я сиживал, бывало, с ним раньше.

— Все погорело, Петрович, все, — шелестит мне старый Силыч и шелестит над самым ухом, но в то же время словно бы из какой-то дали. — Акцию трудами накопил, в сто рублей акцию, и акция погорела. Покойница-старуха все, бывало, мне говорила: «Положи, Силыч, акцию в государственную банку. Положи, Силыч, акцию в банку». Умирала, все ладила: «Говорю тебе, Силыч, без акции останешься». Ну, думаю, поспею еще. Поспею да поспею, то да се, а хватить, она и сгорела у меня.

Силыч крутит грустно лысой головой и вдруг вскрикивает надо мной громко и ясно:

— Петрович!

И я чувствую, что это зовет меня не Силыч во сне, а кто-то другой, и не там, на в деревне на завалинке, а вот здесь где-то, около.

— А! — вскрикиваю я и прихожу в себя из забытья.

Никого нет около. Только те же зной и тишина, что и в деревне на завалинке, да все та же блестящая морская пустыня перед глазами, и нет ей ни конца, ни края, как жизни тягостной и бездольной — только где дождь идет, где солнце светит по всей огневой пустынности ее!

Помню я, как облака проходили высоко надо мной, и птицы пролетали через скалы, а я смотрел на них с завистью из своей раскаленной тюрьмы. Еще я помню, как раз я увидел возле себя на камне муху, самую обыкновенную нашу муху. И мне вдруг вспомнилось, что теперь у нас на севере стоит осень. И словно живыми глазами увидел я вдруг и туман на полях, и первый колючий иней по верхушкам можжевельника и далеко вокруг сжатые поля, суровые и темные.

Но под конец дня сознание мое так стало мутиться, что я начинаю все забывать. И вот, словно сквозь очень мутный сон, я помню вдруг, что я уже не лежу на сиденье, а стою на нем, наклоняясь вперед. Я вижу, что передо мной лунная ночь, медный месяц бьет прямо в глаза своей металлической пылью, и море светится во всю ширь и даль свою ярко, призрачно и туманно. Но море словно бы не море, и месяц не месяц, а все так, как будто бы кто спит и грезит мною. Потом я вижу, как сам я сгибаю колени и прыгаю в лунную воду. Но для чего я все это делаю, я не знаю.

Когда я наново совсем ясно начинаю все понимать, я вижу, что я лежу вверх лицом на двух широких корабельных досках, а надо мною светлое, голубое небо, чистое-чистое, как стекло. Стоит очень раннее утро и тихо на небе, и тихо в сердце у меня.

Объясняя теперь все случившееся со мною, я догадываюсь, что, как ни был темен у меня рассудок, я все же заметил эти доски. Их, верно, гнал мимо ветерок, и они могли быть от нашего же парохода. Но мне и сейчас страшно подумать, что, как я ни усиливаюсь, но не могу вспомнить, точно ли я видел их.

Очнувшись, я увидел, что вокруг меня только море, небо да солнце. И еще я чувствовал, что, как это ни чудесно, а я недавно пил. Я попробовал воду, она была пресная, видно, где-то впадала тут большая река. И так кротко и неярко было все вокруг меня, и руки мои так ласково сочила теплая вода. Я засмеялся про себя от радости.

Я повернулся на другой бок и был совсем потрясен. Меня прибило к самому берегу. С одной стороны я увидел в от-

далении ту площадку, на которой я ждал смерти, а с другой — какой-то большой и пышный южный город. Дрожащими от слабости ногами, сам дрожа от счастья, я побрел было к нему по горячему сыпучему песку. Но мне не суждено было уйти далеко. Сделав несколько шагов, я наткнулся на нечто еще более поразительное. У самого берега, в мелкой голубой водичке, лежала голая волосатая рука мужчины, отвратительно согнутая в предсмертном мучении, и драгоценный перстень на ней излучал снопы буйного света. Это было мне столь противно и жутко, что я потерял последние слабые силы. У меня потемнело в глазах, и я тут же упал на песок без сознания.

Когда я очнулся во второй раз, я увидел над своим лицом кроткие и нежные глаза печальной бедной девушки. В ногах же у меня стоял Рябчик. Лицо его было самоуверенно и торжествующе, и на одном из пальцев сиял дивный массивный перстень.

Борис Лазаревский

ЧАСЫ

Илл. А. Арштама



Посвящаю А.И. Куприну

Из кольца, которое мне подарила мама, выпал камешек — хризолит, но, к счастью, не потерялся. Я вспомнила об этом, когда мы шли с Андреем по Невскому, и попросила его на минутку зайти в небольшой ювелирный магазинчик. Мы спустились по ступенькам вниз. За прилавком стоял рыжеватый еврей с худым испитым лицом и голубыми глазами. Он что-то писал на бумажке и, услышав звонок, радостно поднял голову,— вероятно, здесь давно не было покупателей.

Я вынула из портмоне кольцо и завернутый в папиросную бумагу хризолитик и начала объяснять, что нужно сделать. Андрей нагнулся над стеклянным ящиком и, прищу-

риваясь, рассматривал лежавшие в нем часы всевозможных величин.

Когда я кончила свой разговор с владельцем магазинчика, Андрюша сказал:

— Посмотри, какие симпатичные браслетные часы, вот эти никелевые, видишь, дамские и мужские, и ремешки на них точно кавалерийская подпруга в миниатюре.

Он поглядел на еврея и спросил, сколько стоят эти часы. В этот день Андрей получил довольно крупный для помощника присяжного поверенного гонорар и был склонен покупать все, нужное и ненужное.

— Ну, зачем тебе часы? У тебя же есть золотые, — произнесла я с легким укором.

— Не люблю я золотых, и ты сама хорошо знаешь, что они вечно находятся в ломбарде, — а этих уже никто не возьмет...

Хозяин магазина завертел головой, засуматошился, и быстро и ловко вынул и мужские и дамские часы. За мужские он спросил восемнадцать рублей, а за дамские пятнадцать. Андрей подумал и помолчал.

— Ну-с, а двадцать пять рублей за те и другие желаете?

— Избави меня Бог, невозможно... Только для вас, потому я вижу, что вы хорошие господа, я мог бы уступить эти часы, — пару за тридцать рублей.

Я ожидала, что Андрей будет торговаться, но он молча вынул из бумажника три десятирублевки и бросил их на стекло, затем взял маленькие часы и сам надел их мне на левую руку, а я надела ему мужские. Когда мы вышли на улицу, Андрюша сказал:

— Ну, вот это и будет наше обручение...

Я ничего не ответила. Было приятно слышать эти слова и немного страшно, уж очень я любила свободу, и всякий намек на принадлежность кому-нибудь или чему-нибудь всегда царапал мое сердце. Однако, мне захотелось взять Андрея под руку, хотя мы шли от самого Адмиралтейства просто рядом.

Затем Андрей, не спрашивая меня, зашел в магазин Бормана и купил мятной карамели, которую я очень люблю.

Мы решили пообедать вместе. Взяли извозчика и поехали в мой любимый ресторан, может быть, потому, что бывала в нем всего три-четыре раза.

В общем зале народа было немного, и мы великолепно устроились за столиком у окна. Закусили салатом из омаров и оба пришли в отличное расположение духа.

— Ты знаешь, — сказал Андрей, — я совершенно искренне сказал, что это было наше обручение, не кольцами, а часами. Бог его знает, окончишь ли ты когда-нибудь свои курсы и повенчаемся ли мы, но фактически ты моя жена уже три года, самый близкий человек и, как я тебя мысленно называю, любимейшая из любимых.

Он проглотил несколько ложек супа и, нежно глядя, продолжал:

— Вот, с твоей точки зрения, часы — это только часы... Ты знаешь, я немного мистик и, по-моему, эта вещь нечто почти живое. Когда я отбывал воинскую повинность в Одессе, то в свободное время терпеть не мог гулять по большим улицам, а всегда уходил к морю, на Ланжерон. Здесь возле народных купален было место, где кончался порт и начинался открытый берег, сплошь занятый убогими, сколоченными из досок, рыбацкими жилищами, — их даже нельзя назвать домиками. В будний осенний день здесь можно было встретить только или так называемых босяков или рыбаков-греков, правда, давно обрусевших, — и хохлов. Все они жили дружно, иногда голодали, а иногда зарабатывали так, что на душу приходилось рублей по пятьдесят. И тогда начиналось пьянство и кончалось оно в большинстве случаев ссорами, во время которых самая отборная, самая, так сказать, художественная брань висела в воздухе. Ругаться разрешалось, как угодно, и даже считалось признаком хорошего тона и талантливости, но строго-настрого местный обычай запрещал в такое время упоминать имя Николая Угодника и затем слово «часы». Последнее обстоятельство меня очень заинтересовало, и однажды, катаясь по морю с моим другом, лодочником Мавриди, я спросил его: почему часы считаются священным словом. Мавриди был умный, полуинтеллигентный грек и объяснил мне, что,

зная, который час, каким-то способом можно вполне определить, находясь в открытом море, где восток, а где запад, и что часы не раз спасали многих рыбаков, так же, как и молитва Николаю Угоднику, икона которого есть на каждой шлюпке. И добавил еще Мавриди, что часы, которые человек долго носит, «знают и *чувствуют* своего хозяина», но в чем именно это выражается, грек не сумел мне рассказать, мотал головой, щелкал языком и только повторял: «это верно, это верно, уж я тебе не солгу, только не нужно об этом говорить».

Больше ничего я не сумел от него добиться. Возвращаясь с Ланжерона в казармы, я вспомнил, как однажды, еще во время студенчества, одна англичанка, которую мы называли просто miss, считавшаяся истеричкой и ясновидящей, взяла в руку мои часы, очень побледнела и минут через пять пробормотала: «вижу большое сражение... лежат окровавленные люди и лежит»... она назвала мое имя.

Естественница по образованию, я всегда подтрунивала над различными «верованиями» Андрея, но в этот раз мне стало неприятно. Я заставила себя улыбнуться и спросила:

— Ну, и что ж, исполнилось ее предсказание хоть отчасти?

— Конечно, нет, да и не могло исполниться, во-первых, потому, что я окончил университет и начал отбывать воинскую повинность уже после Японской войны, во-вторых, теперь я прапорщик запаса, и, вероятно, пройдут целые десятилетия, пока меня потребуют, а вернее, и никогда не потребуют, да и какой из меня военный, я уже так слился с адвокатским сословием и со своим делом, которое очень люблю.

После обеда мы поехали на остров и здесь в моей крохотной комнатке были счастливы до трех часов ночи, пили чай, ели фрукты, разговаривали о современном браке и о положении женщины вообще, и я убедилась, что даже самый чуткий и любящий мужчина никогда не поймет женской души. Андрей, например, интеллигентный и либеральный человек, горячо доказывал, что счастье женщины не в свободе, а в полном подчинении близкому человеку, и что

те женщины, которые чувствуют себя рабынями, переживают во много раз больше сладких моментов, чем меняющие возлюбленных и рвущиеся к полной самостоятельности...



Такие речи я прощала Андрею только потому, что они были абсолютно искренними и потому что он был Андрей.

Моя старушка-мать, узнав о нашей близости и о том, что я не хочу венчаться, пока не получу диплома, заплакала. Старшая замужняя сестра назвала меня нехорошим словом и теперь не переписывалась, а младший брат Сережа, гимназист седьмого класса, не хотел этому верить совсем. Вообще, с родными мне пришлось почти порвать, потому что никто из них не мог уяснить: почему я и Андрей, любя друг друга, живем на разных квартирах.

В своих письмах мама старалась убедить меня, что Андрей «подлец» и не хочет поселиться вместе, чтобы товарищи, присяжные поверенные, не презирали его за это. Но все

это было не так, и жили мы врозь потому, что хотели сохранить ту поэзию, которая нас соединила, на возможно долгое время.

* * *

Несмотря ни на что, я крепко любила своих родных и тот маленький уездный город, в котором они жили и где я окончила гимназию. Праздники Рождества и Светлого Воскресения и каникулы я всегда проводила возле мамы. Спорили и спорили и все-таки любили друг друга. Часто мама проклинала тот день и час, когда меня отпустила на курсы, сожалела о том, что я не вышла замуж за делавшего мне предложение после окончания гимназии околоточного надзирателя и ругала Андрея; однажды даже пыталась прочесть его письмо, но почерк Андрея — это нечто невообразимое, мама заподозрила, что он пишет на каком-то иностранном языке, не то по-итальянски, не то по-французски.

Мы жили на краю города, и гости у нас бывали редко, заходил только женатый студент Порохов, высокий, сильный и красивый; часто объяснялся мне в любви и жаловался на свою несчастную жизнь, но меня эти жалобы не трогали. Женился он на хорошенькой белошвейке, против воли родных, а затем ему стало скучно. Жена Порохова Любочка несколько раз передавала мне окольными путями, что плеснет в лицо серной кислотой и мне и мужу, если встретит нас вместе. Я этого не боялась. Была еще у меня подруга — ученица, девочка четырнадцати лет Аня Беляева. Она тоже мечтала о курсах, но родители ее хотели взять Аню из пятого класса и сделать из нее помощницу по хозяйству.

Нервная, худенькая, как спичка, Аня жалась ко мне и без слов просила защиты. Она часто видела фантастические и в то же время реальные сны.

В этом году, когда я приехала домой, мама встретила меня очень ласково, не понравились только ей мои часы

на руке, подаренные Андреем, она нашла, что девушке это не «подобаает». Скорее чутьем, узнала милая Анечка о том, что я в городе, и в первый же вечер прибежала к нам. Перещеловала мои глаза, губы и даже руки и быстро заговорила:

— А я вас сегодня видела во сне, да еще как.

— А как? — спросила я.

— Будто вы венчаетесь.

— С кем?

— А такой господин... — И Аня очень подробно и очень верно описала наружность Андрея и закончила: — а только страшный этот сон был, ужас какой страшный, хотя для меня приятный, я была вашей дружкой и вы мне сказали, что с этого времени мы никогда уже не расстанемся и что вы будете учительницей, а меня отдадите на медицинские курсы...

— Но почему же страшный? — спросила я.

— А потому, что когда священник начал перевязывать руки вам и вашему жениху, на материи этой я увидела кровь.

— Пустяки, — ответила я, — просто ты думала о том, что я могу скоро приехать и, вероятно, думала, что, может быть, я уже окончила курсы и вышла замуж, а портрет моего жениха ты видела в моей комнате на письменном столе и оттого так верно его и описала.

Аня только пожала своими острыми плечиками и виновато улыбнулась. Затем пришел Порохов, как всегда трагически вздыхающий, и помешал нашей искренности.

Я отложила два экзамена на осень, и в это лето нужно было много заниматься. Май и июнь прошли незаметно. Единственным удовольствием было купанье. Однажды я заметила, когда мы с Аней входили в воду, что Порохов за нами подсматривает, и когда он пришел к вечернему чаю, не подала ему руки и объявила, что больше с ним не знакома.

Он заплакал, точно маленький, и ушел. Дня через три или четыре я, не знаю почему, проснулась ночью, поглядела на свои часы и увидела, что они остановились, пока-

зывая двадцать минут третьего. Это меня удивило; я хорошо помнила, что завела их с вечера, на всякий случай опять сделала несколько оборотов, и они зачикали монотонную песенку своей механической жизни.

Утром пришла с базара наша кухарка Варвара и с плачем рассказала, что сегодня ночью Порохов застрелился. Я остолбенела и не хотела верить, но через пять минут прибежала Анечка и подтвердила то же самое.

Протянулась ужаснейшая неделя. Совесть меня не мучила, но было слишком тяжело думать, что, может быть, я причина этой смерти. Хотелось пойти и поглядеть на лицо человека, любившего меня. Мне передала Варвара, чтобы я остерегалась, потому что вдова Порохова обещала меня убить. Мама буквально заперла меня в комнату и не позволяла ни с кем видаться, кроме Ани. Я написала длинное письмо Андрею и просила его утешить меня и разрешить мои сомнения. Послала его заказным и стало как будто легче. Затем я узнала, что вдова Порохова уехала далеко к своим родным и опять, как прежде, я стала выходить на улицу спокойно и купаться с Аней в реке.

От Андрея получилось длинное, прекрасное письмо, в котором он не винил меня ни в чем и называл Порохова психопатом, умолял приехать к нему на дачу в Финляндию и повенчаться. Не понравилось мне, что Андрей назвал психопатом покойного. Уехать я могла, но знала, что тогда мои два экзамена были бы отложены надолго, и ограничилась тем, что, в свою очередь, написала Андрею большое письмо, написала также и о том, — как ни с того, ни с сего остановились мои часы, и оказалось, что в это самое время и застрелился бедный Порохов.

Аня потряхивала головкой и таинственно шептала:

— Так вот почему я видела во сне кровь...

Но... дальше я сама поняла почему, и не только поняла, а и поверила...

В самый разгар июльской жары, когда только можно было дышать, сидя по горло в воде, а дома ходить в одном, надетом на голое тело, капоте, совсем неожиданно для нас, провинциалов, не читающих газет, загорелась война, и так

же неожиданно пришло письмо от Андрея о том, что он призван, и вся жизнь и все планы на будущее — круто изменились.

Мы с мамой начали шить белье, помогала и Анечка. И в это время случалось, что в течение двух или трех часов не произносили ни одного слова. Только по вечерам мы по-прежнему беседовали с Аней. Четырнадцатилетнее дитя призналось мне, что любит выгнанного из седьмого класса реального училища Колю Остроухова, который записался вольноопределяющимся и тоже уехал на войну. С этого момента милая девочка стала мне как будто еще ближе. Мы вместе ожидали писем, она просила своего Колю писать на мое имя, но в течение целого месяца получили только две открытки. Андрей писал очень коротко и заканчивал фразой: «Береги часы».

Иногда я завидовала Ане, ее способности — видеть во сне многое, хотя теперь она далеко не обо всех своих сновидениях рассказывала мне.

Разлуку она переносила гораздо бодрее, чем я и, случалось, говорила:

— Я знаю, его не убьют, и вернется он офицером...

Об Андрее она ничего не говорила, но безумно обрадовалась за меня, когда я, наконец, получила большое закрытое письмо. Обе мы посылали в действующую армию: папиросы, шоколад и носки. С каждым днем я убеждалась, что Аня действительно любит своего Колю; это меня удивляло и трогало. Мама умоляла меня в этом полугодии совсем не ездить в Петроград, ей казалось, что над городом будут летать щепелины и бросать сверху бомбы, из которых какая-нибудь может попасть в меня.

Мысль приехать и не увидеть Андрея была тяжелой, и я сама не настаивала.

Самым тяжелым было читать перечень раненых и убитых. Прежде я никогда не думала о немцах, а если и думала, то считала их очень учеными и миролюбивыми. Я понимала, что война — это война, но не могла понять того, что делали немцы в Бельгии. Не могла понять цели разрушения такой красоты, как Реймский собор. И вся Германия

теперь представлялась мне в виде огромного пьяного мужика, от которого разит пивом, вдруг обезумевшего, ворвавшегося в чистенькую квартиру большого художника и с бешенством уничтожающего картины и статуи, все то прекрасное, в чем он никогда не понимал толка и не мог понять своей особой головой, привыкшей только думать о чисто практических, низменных вопросах: как удвоить число производимых кирпичей, как сделать пушку, которая одним выстрелом могла бы уничтожить сотни людей... Особенно непонятно было разрушение Лувенской библиотеки. После Андрея на этом свете я любила больше всего книги.

«Бедные книги и редкие рукописи, за что погибли они?» — думала я.

В это лето я была свободна, как птица, и несчастна безгранично. Иногда вспоминались слова Андрея о том, как ошибаются те женщины, которые думают, что их счастье в свободе. Каждый следующий день тянулся медленнее. Вечера стали длинными и холодными. Почти целый месяц не было ни одного письма, только в конце сентября — одна открытка, торопливая, написанная карандашом. Нехорошие предчувствия давили днем и ночью. Если бы не милая Аня, я бы, вероятно, психически заболела.

Прежде сон меня успокаивал и давал силы, а теперь я просыпалась через каждые два-три часа и глядела на часы, иногда целовала их. Мне бывало легче, когда у нас ночевала Аня. Проснусь и слышу ее нежное дыхание и успокоюсь.

Третьего октября мне было особенно тяжело, и я упростила Аню не уходить на ночь, но за ней прислали из дома, и ничего нельзя было поделать. Я хотела уйти в мамину спальню, но постеснялась сказать, что мне одной бывает страшно.

Я проводила до угла улицы Аню.

Звездная, последняя, неожиданно теплая, совсем не похожая на октябрьскую, ночь ласково прикрыла наш маленький городок. Стучал в колотушку возле собора сторож. Мы не встретили ни одного человека. Анечка была особенно нежна и ласкалась ко мне.

Попрощались мы, как будто перед моим отъездом на курсы, чуть не плакали обе. Я в последний раз поцеловала ее и зашагала обратно. Мысль — встретить какого-нибудь хулигана — не пугала меня, но я почти побежала, чтобы скорей услышать мамин голос.

Стараясь овладеть собой, я на ночь умылась и раздевалась нарочно как можно медленнее и спокойнее. Когда легла, то не повесила часы на стенке, как это делала всегда, а положила их на столике рядом, попробовала почитать газету, потом бросила ее и потушила свечку.

Я несколько раз перекрестилась, отвернулась к стенке и закрыла глаза. Против ожидания, я сейчас же и заснула, и мне далее не приснилось ничего особенно страшного: сначала мимо ехали всадники, бодрые и лихие, затем загромыкала артиллерия.

Помню, как блеснула обнаженная шашка офицера и ясно услышала голос, крикнувший: «С передков». Я ждала, что вот-вот начнется сражение, и не только не испугалась, но даже заинтересовалась необычайным для меня зрелищем. Засуетились люди, пушки повернулись дулами в противоположную сторону, лошади с зарядными ящиками отъехали. Совсем ясно возле одного из орудий я увидела Андрея и бросилась к нему.

В эту минуту раздался такой взрыв, от которого стало больно не только ушам, но и всему организму.

Я проснулась и села на кровати, ощупью стала искать спичек, не могла их найти. Вскочила и босиком пробежала к маме, схватила с киота коробочку и, задыхаясь, вернулась к себе, чиркнула спичкой и увидела, что и спички, и чугунный подсвечник, и часы валяются на полу возле кровати.

Вероятно, я сама свалила их во сне, когда мне показалось, что я бегу к Андрею, а стук чугунного подсвечника обратился в целый взрыв. Я подняла и зажгла свечу и с ужасом увидела, что стекло на часах разбилось вдребезги, и они остановились на половине второго.

Целый день я старалась привести в порядок свои мысли и нервы. Пришлось принять очень много брома. К вечеру отупела. Затем мне стало как-то уже все, все равно. Поче-

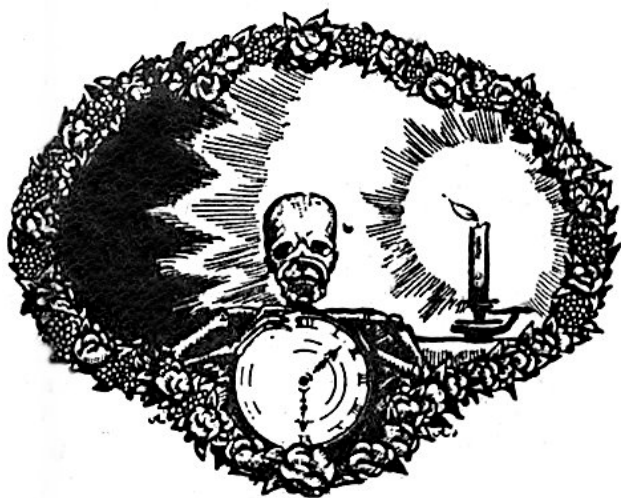


му-то не хотелось отдать часы в починку, и я не сказала ни маме, ни даже Ане о том, что они разбились.

Ровно через две недели я прочла в списке убитых имя и фамилию Андрея, выронила из рук газету, не знала, что мне делать.

Но жить осталась.

Не скоро, но я узнала наверное от одного из раненых, привезенных в наш город, что Андрей погиб в ту самую ночь, и я не сомневалась, что случилось это ровно в половине второго.



Рюрик Ивнев

ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ЧАСЫ

Прощаясь со своей женой, Алексей Павлович сказал:

— Я бы очень просил тебя забыть все басни о часах. Все, что мы вычитали в дневнике бабушки, очень интересно с точки зрения исторической, как показатель того мистического настроения, которым были охвачены высшие круги Петербурга, но придавать этому дневнику особенное значение было бы наивно и смешно.

Этими часами я очень дорожу, иначе я бы их выбросил, чтобы ты не волновалась так сильно. Во всем виноват Крундышев. Он так заразительно смеялся, когда, разбирая бумаги, я прочел ему несколько страниц из пожелтевшей старенькой бабушкиной тетради, в которой повествуется о загадочных свойствах этих часов, что я сейчас же поделился с тобой своей находкой.

Мы с Крундышевым выступаем вместе и в дни, когда я не смогу тебе писать, он будет сообщать тебе обо мне. Не грусти же и не думай о мрачном.

Старые екатерининские часы, о которых говорил Алексей Павлович, собираясь на войну, висели в столовой и с ними были связаны необычайные легенды, о которых повествовала в своем дневнике бабушка Алексея Павловича, Анастасия Филипповна Лещеева.

Вот что было записано в этом дневнике:

«13-го декабря 1802 г. с. Прохладное.

Со слов покойного мужа моего записываю историю часов, находящихся в роде Лещеевых без малого сто лет.

Муж мой, генерал-майор Дмитрий Васильевич Лещеев, перед смертью рассказал мне, как были его прадеду, отставному поручику Александру Лещееву подарены эти часы блаженной памяти императрицей Екатериной Второй. В ту пору семья только что вышедшего в отставку поручика Лещеева жила около Москвы и чуть не навлекла на себя справедливый гнев покойной императрицы, посетившей свою любимицу, Елисавету Афанасьевну Лещееву, рожденную

княжну Рубецкую, в ее подмосковном имении. А виною этого гнева был юродивый Феофанушка, встретивший императрицу плачем и криком одержимого: Гости едут! Быть беде! Быть беде!.. Императрица, испуганная неожиданными выкриками, перепугалась, и потому была не в духе до той поры, пока не случилось событие. благодаря которому она изволила переменить свой гнев на милость. Перед самым обедом поручик Лещеев, сам пожелавший прислуживать своей матушке-царице, спас случайно ее величество от несчастья. Когда государыня подходила к предназначенному ей креслу, вдруг со стены во время звона упали столовые часы, и если бы не ловкость и находчивость поручика Лещеева, подхватившего их над самой головой государыни, то часы эти могли причинить ушиб ее величеству. Этот случай сразу изменил настроение государыни. Она засмеялась и, сказав: — Вот какую беду пророчил юродивый, — стала предлагать милостивые вопросы присутствующим и расспрашивать Лещеева про хозяйство. Прощаясь, благодарила за гостеприимство и сказала, улыбаясь:

— Из Петербурга пришлю вам подарок в ознаменование моего спасения...

Через две недели с нарочным была прислана государыней посылка. В посылке оказались чудные столовые часы с музыкой. Но когда эти часы были водружены в столовую, обнаружилось, что музыка испорчена, часы же шли исправно.

Нарочный рассказал, что у ворот его встретил юродивый и так плакал и выл, что лошадь, испугавшись, шарахнулась в сторону. Может быть, от этого сотрясения и испортилась музыка. Все Лещеевы были немало огорчены этим неприятным приключением, но Елисавета Афанасьевна очень просила ни слова не говорить государыне об испортившейся музыке часов и благодарила в пространном послании свою царственную благодетельницу. Эти часы сделались какими-то загадочными, точно они имели свою тайну и свято ее хранили. В них не было ничего особенного, но все чувствовали какую-то робость, когда прислушивались к их ровному, спокойному ходу. Точно они были живым понимаю-

щим существом, которое вечно молчало, но все слушало и понимало. Феофанушка же прямо видеть не мог этих часов. С ним делался всякий раз припадок. Он визжал, выл и, ударяя себя в грудь, заливался слезами. И, действительно, в скором времени случилось событие, которое оправдало все неясные предчувствия и смутную боязнь этих часов всеми обитателями лещеевского дома. Перед самой смертью Александра Лещеева часы вдруг заиграли... И так жалобно, что у всех защемило сердце. Это было во время болезни Лещеева. Через несколько минут он умер.

Елисавета Афанасьевна рассказывала детям, что эта музыка в ее ушах звучала очень долго еще после смерти мужа.

В следующие после смерти Александра Лещеева годы часы шли хорошо, но музыка не играла. Дети: Владимир, Алексей, Павел и Мария уже начали думать, что музыка часов им послышалась перед смертью их отца и одна Елисавета Афанасьевна продолжала утверждать, что часы играли. Вероятно, никто бы не поверил, и об этой истории все бы забыли, тем более, что когда застрелился Павел Александрович — никто не слышал жалобной музыки. Но через двадцать лет часы заиграли снова. На этот раз они заиграли за несколько минут до смерти старшего сына Лещеева — Владимира Александровича.

После этого в семье Лещеевых начали усиленно говорить об этих загадочных часах и об их изумительном свойстве играть в минуты смерти старшего в роде Лещеевых. Действительно, не было случая, чтобы часы ошиблись. Они, точно живое и многознающее существо, предрекали своим жалобным звоном последние минуты жизни обреченного.

Глафира Ивановна Лещеева (бабушка Дмитрия Васильевича) хотела снять со стены эти ужасные “каркающие”, как она говорила, часы. Но муж ее не особенно верил в это предание. Он воспротивился, говоря:

— Лучше узнать заранее о своей смерти. В эти несколько минут, который мне останутся жить, я смогу напоследок хлебнуть бокал вина и с этим благородным спутником отправиться к праотцам.

Глафира Ивановна потом рассказывала, что когда ее муж был в севастопольской кампании, то за два дня до того, как она узнала о его смерти, часы заиграли, но как-то отдаленно, неясно. Она даже не поняла, в чем <дело, и стала> ждать дурных вестей. Действительно, он был убит в этот день, как оказалось после».

Алексей Павлович смеялся над суеверием своих предков, но все же какое-то неясное чувство щемило его сердце, когда он прощался со своей молодой женой Ольгой Константиновной Лещеевой. В глубине души он очень раскаивался, что рассказал жене об этом предании их рода и что показал ей дневник бабушки.

2

Была очень ненастная пора. Усадьба Лещеевых одиноко стояла среди огромного сада. Качались от ветра сухие и высокие деревья. Падая снег и таял. Ольга Константиновна сидела в столовой за чаем. Сегодня она была одна. Ее компаньонка, мисс Плигвис, уехала на целый день в город. Ольга Константиновна досадовала, что она осталась одна сегодня, в этот ненастный и жуткий вечер. Она куталась в оренбургский платок и смотрела грустными глазами в окно. В сумерках все предметы были причудливыми и странными. Вдруг какое-то странное состояние овладело ее душой. Она встала и быстро прошла по комнате, точно ища чего-то. Ее взгляд упал на календарь. Почему-то красная страница поразила ее. Сегодня что? Ах, да, сегодня воскресенье...

Точно огонь горит эта красная страница календаря. Красные цифры и буквы: Сентябрь. 15. Воскресенье.

Ольга Константиновна подошла к окну. Прикоснулась лбом к холодному стеклу. И вдруг сквозь темноту она увидела что-то блестящее, яркое, точно блеск сабли.

— Господи, до чего я нервной стала, — пробовала себя успокоить.

И вдруг в разыгравшемся воображении промелькнула фигура Алексея. его тусклая сабля, страшное лицо чужого всадника, вот оно склоняется близко, совсем близко к милому лицу Алексея. Вот в чужой руке мелькает что-то страшное, неумолимое, острое. Господи! Помоги!.. Может быть, он сейчас умирает там...

Сейчас должны заиграть часы — молнией пронеслось в ее мозгу.

И вдруг Ольга Константиновна быстро, точно опасаясь какой-то неминуемой опасности, кинулась к столу, стала на него и сорвала со всей силы старинные екатерининские часы.

Раздался страшный звон. Разбитые часы упали на пол.

Ольга Константиновна, затаив дыхание, стояла, боясь пошевелинуться, и вдруг она ясно услышала протяжный, грустный, неумолимый звон, грустную и больную музыку, исходящую из осколков разбитых часов. Ольга Константиновна почувствовала какую-то боль в сердце, острую, понижающую. Ей сделалось дурно.

3

В четверг, 19-го сентября, мисс Плигвис вошла в комнату Ольги Константиновны с распечатанной телеграммой в руках. Ольга Константиновна лежала на кровати заплаканная, бледная.

— Он убит? — тихо спросила она.

Мисс Плигвис подала ей телеграмму.

В ней было написано:

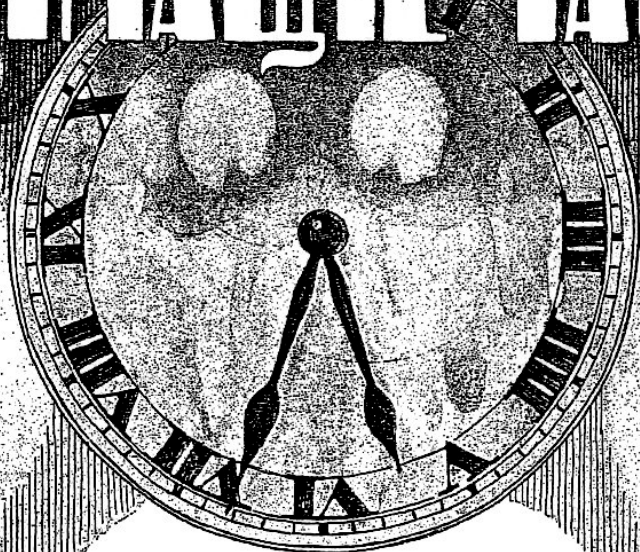
«Мисс Плигвис, передайте осторожно Ольге Константиновне, что Алексей зарублен 15 сентября, вечером, во время разведки на моих глазах саблей венгерца. Одно утешение — я отомстил. Венгерец пал от моей руки. Крундышев».

Н. Чапыгин

КРИЧАЩИЕ ЧАСЫ

Илл. С. Лодыгина

КРИЧАЩИЕ ЧАСЫ



Молодой человек лежал на кровати и читал книгу. Одна его нога была обута в штиблет, другая в серый заношенный чулок.

Лампа без колпака, стоявшая на стуле перед кроватью, отбрасывала на светлую стену крупную тень головы — тень взъерошенную и остроносую. На деревянном плоском сиденье стула мелодично постукивали карманные часы — черные, с большим циферблатом. Перед читающим книгу кошмарно и ясно вставали мертвецы из могил — ему чудилась ночь, сырая и беззвездная. Мертвецы переписывали надписи на своих памятниках, восстанавливая правду, хвалебно

искаженную живыми. А вот и она! Она вышла из могилы и тонкой нежной рукой стерла то, что было написано им: «Она любила, была любима и умерла». А нежная рука покойницы написала: «Он меня любил — я вышла из дома, чтоб обмануть его, было сыро — я простудилась и умерла».

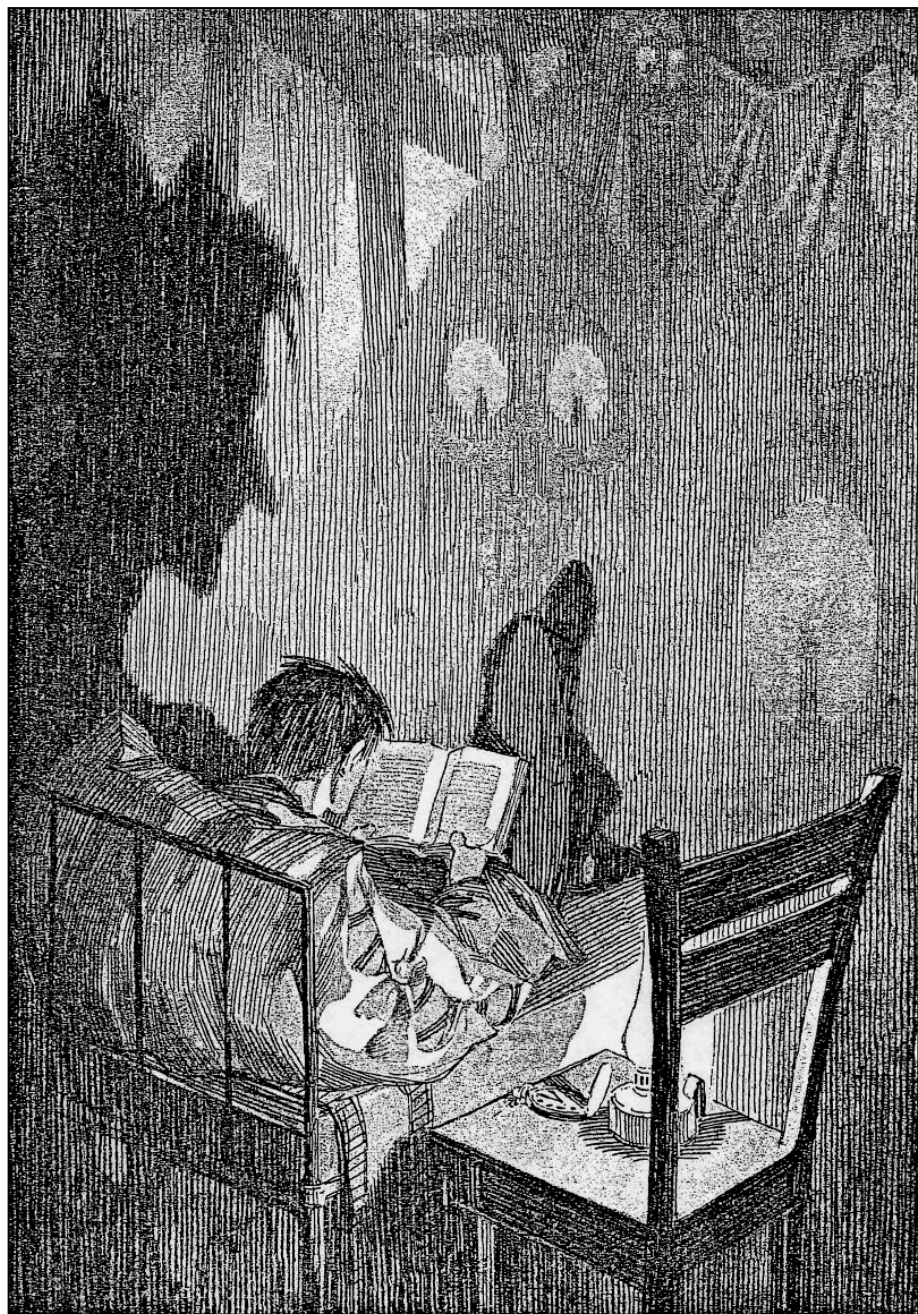
— Нет, нет ты не оттого умерла, что хотела обмануть! А впрочем, я пойду узнать!..

Молодой человек сел на кровати и прислушался, всматриваясь с усилием в маленький циферблат часов тусклыми глазами, прислушиваясь все напряженнее к торопливо стучащему сердцу механизма, и ему казалось, что медленно, с каким-то затаенным коварством, ползет по циферблату длинная минутная стрелка, незаметно крадется приземистая часовая и, лихорадочно вздрагивая под ударами стального пульса, перебегает секундная в ровно и тесно очерченном круге.

— Ах, это не те часы! те бьются во мне, но мне их не достать. — Он скрючил пальцы рук и приставил их, холодные, к груди. — Вот настоящие часы. Они иногда хотят закричать звонко, дико, а этого не надо... сбегутся люди, схватят... не надо! Пойду узнать правду... Нет, не то — пойду... — прибавил он шепотом, — встретить ее... она такая робкая, дойдет до двери и будет стоять, плакать в темноте, потом уйдет, не повидавшись со мной...

Молодой человек вскочил, надел пальто, шляпу и, сунув неодинаково обутые ноги в глубокие калоши, вышел на улицу. На улице было холодно, он поежился и притопнул правой ногой — она сильно зябла.

Тусклыми глазами жадно всматривался в лица встречаемых женщин, но тут ему мешают видеть и слепят издалека бегущие белые глаза автомобиля. На улице, такой ровной, мутно-белой, с мягкими короткими тенями, запрыгали светлые волны и черные длинные тени от лошадей и людских фигур. Скоро померкло все — автомобиль пробежал мимо. Человек покосился на перекресток улиц — на перекрестке стояла решетчатая жаровня с дровами, около нее, на фоне рыжего марева, толпились черные люди.



— Там ее нет! — подумал молодой человек и повернул обратно. Заборы и деревья серели, поблескивая от инея. В глубине черного неба, тронутые огнями фонарей, висели мохнатые пауки скрещенных проволок и сверкали от инея.

— Где огни — там правда!.. — подумал он, направляясь в сторону пестрых огней. Когда подошел, выступили из сумрака высокие, грубого стиля колонны, между колоннами гирлянды пестрых огней и какая-то надпись. Швейцар, наряженный шутом — в пестрой с галунами ливрее, с булавой, похожей на лошадиную ногу, что-то веселое рассказывал черному городовому с круглым, красным лицом.

— Она тихая... она не здесь. — И прибавил настойчиво: — Ирма, Ирма, не шути так!



Все оглядывался и шел тише, потом опустил голову и, казалось, задремал на ходу. Сзади слышались грузные шаги и фыркание лошади. Он еще раз оглянулся. Высокий мужик в коричневом длиннополом тулупе шел по краю панели, держась за вожжи.

Белая лошадь везла длинную платформу с кронштейнами и на ней белый гроб.

— Вези — узнаю!..

Он остановился. Когда мужик проходил мимо, спросил:

— Женщину — она отравилась?

Мужик не обернулся и не ответил, а вожжами чмокаяще подхлестнул лошадь. За гробом никого не было — я пойду за ней!.. Он снял шапку, сошел с панели и пошел за гробом.

Шел тихо, отстал на повороте и потерял гроб, но пришел к воротам кладбища.

— Правда там!.. — подумал он, всматриваясь сквозь чугунные ворота в черное кладбище, белеющее смутно памятниками.

Потрогал ворота — заперты, начал рвать засов и готов был сам открыть ворота, как внутри его застучали сильно большие часы; он схватил себя за горло, сжал крепко и, боясь, что внутри его закричит страшно и звонко, отошел к церкви, стоявшей впереди кладбищенской ограды. Да... она выйдет без меня, и я не узнаю!..

Кладбищенская церковь стояла недалеко и сияла вся, двери на паперть и на улицу были широко раскрыты. Подходя, он увидал: какие-то люди венчались между гробов, идя к алтарю. Высокий человек вел за руку невесту, всю в белом; с русой головы упали на грудь тяжелые восковые цветы.

Держа шапку в руках, он вошел в церковь. В церкви было темно. Две-три свечи у образов еле-еле мерцали; на клиросе кто-то читал заунывно и жутко.

Он громко спросил:

— А где же правда?

Хотел спросить, где свадьба, но не спросил и повторил снова — где правда?!

На клиросе перестали читать и ответили:

— У тебя дома!

— Да! Да — она у меня... письмо.

Торопливо вышел из церкви, торопливо шел домой, не надевая шапки.

Снова он лежал на кровати, разнó обутой. Из-под по-

душки достал письмо и вслух, торопясь, читал:

«Григорий! Я знаю, ты бегло читаешь мои письма, но мое последнее письмо прочти внимательно — если хочешь понять меня. Я не могла живая уйти от тебя, но мертвая не боюсь твоей власти. Я поняла жизнь — жизнь насмешливая, злая колдунья, это о ней говорится в сказке, как ведет колдунья к колодцу жизни слепого и безногого богатыря, — богатыри были мудры, а мы наивны, богатыри бросали в колодец сучки, и если они сгорали, не долетая до дна — то вода не живая, а мертвая — мы этого делать не умеем — пьем мертвую воду и сгораем. Я была твоя раба. Ты отравил мою жизнерадостность и я сгорела, разлюбив мир и людей. Я не любила и не люблю тебя, но страсть сжигала и ты мне был необходим. Я вижу и понимаю, как далеко совершенство и счастье, когда страсть связывает на одну веревку с себялюбцем, а ты таков! Ты брал и ничего не давал. Себялюбец скуп на все, кроме себя, а я не виновата, что родилась женщиной. Почти всякая женщина — эскимос, готовый обоготворить деревянного чурбана. Когда я спрашивала: «Где мы будем венчаться?», ты отвечал насмешливо: «На кладбище при церкви у входа!» Теперь я насмешливо говорю тебе: я обвенчалась на кладбище, но ты остался холостым.

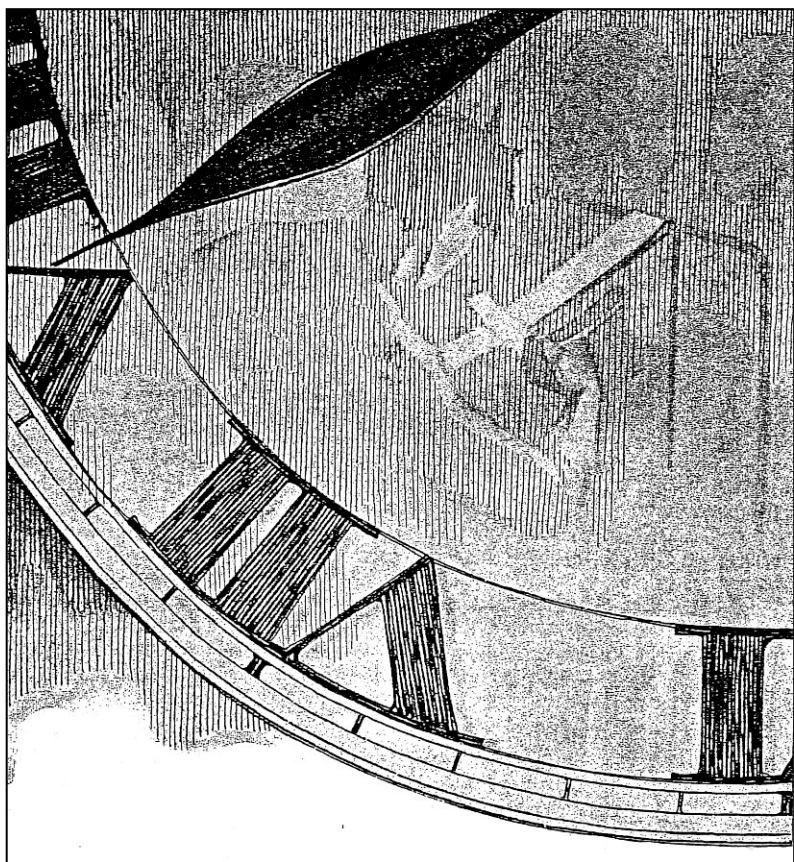
Если есть загробная жизнь, то моя душа обвенчается там и будет счастлива — если там нет ничего, то рабе земной лучше угощать своим телом червей, чем скучно жить с человеком, встречаться украдкой, страдать и знать, что его нелюбишь, но оставить его живая не можешь. — Не надо больше обманов, ни страдания... Теперь я не стыжусь своей родни. Если ты пойдешь и скажешь ей правду, то не меня будут проклинять родственники, а тебя. Я знаю, ты моему письму не поверишь.

Поди и узнай!

Мои письма не сжигай, а отдай моей маме — пусть не думает она, что я чистая и хорошая — меньше будет плакать.

Ирма».

Письмо упало на пол, он схватил себя за горло, сильно сжал и держал долго, боясь, что внутри кто-то закончит и к нему прибегут чужие. Потом, когда это прошло, он поднял с пола ее письмо, свернул и, подозрительно оглядываясь, положил себе под подушку. Спрятав письмо, поправил подушку, встал и подошел к столу. Со стола на кровать принес желтый костяной ящичек, раскрыл его и вынул бритву.



— Вот... понимаю... — думал он, проводя бритвой по ремню, — мука и тайна в том, что часы внутри стучат... Нет. Они

хотят закричать... если я их не достану, не погляжу, то меня свяжут и увезут — надо их вынуть... Как я раньше это? Я давно понял — надо!

Он торопливо снял жилет и рубаху, уверенно ощупал грудь: «Вот тут — с левой стороны!..»

И бритва вновь услужливо засверкала, бегая по желтому ремню...

Гавриил Елачич де Бужим

ЧАСЫ АДАМА БЕН-АДАМА

Прошло уже около недели с того дня, когда непонятным образом исчез из своего рабочего кабинета молодой, но пользовавшийся широкой известностью в ученом мире гебраист Аполлон Маркович Гардич. Еще накануне своего исчезновения он читал в тесном кругу любителей изучения еврейской древности реферат о некоторых особенностях назоретского произношения, реферат, представлявший эскиз к большому труду, над которым он работал: «О влиянии древнееврейского языка на языки арийские». В день своего исчезновения его видел утром один заходивший приятель, а когда вечером, в назначенное Аполлоном Марковичем время, на его квартиру стали собираться гости, чтобы дослушать прерванный накануне реферат, то кухарка объявила им, что Гардич заперся в кабинете и не отвечает на вопросы. Обеспокоенные гости, посоветовавшись между собой и долго тщетно стучавшись в дверь, решили, наконец, взломать замок, но в кабинете никого не оказалось. Позвали кухарку, допросили ее, но она клялась и божилась, что Аполлон Маркович в часа дня вошел в кабинет и никуда не выходил оттуда. Николай Маркович, брат гебраиста, на правах ближайшего родственника дал знать куда следовало о странном происшествии, были предприняты розыски, не к чему ни приведшие, и вот прошло уже около недели, а о несчастном Гардиче не было ни слуху ни духу.

Сильно удрученный исчезновением брата, сидел Николай Маркович в его кабинете и перебирал рукописи, валявшиеся на столе.

Вдруг его внимание было привлечено какой-то странной коробочкой вроде футляра старинных карманных часов. Заинтересованный, он открыл ее, из нее выпал сложенный вчетверо лист писчей бумаги, кроме которого в ящичке оказался еще небольшой ключ с пятизубчатой бородкой и кусочек замши. Внутри футляра представлял еще больше сходства с футляром для старинных часов-луковиц, только очень большого, с кулак величиной, размера.

Повертев в руках ящичек, Николай Маркович отложил его в сторону и развернул выпавший лист. Бумага была сплошь исписана характерным, бисерно-мелким, но четким

почерком Аполлона. Не желая быть нескромным, Николай Маркович отложил было его в сторону, но случайно прочитанная фраза заставила его вздрогнуть; он надел пенсне и стал читать. По мере того, как глаза его скользили по строкам, выражение лица становилось все встревоженнее и встревоженнее. Дочитав до конца, он потянулся к футляру, открыл его, вынул ключ, затем глаза его наполнились слезами и, опершись головой на руки, Николай Маркович беззвучно заплакал.

Вот что было написано на листе, выпавшем из странного ящичка:

«Дорогие мои! Не старайтесь разыскать меня, ибо меня больше нет между вами, но и не служите по мне панихид, ибо в го время, как вы читаете эти строки, я, Аполлон Маркович Гардич, сознаю и чувствую себя живым, здоровым и полным силы, хотя нигде на земле вы не отыщете моих следов. Это странно? Не правда ли? Но это так на самом деле. Сейчас у меня мало времени, чтобы подробно сообщить вам все, что со мной произошло и поэтому я ограничиваюсь только этим кратким письмом, чтобы просить вас обо мне не беспокоиться и удовлетворить ваше вполне законное любопытство касательно моего исчезновения. Я не любитель длинных предисловий и потому непосредственно перехожу к фактам, происшедшим в последний день моего с вами пребывания, 27 марта. На другой день после моего реферата, я сидел у себя в кабинете и готовился ко второй части доклада, имевшего быть в тот же вечер, как ко мне позвонили. Кухарка была в лавке и я сам отпер дверь. Предо мной стоял старый, обтрепанный еврей с немного фанатичными глазами:

— Вы господин Гардич?

— Я. Что вам угодно?

— Разрешите на пару слов?

Я провел еврея в кабинет, недоумевая, что ему от меня нужно, но вы сейчас поймете, как я был удивлен, когда узнал цель его визита. Старик вынул из кармана деревянный часовой футляр, поставил его на стол и начал:

— Видите ли, господин Гардич. Я скоро, на днях, умру и у меня никого нет, и люблю я в мире только две вещи, свой святой древний язык и вот эту игрушку. Ваши труды по гебраизму я читал, они кишат ошибками (признаться, от этих слов меня слегка передернуло), но вы первый из ученых, вставший на верный путь при изучении языка Моисея, Авраама и Иакова и поэтому вам и никому другому я и решил оставить в наследство эту... эту игрушку, которая поможет вам изучить наш язык так, как никто в мире его, кроме меня, не знает. Извольте видеть. Эта вещица, которую я вам принес и которую я у вас оставлю, что бы вы ни говорили, обладает свойством таинственным, суеверные люди скажут, чудесным, свойством переносить пользующегося ею в ту точку земного шара и в то мгновение времени, которые предварительно были отмечены на этих двух циферблатах. Как это происходит? Очень просто: на правом циферблате вы отмечаете географическую широту и долготу желаемого места, на левом переводите стрелки на известное тысячелетие, век, год, месяц соответственно знаку зодиака, в котором находится солнце, и день. Затем вы прикладываете весь прибор к середине груди на том месте, где ребра образуют впадину, и три раза поворачиваете этот пятибородный ключ в замке. Тогда, благодаря ряду заключенных в часах приспособлений, из которые механические приборы играют наименьшую роль, ваше тело распадется на невесомые эфирные частицы, которые войдут в мировой эфир, для которого, как вам известно, нет ни времени, ни пространства, являющимися лишь представлениями нашего мышления. Ваша же душа и дух, освобожденные от телесной оболочки и подгоняемые вашей волей, проявившейся в постановке часовых стрелок на определенную точку пространства и времени, смогут собрать из мирового эфира новые частицы, вполне соответствующие прежним и строеванию вашего духа и души, в желательном месте и моменте. Я знаю, вы считаете меня за сумасшедшего, Аполлон Маркович, но меня это нимало не беспокоит, потому что я знаю, что после моего ухода вы проделаете все, что я сказал. Платы за эти часы мне не надо. Обещайте мне одно: когда весь

ваш труд по древнееврейскому языку будет закончен, посвятите его памяти Адама бен-Адама, то есть мне. Да, вот еще что. Имейте в виду: ключик легко выпадает и с ним надо быть осторожным, так как без него аппарат не действует. А засим прощайте.

Я не успел опомниться от удивления, как за моим посетителем захлопнулась входная дверь, и тут только я сообразил, что фанатичные глаза старика действовали на меня гипнотически, принудив неподвижно выслушать всю только что приведенную речь. На миг мне показалось, что я галлюцинирую, но часы и футляр лежали на столе. В эту минуту часы пробили три, я позвонил кухарке, чтобы она мне дала чаю и, напившись его, я хотел продолжать заниматься. Но работа не клеилась. Словом, кончилось дело тем, что я, справившись по географическому атласу о месте нахождения Иерусалима, поставил стрелки правого циферблата на 35° 14' В./Д. от Гринвича и 31° 47' 10" С./Ш. Затем передвинул стрелки времени назад без малого на 2000 лет и, закрыв глаза, повернул ключ.

Я не ощутил ровно ничего. Все еще зажмурившись, я внутренне улыбнулся своей глупой легковёрности, заставившей меня исполнить бессмысленное предписание Адама бен-Адама, когда почувствовал легкий ветерок. Я открыл глаза и чуть не закричал от удивления.

Вокруг меня расстилалась равнина. Теплое темно-синее южное небо горело надо мной яркими лампадами звезд. Оглядевшись, я увидал вдали светящиеся точки и тут только сообразил, что нахожусь не в своем кабинете, а где-то в окрестностях Палестины и не в XX веке, а в I столетии нашей эры. Не буду скрывать: первое охватившее меня чувство было ощущение ужаса, ни с чем не сравнимое, рядом с которым побледнел бы ужас человека, попавшего на необитаемый остров или понявшего, что он заблудился. Еле сознавая себя, я пошел по направлению к огонькам далекого города, проклиная часы и свое легкомыслие, поставившие меня в такое исключительное положение. Но тишина ночи и чудный воздух мало-помалу успокоили меня и громадное любопытство, любопытство исследователя и учено-

го, пробудилось и все сильнее разыгрывалось во мне. Я сообразил, что часы, эта непонятная игрушка Адама бен-Адама, находится при мне и я могу в любое мгновение перенестись обратно в свою эпоху, но обогащенный громадным запасом исторических сведений, очевидцем которых я стал. Да, старик-еврей был прав: он дал мне возможность на месте изучить древнееврейский язык, как никто из моих современников не знает его.

Это соображение придало мне бодрости и я смело направился к Иерусалиму, полагаясь на то, что мои теоретические познания еврейского и латинского языка дадут мне возможность объясняться со своими новыми современниками.

После того, что со мной произошло, я ничуть не удивился тому, что оказался одетым в тот же или такой же рабочий домашний костюм, что на моей груди была золотая часовая цепочка, на пальце кольцо с рубином, а в кармане браунинг с запасной обоймой. Все это меня весьма радовало, так как обеспечивало мне как деньги, так и полную безопасность от какого бы то ни было насилия, ибо мой браунинг, я уверен, произвел бы грандиозный эффект на всякого, кто осмелился бы напасть на меня. Размышляя таким образом, я добрался до холма, с которого даже в темноте ночи мне стал ясно виден древний Иерусалим, обителем которого я становился.

Я не могу дать себе ясного отчета в том, сколько времени простоял я так над спящим городом, мысля скорее образами, чем сознательными мыслями, как внезапно звуки человеческой речи заставили меня вздрогнуть и обернуться. Первое, что я заметил, было кроваво-багряное зарево всходявшей полной луны и на фоне этого света две смутно выделявшиеся человеческие фигуры. С каждым мгновением они становились все четче и я мог различить двух шедших в моем направлении мужчин. Один шел медленно, еле передвигая ноги и заметно прихрамывая, низко опустив голову, а другой, высокий, коренастый, с громадной гривой на голове, шел рядом, по-видимому, в сильном возбуждении, размахивая руками и громко говоря что-то. За

расстоянием я не мог уловить слов, но долетавшие звуки ясно свидетельствовали, во-первых, о крайнем раздражении говорившего, а во-вторых, о его несомненно семитическом происхождении. Сердце во мне замерло от напряженного ожидания. Через несколько секунд я должен был узнать, привело ли меня мое теоретическое изучение еврейского языка к возможности понимать их речь или же ко всем прелестям моего положения прибавлялась еще и невозможность объясняться со своими новыми согражданами. И вот до меня донеслась фраза, которую все время повторял высокий незнакомец. Я напряг все свое внимание и чуть не закричал от радости: я понял, я понял слова говорившего! Правда, произношение слов было далеко не похоже на то, к которому я привык, но смысл был мне понятен. Высокий, раздраженный человек вел куда-то своего спутника, повторяя: «Идем, я покажу тебе место! Я покажу тебе место».

Не заметив меня, оба еврея прошли мимо и я последовал за ними.

Не прошли мы и двухсот шагов, как высокий остановился, дернул своего спутника за руку и с криком «Хак» — «Вот» бросил его на колени. От силы толчка хромой еврей покатился и остался недвижим, а высокий с поднятыми к небу кулаками кричал яростно: «Банейт Иешуа! Банейт...» Эти слова были для меня как удар по голове. Я боялся понять их смысл, но сомнения быть не могло. Мы были на невысоком холме в полуверсте от города. Яркая полная луна освещала дремлющий город, гигантский, тяжелой громадой спящий храм и ту площадку, на которой лежал поверженный хромой и неистовствовал в несказанном горе высокий еврей, указывая на глубокую, с пол-аршина в диаметре яму, черневшую на земле между двумя другими, и повторяя все громче и громче: «Банейт Иешуа, банейт».

Я хотел и боялся верить своим глазам и ушам. «Банейт Иешуа» ведь значило «Умер Иисус!»... Неужели же чудовищная сила часов Адама бен-Адама перебросила меня через века и пространства на вершину Голгофы на другой день после распятия? Это было чересчур невероятно...

Однако я видел и слышал вполне ясно: полнолуние, холм со следами трех крестов, хромой рыжий еврей и высокий фанатик, кричавший поразившие меня слова. Но кто же были они? Неужели ученики, пришедшие поскорбеть на место великой казни? И вот новые слова высокого еврея вывели меня из недоумения. Подскочив к лежавшему на земле, он схватил его за платье, приподнял и весь его ужас, вся скорбь вылилась в звуке голоса, которым он полупешотом спросил: «Иехуда, зачем ты это сделал?»

Мои нервы не выдержали, я кинулся вперед, не отдавая себе отчета, зачем я это делаю. При виде меня высокий выпустил Иуду и, замахав руками, бросился бежать. Очевидно, и его напряженные нервы не выдержали и внезапное появление дико, по его понятию, одетого человека навело на него панический ужас.

Я наклонился над оставшимся лежать Иудой и увидел, что он без сознания.

Первое, что меня поразило, было громадное несходство простертого у моих ног еврея со ставшим всем нам привычным представлением о внешности Иуды Предателя. Правда, он был хром, правда, ярко-рыжие волосы обрамляли его лицо, но само лицо было отнюдь не преступное, не жестоко мрачное, с искривленным носом, как изображали Иуду с легкой руки Леонардо да Винчи все живописцы. Передо мной лежал истощенный от поста еврей средних лет со строгим, скорбным и бесконечно измученным лицом, на котором не было не единой кровинки, большие серо-стальные глаза были широко раскрыты и невидящим взглядом смотрели на небо. Длинный белый хитон облекал все тело, а на перевязи через плечо болтался ящик, знаменитый ящик для сбора милостыни.

Но вот Иуда повернул глаза и взглянул на меня, и в этом взоре было столько отчаяния, горя, скорби, что на моих губах застыли вопросы, с которыми я хотел к нему обратиться. Еще не отвел он от меня своих глаз, а я уже понял, что все, все в мире ему безразлично, кроме одного «Банейт Иешуа», которое тихо прошептали его тонкие бескровные губы.

Все вопросы испарились из моей мысли и я нашел в себе только одну фразу: «Иуда Искарот, ты ли это?» И ответил тот: «Ани», что значит «Я». И спросил я тогда: «Иуда Искарот, ты ли предал Иисуса?» и ответил тот: «Ты сказал».

И встал тогда Иуда на ноги свои и показал мне яму в земле, говоря: «Здесь умер Иисус, Тот, кого я предал, чтобы исполнилось сказанное в Писании», а я смотрел на Иуду и безмолвствовал.

И снова сказал Иуда:

— Я не знаю тебя и необычен вид твой, но ты первый, кто встретил и не проклял меня после того, как я предал Сына Человеческого.

И спросил я:

— А разве все проклинаят тебя?

И ответил Иуда:

— Все братья отвернулись от меня, Симон побил меня, а фарисеи и книжники презирают меня, хотя и отдал я им цену крови.

И хотел я спросить Иуду Искариота, зачем он сделал это, но не повиновался мне язык мой и пошел я вниз к городу.

Но Иуда, взяв меня за руку, остановил, говоря:

— Слушай, чужеземец, так плохо говорящий на языке нашем. Когда вернешься ты в отчизну свою и до ваших мест дойдет весть, что предал Иуда Искарот Иисуса Сына Божия, ты говори соплеменникам своим: да, воистину предал он Его, но не из за корысти, а из за любви к Нему, чтобы до конца свершил Он путь жизни Свой и чтобы свершилось, что писано о Мессии. А про Иуду говори так: если крестными муками страдал распятый, то муками смертными о смерти Его страдала душа Иуды, и смертью своей платит он за это.

Сказав так, Иуда ушел, а я остался один на Голгофе, что значит Лобное место.

Стало светать. Совершенно переставая соображать, что со мной происходит, я кинулся бежать к городу, но внезапно остановился. Все, все мысли, желания, все мое любо-

пытство перед фантастическими, открывавшимися мне, европейскому ученому XX века, возможностями изучения эпохи первых дней христианства, все это испарилось из моей памяти, и я слышал только в ушах приказ Иуды: «Говори соплеменникам своим: из любви к Нему предал Иуда Иисуса, чтобы до конца свершил Он путь жизни Своей, и чтобы свершилось, что писано о Мессии».

Это веление было так мощно, что я, как загипнотизированный, перевел стрелки на часах Адама бен-Адама, трижды повернул ключ, крепко сжимая его в руке, чтобы не выронить и тем самым не потерять возможность вновь переноситься в другую эпоху, и увидел себя сидящим в своем кабинете. Была ночь. Я зажег лампу на столе, увидел, что все бумаги перерыты, что календарь показывает не 27-ое марта, как в миг моего исчезновения, а 2-ое апреля, как-то сразу понял, что все мои родные и друзья обеспокоены моим исчезновением и поэтому-то я начал это письмо к вам словами успокоения.

Но я думаю, что вы поймете, что теперь, как я исполнил слова Иуды, слышанные мною час (или 2000 лет, я спутался в понятиях времени) назад, я больше не в силах удержать свое желание вновь оказаться в Иерусалиме, только поставлю временной циферблат на 2 года дальше назад, чтобы попасть в период земной жизни Спасителя, а потом, потом я вновь вернусь к вам, ибо научился пользоваться часами Адама бен-Адама и не рискую потерять пятибородый ключ. Пока прощайте. Я написал все, что хотел. Повторяю, не беспокойтесь обо мне. Раз у меня часы и ключ, то пространства и времени для меня не существует. Я вернусь к вам.

Аполлон Гардич».

Вот что было написано на выпавшем из футляра листе.

Вместе с рукописью на столе лежал странной формы пятибородый часовой ключ.

Приложение

Борис Леман

**ИЗ КНИГИ, НАПИСАННОЙ ЗОЛОТЫМИ
И КРАСНЫМИ БУКВАМИ**

Благодаря любезности моего друга, вот уже много лет собирающего свою библиотеку по всем отраслям оккультных знаний, мне удалось познакомиться с одним крайне любопытным документом, разбор знаков которого доставил мне много поистине светлых минут.

Рукопись эта представляет собою семь небольших, весьма пострадавших от времени лоскутков пергамента, исписанных лишь с одной стороны арамейским письмом эпохи последних Логидов, с более поздними комментариями на греческом языке, сделанными на ее полях и, частью, на чистой обратной стороне листков. Благодаря этим позднейшим заметкам, удалось восстановить как заглавие самой рукописи, так равно и прочесть многие из неясных или же плохо сохранившихся мест подлинного текста. По своему содержанию означенная рукопись является, по всей вероятности, не оригинальным произведением, а лишь позднейшим списком одной из эзотерических книг древних храмов Египта. Также нельзя не отметить ее близости к учению пифагорейских школ и их апологету Аполлону Тианскому.

Ввиду несомненного интереса, который представляют означенные отрывки, я позволяю себе напечатать их в этом далеко не совершенном виде, надеясь, что читатели извинят мне эту попытку — передать на нашем языке таинственную красоту образов древних мистерий.

Б. Леман

Отрывок первый о «числе семь»

(Вот что сказал ученик).

...что неведомые силы окружают и влекут меня, когда я долго гляжу на струю воды, сквозь которую проникает луч

солнца, так что ее капли искрятся и сверкают, подобно драгоценным камням.

Вот что сказал учитель:

Не имеющее цвета, пройдя через три грани, раскрывает себя в семи различных цветах. Так Непостижимый проходит через три первых Имени, чтобы, низойдя по семи ступеням мира, явить Собою число вечного возвращения.

Только семь лампад озаряют вход в святилище и семь звезд великих вращаются по своим путям, начертанным в глубинах неба. Только семь сил неустойчивых правят вселенной, скрепляя и разъединяя, создавая и разрушая снова и снова в своем слепом повиновении закону трех начал.

Это устремление и это покой и движение, истекающее из них.

Это отречение и это призыв и крепость объятий их соединения друг с другом.

И это восхождение вечное.

Каждая из сил этих переходит в другую в своем неизменном движении и, низойдя до самой последней, они поднимаются снова по кругу времени.

Запомни же их имена и приметы их сохрани в своем сердце:

Те, что прозревают в грядущем, устремляются к своей цели. Они находятся в вечном движении и не знают усталости,

Те же, что в себе сберегают силу их мощи, справедливы и не расточительны в своем спокойном усердии.

От них рождаются те, что в ослепительном сиянии, ибо облечены сверкающими доспехами и красота их пребывает неизменной.

Те, что посылаются Богом, сами как Боги, ибо в них жизнь торжествует над смертью.

На тех же, что идут за ними, любовь Бога, как любовь отца на сынах его, ибо вечно созданное Вечным и не может

угаснуть огонь, вложенный в души.

Отсюда рождены те, что осеняют себя крылами и пове-
левают дыханием четырех стихий, эти служат основанием
всего.

И вот последние, это те, что души свои прославили под-
вигом воскресения, перейдя подземные царства, те, что во
мраке, те, что во власти греха и те, где смерть торжествует.
Они уже не увидят их более, ибо начали свое восхождение.

Это силы и это духи, влекущие песчинку, человека и звез-
ду по одному и тому же пути.

Вот что сказал ученик:

Эти слова уже давно свили гнездо в моем сердце, теперь
же твоя мудрость дала каждому его значение.

Вот что сказал учитель:

Лишь шесть треугольников. где одна линия во всем по-
добна двум остальным, могут соединить центр (точку) с об-
лекающим его кругом и шесть путей приводят праведника
к седьмому, который есть восхождение двойного служения.

Вот число, в котором Единое раскрыло свое совершен-
ство и оно число мира с его видимой и невидимой (при-
родой).

Подумай же хорошенько: не семь ли ступеней в теле
человека и не семьдесят ли дней проходит раньше, чем оно
будет готово для погребения*.

Здесь ищи начало всех смещений и, когда ты слышишь
звуки флейт, то резкие, как крик раненой птицы, то неж-
ные, словно журчанье потока, вспомни, что лишь семь ство-
лов тростника скреплены воском и в них тайна гармонии.

* Ср. Быт. L 1-3 (Здесь и далее прим. авт.).

Вот что сказал ученик:

Как же возможно научиться видеть* и где путь проникнуть в число закона во множестве всех сочетаний?

Вот что сказал учитель:

Три начала соединены в душе человека.

Первое как огонь, второе как свет и третье подобно теплу, рожденному первым через второе.

Дух оживляет, ум освещает и душа чувствует истину.

Молись!

Если этого мало, — молись еще.

Если не поможет и это, — стань и молись снова.

Тогда ты получишь.

Ибо не ранее того, как Бог увидит тебя достойным, вспыхнут три начала твоей души и ты познаешь их, как одно, и в этом едином в тебе отразится Единое.

Тогда свет проникнет в тебя через три грани** души и озарит семь ступеней твоего существа и, соединившись с тобою, возродит тебя в вечности.

Семь темных сил раскинут в тебе свои огненные крылья и вступят в борьбу с семью вождями света, ибо теперь и те и другие ищут овладеть тобою.

Но лишь ты сам можешь указать исход этой битвы, которая поистине будет жестока и ужасна и ты сам избереешь путь и тогда вожди света сольются в сверкающий пламенный символ и поглотят обессиленных демонов, но от того сами нисколько не потускнеют.

* Досл. «открыть свои глаза».

** Подл. «части» но, ввиду основной идеи диалога, выраженной в первых строках, где «ученик» говорит о преломлении солнечного луча сквозь призму, я позволил себе употребить выражение *грани*.

И вот земля раскроет свою глубину перед твоим взором и ты увидишь то, что есть зло.

Ты увидишь его голову и уши твои наполнятся его словами, которые надо понять верно, ибо они лживы только снаружи.

Ты увидишь его бока, тяжелые и полные грубой силы, как бока животного, дающего силу.

Ты увидишь его лапы, в которых жестокость, ибо их когти заострены и загнуты.

Ты увидишь его крылья, ибо в нем стремление, и они овеют холодом и убьют, если ты еще привязан к земле.

И ты должен будешь заковать его числом, которому подчинена его гордость, иначе ничто не спасет тебя от его ярости.

Тогда ты ужаснешься безмерно и камни под твоими ногами станут подобны морской пучине и ты умрешь в отчаянии и снова восстанешь, ибо узнаешь, что ужас твой не был совершенным.

Три силы вознесут тебя на ту высоту, что станет доступна твоему сердцу и там ты узнаешь, что ты жив и начнешь расширяться все более и расширишься в своем объеме и будешь, как мир и мир будет в твоем теле и вы оба, как одно, и подобны песчинке в руке воли Единого.

Лишь тогда ты будешь видеть не то, что видят твои глаза и слышать не то, что слышат уши твои, но лишь к чему через них коснется твоя душа, рожденная в свете.

Вознеси же Три Имени Вечного над четырьмя именами стихий и ничего более не желай из того, что на четырех первых ступенях великого пути восхождения. Ибо ты отныне уже прошел их.

Вот что сказал ученик:

Я буду молиться.

Конец первого отрывка

Отрывок второй

О государстве

Вот что сказал учитель:

Они восстают против той власти, которой они еще так недавно подчинялись, ибо движутся в своих душах, законы же, созданные ими, остаются недвижны и понемногу превращаются в оковы.

Вот что сказал ученик:

Разве не единый Закон управляет жизнью вселенной и не *единой* ли должна быть власть, которой должно подчиняться?

Вот что сказал учитель:

Что же еще говорил тебе чужестранец?

Вот что сказал ученик:

Он весьма красноречиво восхвалял мне равенство, где все подобны друг другу, и говорил, что ни на каких таблицах, будут ли они из железа, из меди, или из золота, невозможно начертать того, что говорит человеку его гений, и что только в повиновении своему гению закон каждого человека.

Он порицал наши законы и со смехом сказал: — если, как ты утверждаешь, боги избирают царей, то почему же сын наследует власти отца и мудрая кротость первого уничтожается неразумной жестокостью второго?

И, когда он говорил, его слова были как истина и могли побеждать разум.

Вот что сказал учитель:

Нисходя, человек был обречен опускаться в своем существе настолько, что он вовсе утратит память души и будет нисходить, пока ноги его не коснутся царства последнего мрака.

Тогда он забудет закон единства и превратится в животное, закон которого есть закон множества. И лишь нисходя до последних глубин, мучимый страхом смерти и уничтожения, он вновь обратит лицо, и память души снова оживет в нем.

Вот закон подчинения и закон власти.

Запомни же числа его в их верном порядке*, ибо они ведут к выходу.

Те, что назвали себя по цвету своему, ибо тела их были подобны красной земле. Это последние, что видели Бога в силе и в сиянии славы. Но на них была также мощь гнева Его, изливающаяся, как многие воды. И они поражены и уничтожены в своей гордости.

Это те, что передали закон власти одного, но, когда они передали его, он уже не был чист и стал началом разложения, ибо в нем было не избрание Бога, но избрание крови, которая подчинена смерти.

И «сын Солнца» не был уже сыном Света и не един, но двойствен по своей природе, ибо он человек, нисходящий к уничтожению.

* Буквально: «в истинной перемене».

Вот слова закона «корона страны верхней и корона страны нижней на челе его как одна». Но власть его не была едина, ибо он избран кровью отца.

Отсюда начинается нисхождение.

Избрание крови станет избранием многих, что соединят потухающее пламя своих душ в одну волю, дабы ею избрать одного, как бы избранием света.

Но в этом не станет истины, ибо разум затемнит их души.

Тогда отсюда изойдет закон тех, что правят собранием разумов и ценят выгоду более света души.

И, как огни звезд отражены в глубине вод, так закон их отражен в законе идущих за ними, что правят желанием тел над велением разума.

Здесь высшее небо станет скрытым и изойдет закон тех, что множественны и противоречивы и как стадо животных, мятущихся во мраке. И душа здесь будет казаться умершей.

Но ужас их приведет к свету, и они ближе всех к восхождению, ибо тогда соединятся в одно те, что снова обратятся и воззовут к душам своим, как к закону и в глубине душ своих услышат голос воли Единого.

Они будут как братья в роде своем и лица их обратятся к востоку. Они будут ждать и молиться терпеливо, и свет сойдет к душам их, ибо они у последней грани нисхождения.

Тогда снова познают закон духа над желанием тел и придут последние, которые станут впереди всех.

В них свет восторжествует, и двери святилища распахнутся, и закон власти для управления их, как закон любви к Богу.

Единый царь станет над ними не властью крови отца и не властью избрания многих, но волей Единого, сотворившего в шесть.

Не пурпур крови облечет плечи вождя их, но белая ткань, ибо власть его будет, как отражение власти Единого.

Вот что сказал ученик:

Открой же нам знаки вождя тех, что начали восхождение.

Вот что сказал учитель:

Это знак пылающего числа, ибо в нем...

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

Б. Леман. Обман

Впервые: *Изида*. 1911. Год третий, № 2, ноябрь, под псевд. «Б. Л.».

Б. А. Леман (1882-1945) — поэт, писатель, выступавший также под псевд. «Борис Дикс». Оставил карьеру в Министерстве торговли и промышленности ради учебы в консерватории. Увлекался эзотерикой, в 1913 г. стал одним из основателей Российского Антропософского общества. После революции совместно с Е. Васильевой и С. Маршаком открыл в Екатеринодаре Театр для детей. В 1921-1922 гг. возглавлял кафедру Древнего Востока Кубанского университета. Позднее жил в Средней Азии, занимался музыкально-педагогической деятельностью, заведовал музыкальной частью и дирижировал в Музыкально-драматическом театре Алматы. Автор кн. *Ночные песни* (1907), *Стихотворения* (1909), *Чурлянис* (1912), *Сен-Мартен, неизвестный философ, как ученик дома Мартиненса де Пасквалис* (1917) и др.

С. 11. *Nos habitat, non tartara ... facit* — Латинское двустишие, приведенное в одном из писем Г. К. Агриппы (1486-1535):

«В нас обитает, не в преисподней и не в созвездиях неба: / Дух, что живет в нас, совершает все то».

С. 11. *Mon âme est triste à la fin...* — Из стих. М. Метерлинка (1862-1949) «Душа ночи» (1889); в пер. В. Брюсова: «Душа грустна в конце концов; / Душа устала от печали, / Мечты от тщетных дум устали, / Душа грустна в конце концов... / Коснись рукой моих висков!»

Б. Леман. Преступление Уатэ

Впервые: *Изида*. 1911. Год второй, № 4, январь.

С. 20. *То, что вверху, подобно тому, что внизу ...* — Первые две строки этого введения взяты из «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста.

С. 22. *Гармахис* — особая ипостась солнечного бога Гора.

С. 25. *Могучий Тот... Ра* — аллегорическое описание солнечного затмения; Тот упомянут здесь как, в числе прочего, древнеегипетский бог Луны.

С. 25. *Нефтис* — В древнеегипетском пантеоне богиня-покровительница мертвых и кормилица правящего фараона.

А. Журомская. Женщина из саркофага

Впервые: *Пробуждение*. 1914. № 22, 15 ноября, с подзаг. «Легенда».

А. Журомская (?— ?) — писательница, переводчица, публиковалась в 1900-1910-х гг.; в журн. *Мир приключений* был напечатан ряд ее авантюрно-приключенческих рассказов из американской жизни.

С. 31. ...*Ocypus olens* — стафилин пахучий, он же быстроног вонючий, вид жуков из семейства стафилинид. При опасности выделяет из желез на кончике брюшка зловонную жидкость.

М. Ордынцев-Кострицкий. «Per aspera ad astra»

Публикуется по авторскому сб. *Волшебные сказки наших дней: Повести и рассказы из жизни Южно-Американского материка* (Пг., 1915, под псевд. «М. Д. Ордынцев-Кострицкий»).

М. Д. Кострицкий (1887 – после 1941) — беллетрист, журналист. Публиковался под псевд. М. Ордынцев, М. Ордынцев-Кострицкий и мн. др. В юности уехал в Южную Америку, жил в Аргентине. В нач. 1910-х гг. был секретарем редакции журн. *Русский паломник* и *Светлый мир*. Как репортер освещал открытие Панамского канала; участвовал в Первой мировой войне. Автор многочисленных исторических романов и повестей, трех сборников новелл, включая фантастические и детективные. В 1941 г. был осужден военным трибуналом войск НКВД в Средней Азии и сгинул в ГУЛАГе.

С. 35. *Per aspera ad astra* — Через тернии к звездам (*лат.*).

С. 35. ...*Гатор* — также Хатхор, Хатор, Атор, в древнеегипетской мифологии богиня неба, любви, красоты, плодородия и веселья.

С. Тухолка. Атлантида

Впервые: *Изида*. 1910. [Год первый], № 5, февраль.

С. В. Тухолка (1874-1954) — действительный статский советник, дипломат, писатель, оккультист. Выпускник восточного факультета С.-Петербургского ун-та. С 1898 г. на дипломатической работе за границей, до 1917 г. служил консулом в ряде стран Ближнего Востока и на Балканах. С. 1920 г. в эмиграции (Константинополь, Париж). Автор ряда работ по оккультизму и пр., в том чис-

ле кн. *Оккультизм и магия* (1907), *Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV-XVII веках* (1909).

Очерк С. Тухолки публикуется здесь как конспективное изложение представлений об Атлантиде в расхожем оккультизме, сыгравших существенную роль в развитии этой темы в фантастике Серебряного века.

С. 75. ...*Scott-Elliot* — Имеется в виду британский теософ У. Скотт-Эллиот (1849-1919); ниже упоминается его сочинение *The Story of Atlantis* (1896).

С. 38. ...«*The Coming Race*» — «Грядущая раса», фантастический роман известнейшего в свое время британского литератора и политика Э. Бульвер-Литона (1803-1873).

Н. Толстой. Последний человек из Атлантиды

Впервые: *Вокруг света*. 1916. № 39, с подзаг. «Очерк».

Н. А. Толстой (1867-1938) — писатель, священник. Выпускник Пажеского корпуса и Московской духовной академии, по окончании которой обратился в католицизм. В советские времена жил в Боброве и Одессе, служил в греко-католической церкви в Киеве, после лишения сана (за двоеженство) работал переводчиком на Урале и Кавказе, вахтером в Киеве. Был арестован в конце 1937 и расстрелян в 1938 г. Автор фантастического романа *Цари мира* (книжная публ. 1912) и нескольких НФ-рассказов и очерков, опубликованных в 1910-17 гг., включая и данную мифификацию.

В. Обручев. Сказание об Атлантиде

Приведенный отрывок, найденный в архиве автора, был впервые опубликован в 1965 г. в журн. *Неделя* и авторском сб. *Путешествия в прошлое и будущее*; судя по деталям и стилистике, написан не позднее середины 1920-х гг.

В. А. Обручев (1863-1956) — виднейший русский и советский географ, геолог, путешественник, академик АН СССР. Выступал как популяризатор науки и автор научно-фантастических и географическо-приключенских произведений, в том числе ставших классикой советской фантастики романов *Плутония* (1915, опубл. 1924) и *Земля Санникова* (1924, опубл. 1926).

С. Минцлов. Атлантида

Публикуется по авторскому сб. *То, чего мы не знаем...* (София, 192?).

С. Р. Минцлов (1870-1933) — прозаик, журналист, археолог, путешественник, выдающийся библиофил и библиограф. Автор множества повестей, романов и рассказов, в том числе исторических, приключенческих и фантастических, мемуарных книг, описаний путешествий, библиографических исследований. Для фантастики Минцлова характерно сочетание глубокого увлечения прошлым с интересом к «таинственным» явлениям и событиям (не переходящим, однако, в оккультизм). После революции Минцлов жил в эмиграции, побывал в Швеции, Норвегии, Англии, Португалии, Испании, Марокко и Франции, руководил русскими гимназиями в бывш. Югославии, с 1920 г. жил в Риге, где и скончался.

С. 110. «*И хором бабушки твердят...*» — Из гл. 7 «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

С. Минцлов. Тайна стен

Впервые: *Аргус*. 1915. № 2.

С. 75. *Вот вы издали книжку «Странное»...* — Имеется в виду брошюра Минцлова *Странное: О влиянии имени на судьбу человека* (1914).

С. Минцлов. Последние боги

Впервые: *Аргус*. 1916. № 7.

М. Первухин. Гонимые боги

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1923, № 23, 31 января.

М. К. Первухин (1870-1928) — журналист, писатель, переводчик. В 1906 г. был выслан из Крыма за оппозиционные настроения, уехал в Германию, через год поселился в Италии, где жил до самой смерти. В конце жизни запятнал свое имя активной поддержкой итальянского фашизма. Автор многочисленных рассказов, повестей и романов в диапазоне от бытовых до авантюрно-приключенческих; оставил заметное научно-фантастическое наследие, включая первые в русской фантастике романы в жанре альтернативной истории.

М. Первухин. Морская царевна

Впервые: *Сегодня* (Рига). 1922. № 250, 5 ноября.

С. 160. ...*в консильеры* — от *ит. consigliere*, советник.

М. Первухин. Загадка Айроло

Впервые: *Сегодня* (Рига). 1922. № 294, 31 декабря.

С. 125. ...*генерала Монка* — Джордж Монк, 1-й герцог Альбемарль (1608-1670) — английский полководец, адмирал, соратник О. Кромвеля; после смерти последнего сыграл ключевую роль в реставрации королевской власти.

М. Первухин. Розабелла

Впервые: *Огонек*. 1917. № 15, 23 апреля (6 мая).

А. Зарин. Тайна

Впервые: *Огонек*. 1910. № 37.

А. Е. Зарин (1862-1929) — плодовитый литератор, журналист, сценарист, представитель «массовой» литературы конца XIX — нач. XX вв. В 1880-х и 1900-х гг. дважды находился под арестом за революционную деятельность, в 1900-х гг. был редактором журн. *Живописное обозрение*, *Воскресенье*, *Природа и люди*, а также газ. *Обновленная Россия* и *Современная жизнь*. Публиковался в более чем 60 столичных и провинциальных изданиях, опубликовал свыше 100 книг. Среди написанного им встречаются как детективные, так и фантастические романы, повести и рассказы.

С. 185. ...«*в тот ларчик, где ни встать, ни сесть*» — цит. из «Горя от ума» А. С. Грибоедова.

С. 186. «*Смирять себя молитвой и постом*» — цит. из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина.

Г. Северцев-Полилов. Драгоценный переплет

Впервые: *Аргус*. 1913. № 6, под псевд. «Юрий Чаев».

Г. Т. Полилов (1839-1915) — беллетрист, драматург, переводчик, очеркист, мемуарист. Выступал под псевд. Северцев, Ю. Чаев. Неудачливый предприниматель и антрепренер, подвизался как оперный певец на сценах небольших театров Италии и Венеции, пробовал себя и как танцор. С конца 1880-х гг. занялся литературным творчеством, широко публиковался в периодике (в т. ч. как газетный корреспондент), выпустил до 100 книг в раз-

личных жанрах. В некоторых произведениях Северцева-Полилова встречаются мистические и фантастические мотивы.

С. 199. ...*М. Палмиери* — Видимо, автор ошибся, имея в виду итальянского физика, сейсмолога и метеоролога Л. Палмиери (1807-1896).

С. 199. ...*Камиллом Фламмарионом* — К. Фламмарион (1842-1925) — видный французский астроном, основатель Французского астрономического общества, популяризатор науки, писатель, спиритуалист.

С. 202. ...*Фридрих Боденштедт* — немецкий писатель, поэт, переводчик и драматург (1819-1892).

С. 203. ...*новиос* — от исп. *novio*, жених, сердечный дружок.

С. 203. ...*странхиеро* — от ит. *straniero*, «иностранец», вместо исп. *extranjero*.

С. 207. ...«*indovina*» — ворожея (*um.*).

С. 208. ...*в Позилиппо на праздник Пие-ди-Гротта* — Традиционный народный праздник поклонения Мадонне в указанном пригороде Неаполя.

С. 213. ...«*Небо и Земля*» — У Фламмариона нет книги с точно таким названием. Возможно, имеется в виду кн. *Dans le ciel et sur la terre: Tableaux et harmonies* («В небесах и на земле: Картины и гармонии», 1887), однако этот 420-страничный том не назовешь «небольшой книгой», или же действительно небольшая русская кн. *В небесах и на земле: Очерки и рассказы* (М., 1908).

Г. Северцев-Полилов. Кровавый цветок

Публикуется по: *Пушкинский сборник: (В память столетия дня рождения поэта)* (СПб., 1899). Рассказ подписан в сб. «Г. Северцев».

С. 215. *Посланный моим покойным отцом в Лондон, чтобы изучить условия иностранной торговли* — реальный факт биографии Полилова, происходившего из просвещенной купеческой семьи. По окончании гимназии он был отправлен отцом в Лондон для деловой практики.

Г. Северцев-Полилов. У колдуньи

Публикуется по авторскому сб. *Повар испанского короля: Очерки и рассказы; Мужья артисток: Очерки* (СПб., [1906]).

М. Ордынцев-Кострицкий. Черный маг

Впервые: *Мир приключений*. 1913. № 5.

С. 242. *...beau-frère* — здесь: зять (фр.).

С. Гарин. Заклятия

Впервые: *Пробуждение*. 1915. № 24, 15 декабря.

С. А. Гарин (Гарфельд / Гарфильд, 1873-1927) — писатель, драматург, революционер, военный моряк. Неоднократно арестовывался. После революции был комиссаром обороны Черного и Азовского морей, комиссаром Одесского военно-морского порта, главным комиссаром морских сил ДВР, атташе в Швеции, консулом в Дании. В конце жизни жил в Петрограде / Ленинграде, был заместителем главного ред. *Красной газеты*. Автор рассказов и пьес.

Николай Киселев. Колдун

Впервые: *Огонек*. 1915. № 32, 9 (22) августа.

Николай Киселев. Спасена! (Кошмар)

Впервые: *Аргус*. 1914. № 19.

Борис Лазаревский. Часы

Впервые: *Аргус*. 1914. № 21.

Б. А. Лазаревский (1871-1936) — беллетрист, мемуарист. Сын историка Украины А. М. Лазаревского. По окончании юридического факультета Киевского университета (1897) служил в Севастополе, позднее во Владивостоке. С 1894 г. много печатался в периодике, до 1917 г. выпустил двумя изданиями 7-томное собр. сочинений. С 1920 г. продолжал лит. деятельность в эмиграции.

Р. Ивнев. Екатерининские часы

Впервые: *Лукоморье*. 1914. № 47.

Р. Ивнев (М. А. Ковалев, 1891-1981) — поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Уроженец Тифлиса, учился в Тифлисском кадетском корпусе. Выпускник юридического факультета Московского университета. Начинал как поэт-футурист, позднее имажинист. Во второй половине 1920-х-1931 гг. путешествовал по Европе, России, Дальнему Востоку как спецкор журн. *Огонек* и *Эхо* и газеты *Известия*. В годы Второй мировой войны работал в газ. *Боец РККА*. Автор ряда сб. стихотворений, романов, воспоминаний, пер. с грузинского и осетинского.

С. 301. ...<дело, и стала> — Пропуск в оригинальной публикации, восстановлен по смыслу.

Н. Чапыгин. Кричащие часы

Впервые: *Аргус*. 1915. № 7, с подзаг. «Фантазия».

Возможно, рассказ принадлежит прозаику, драматургу и сценаристу А. П. Чапыгину (1870-1937); с другой стороны, текст далек от тематики и стилистики последнего.

Г. Елачич де Бужим. Часы Адама бен-Адама

Впервые: *Звено* (Уфа). 1918. № 1, за подп. «Гавр. де-Бужим».

Г. А. Елачич (де Бужим) — поэт, беллетрист, журналист. Участник Гражданской войны (Северо-Западная армия). Бежал с женой в Таллинн. Сотрудничал в газ. *Свобода России, Свободная Россия, За свободу России, Последние известия*, публиковал стих. в эмигрантской печати. С 1921 г. жил в бывш. Югославии, погиб при бомбардировке Белграда немецкой авиацией.

Б. Леман. Из книги, написанной золотыми и красными буквами

Впервые: *Изида*. 1911. Год второй, № 6, март; № 9-10, июль.

Оглавление

| | |
|--|-----|
| <i>От составителей</i> | 7 |
| Б. Леман. Обман | 10 |
| Б. Леман. Преступление Уатэ | 19 |
| А. Журомская. Женщина из саркофага | 28 |
| М. Ордынцев-Кострицкий. «Per aspera ad astra» | 34 |
| С. Тухолка. Атлантида | 74 |
| Н. Толстой. Последний человек из Атлантиды | 81 |
| В. Обручев. Сказание об Атлантиде (Отрывок из повести) | 89 |
| С. Минцлов. Атлантида | 105 |
| С. Минцлов. Тайна стен | 115 |
| С. Минцлов. Последние боги | 133 |
| М. Первухин. Гонимые боги (Из итальянских легенд) | 149 |
| М. Первухин. Морская царица (Из итальянских легенд) | 155 |
| М. Первухин. Загадка Айроло | 162 |
| М. Первухин. Розабелла | 169 |
| А. Зарин. Тайна | 182 |
| Г. Северцев-Полилов. Драгоценный переплет | 197 |
| Г. Северцев-Полилов. Кровавый цветок | 214 |

| | |
|--|-----|
| Г. Северцев-Полилов. У колдуньи | 222 |
| М. Ордынцев-Кострицкий. Черный маг | 234 |
| С. Гарин. Заклятия | 248 |
| Н. Киселев. Колдун | 256 |
| Н. Киселев. Спасена! (Кошмар) | 263 |
| Б. Лазаревский. Часы | 283 |
| Р. Ивнев. Екатерининские часы | 297 |
| Н. Чапыгин. Кричащие часы | 303 |
| Г. Елачич де Бужим. Часы Адама бен-Адама | 312 |

Приложение

| | |
|--|-----|
| Б. Леман. Из книги, написанной золотыми и красными буквами | 323 |
| Комментарии | 333 |

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.